ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ

Основной фонд
05
С-341

СИБИРСКИЕ ОГНИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

364226
751934

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ИЮЛЬ—АВГУСТ

351.

НОВОСИБИРСК
1928

г. Новосибирск,
тип. Сибкрайсоюза,
Советская, № 6.
Наряд № 1123.

Сибкрайлит № 2573 от 9 июля 1928 г.
Тираж 2.000 экз.

Г. ПАВЛОВ

Параграфы, пропущенные в книгах

§ 1. ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО.

Уфа осталась позади. Бригада отступала по Стерлитамакскому тракту. Март заканчивался теплыми буранами.

Комполка Гривин проскочил с полком мимо деревушки, в которой ему было приказано остановиться, даже в том случае, если она занята противником.

— ...Выбить во что бы то ни стало,—диктовал неотвратимо приказ,—и задержаться...

Деревушка прикурнула за холмом, завязла в снегах, Гривин прошел правее, попал в деревню, где остановился штабриг, на четыре версты выбрался вперед. Долго раздумывал на краю деревни, у первой же избы, итти или нет в штаб бригады. Политком не советовал, мягко укорял:

— Говорил, что надо левее держаться, а ты свое—бригада вправо берет, на магистраль. Пропишет теперь комбриг тебе эту магистраль, будьте покойны! Берем проводника и вертаемся. Противника, если окажется в деревне, выбьем...

Улыбнулся или нет ответно Гривин, он и сам не знал точно. Может быть, только сказал:

— Не мы ли с тобой будем выбивать? Они не повернут.

Он показал рукой за деревню—на дорогу. Шагах в четырехстах она зачернела и ожила двигающимися точками.

— Как хочешь,—мрачно произнес, помолчав, политком, добавил:—по-моему, пойдут,—и, повернув коня на дорогу, поскакал навстречу полку.

Гривин решил явиться к комбригу. Он чуть надеялся, что тот не заставит вести полк обратно, резрешит остановиться здесь, ему казалось, что четыре версты не могут иметь большого значения. Спросил, где поповский дом, и злобно подхлестнул коня.

Комбриг, безусый и длинный латыш, отрывистый в речи и в движениях, сидел на полу среди карт. В районе Уфы лежал его наган, восточнее, в предгорьях Урала, на коробке спичек дымилась огромная козья ножка. Ворот ватной телогрейки комбрига был растегнут, на ногах были теплые чулки. Рядом, опустившись на колено, стоял начштаба, одетый по форме, весь бритый, изящный и чистый, словно он был не на фронте, не отступал, а собрался на бал.

На стук в дверь ответил начштаба, Гривин вошел. Он намеревался держаться просто, хотя и строго, приготовил короткое об'яснение, но оно оказалось ненужным. И комбриг и начштаба глазами предупредили, что все понятно и так, они этого ждали... Гривин вытянулся, раскрыл рот:

— Тов-а-а...

Звуки не родили слова. Комбриг схватил наган, навел на Гривина. Гривин почувствовал на языке неприятный холодок, закрыл рот. Комбриг сказал бесстрастно, точно автомат,—и это было хуже, невыносимее самого жестокого гнева.

— На-зад!.. В деревню—по при-ка-зу!..

Гривин, пожалуй, ничего не услышал. Кровь обожгла жилы, день и снега за окном вспыхнули буйным белым огнем, потянуло на улицу, на воздух, сильнее, чем в детстве. «Как хорошо жить!»—хотелось крикнуть Гривину, но, догадываясь полубессознательно о словах комбрига, он едва прохрипел:

— Слуш-шаю-с...

Повернулся, как только что обученный юнкер, и радостно вышел из комнаты.

Комбриг гыкнул (у него была такая привычка), разорвал бесстрастность бранью, долго нервничал, клялся, что убьет «вот из этого нагана» Гривина, если он не займет деревню. Успокоился, когда получил донесение: «вошел в деревню, противник не обнаружен. Гривин».

Тогда обнял невозмутимого начштаба, сказал:

— Бывший поручик Гривин сегодня получил самый полезный урок по тактике пехоты. В учебниках таких уроков нет—в жизни бывают... Если даже Гривин трус, то все равно он сегодня дрался бы, как сорок тысяч львов. Я в бою всегда спасаюсь от страха тем, что иду в самые опасные места. Единственное средство!

§ 2. СДАЧА ПОЗИЦИЙ.

Бригада вышла на Самаро-Златоустовскую магистраль. Отступление приостановилось. Красноармейские сердца забились четче, хмурые лица прояснились, в ротах стало как-то веселее. Но веселье вышло злое. Опять загремели бои и крепли, как ветра с моря. На железнодорожной магистрали метался и метал в противника трехдюймовые гостинцы бронепоезд.

Гривин не выдержал. Вышло это так. Безумной атакой была занята деревня в третий раз. Сели обедать, на столе вкусно дымилась миска со щами, комендант ворвался в комнату и не во-время доложил:

— Больше двухсот беляков сложили в сарае! Как прикажете, товарищ командир? Одного офицерья штук пятнадцать будет...

Гривин выронил ложку, строго выматерил коменданта, не стал обедать, ушел в отведенную ему комнату. Кажется, сначала ходил, но запомнил себя только у окна... Он заметил, что снега едва уловимо розовеют, сказал сам себе—«вечер!»—тут же, к ряду, ощутил стреляющую боль около правой лопатки. Боль подсказала:

— Заболеть бы... ха-рашо!..

Осатанелые дни! Полк отбил две атаки, три раза покидал деревню, четыре раза сам переходил в атаку. И это за три дня! Завтра четвертый: опять бои? В полку большие потери, красноармейцы... Гривин знает: они сегодня, идя в атаку, кричали: где Гривин? почему,—они ругались во всю его родню и предков,—почему его никогда нет среди нас?!

— Удивительные двуногие,—выжимал Гривин медленные и неприятные мысли.— Они словно не боятся смерти и хотят, чтобы и я не боялся... Надо заболеть...

Та же боль напомнила, что в деревне развернут перевязочный пункт, есть врачи, Гривин решил пойти к ним.

Застегивал шинель, подпоясывался ремнем, перед глазами плавали старые фотографии, висевшие на стене. На одной прояснилось немолодое лицо женщины. Вспомнилась Уфа, последний вечер,—сквозь тело продрался жар, сменившийся мимолетным ознобом, яркие и холодные губы и похмельные глаза исказили фотографию.

— Бабу не плохо,—медленно выговорил Гривин и натянул на уши папаху.

На пункте, развернутом в школе, была деловая суматоха. У крыльца толкались красноармейцы, пришедшие с существующими и придуманными болезнями, ушибами, вывихами, царапинами; стояли трое саней с ранеными. Кто мог говорить, те вспоминали не без гордости сегодняшнее лихое дело, атаку, когда шли в рост под стремительным потоком свинцового дождя. Ужасы боя остыли, горела радость победы, она блестела в глазах на утомленных, немытых и темных от ветра лицах.

Гривин, проходя мимо говоривших, старался не смотреть на них, шел, как бы в раздумьи. В школе стояло десятка полтора походных коек, на которых лежали уже перевязанные раненые, двое стонали—один слабо, другой выкриками. Два красноармейца-санитара сидели на школьной парте и походили на дремавших мух. Гривин скривил рот, сделал движение плечами, спросил:

— А врачи где?

— Рядом, в первой комнате, перевязывают,—равнодушно ответил один из красноармейцев и положил голову на руку.

Гривин вернулся в коридор, вошел в первую комнату. Трое в белых халатах на мгновение оторвались от стонавшего на столе раненого, ничего не сказали, взглянули на пришедшего небрежно, мельком.

Гривин понял, что он пришел не во-время, что он не сможет даже заикнуться о—ясно—невралгической, пустяковой боли под лопаткой. Он растерялся, покраснел, словно школьник, пойманный за шалостью, нашел в углу, направо от двери, четвертую фигуру в белом и спросил шопотом:

— Много привозят?

— Было порядочно... Это последние. Сейчас их тоже отправим в дивизию.

Врачи закончили перевязку раненого. Говоривший с Гривиным открыл дверь, крикнул—Шилов! В комнату вошли красноармейцы, сидевшие в классе, и унесли на носилках раненого.

— Вторую сотню доканчиваем, все материалы на исходе,—сказал Гривину старший полковой врач.

— Жара!—глухо отозвался Гривин и, как бы оправдываясь в своем визите, добавил,—я мимоходом заглянул. Надо итти.

Он вышел, не расслышав даже, что ему ответили. Улица протрезвила его, он выругал себя:

— Распустился!

Но тотчас же сдал внезапно завоеванную позицию:

— А впрочем... Ну, их всех к чорту! Не могу я больше. С ума сойду. Уеду в обоз...

Мягко мурлыкал снег под сапогами, будто подпевал размышлениям Гривина. Женщина, шедшая навстречу, выросла перед глазами внезапно. Это была полковая сестра милосердия. Не то, что обрадовался Гривин встрече с ней, нет,—что-то разбило апатию сковывавшую и тело и мысли, на смену пришло оживление— пусть бесцельное, но все же бодрящее.

— Ольга Петровна! Ба!—почти выкрикнул Гривин и протянул обе руки, словно встретил милого сердцу человека.

Ольга Петровна (она была в меховой шубе, повязанная шалью, в черных пимах) скрыла слабое удивление за резко, как скошенная трава, очерченными ресницами, улыбнулась кокетливо:

— Николай Яковлевич... Ну, и деньки—из ада прямо! Раненых сколько. Ужас! Белых особенно... Я сейчас еду за перевязочными материалами в бригаду,—все вышли...

Гривин взглянул на нее жадно, задал вопрос неожиданный и непонятный:

— Вам сколько лет?

— Нескромный вопрос. Потом, почему вы сейчас об этом спрашиваете? Я—взрослая...

Гривин недвусмысленно сжал руку Ольги Петровны.

— Я еду сейчас в обоз,—едемте вместе?

Она ответила просто, как бы не замечая его порыва:

— Можно все же веселее...

— Через четверть часа лошади будут запряжены, я жду вас,—сказал Гривин и, как перед врачами, стал оправдываться.—Надо проветриться, рассеяться. От этих боев у меня мозги набекрень сбились. Кошмар!.. Так, я вас жду.

— Слушаю, товарищ командир,—смеясь откозыряла собеседница.

§ 3. ЛОЖНЫЙ МАНЕВР.

От деревни к станции—с горы. Навстречу сильной паре лошадей мчится мягкий вечер. Снег под полозьями большой кошевы шипит монотонно и непрерывно. Снижаются, качаясь, звезды, тьма крадет окрестности и точно торопится: не поймали бы!

Были ли бои?

Маленькая и теплая рука спутницы об этом не напоминает. Гривин высчитывает:

— До станции пятнадцать, полтора часа езды. Половину проехали... Надо действовать.

Ольга Петровна говорит все время, расспрашивает Гривина.

— Так вы—офицер? Бывший поручик? А к красным вы как, добровольно пошли?

Гривин спрашивает себя—сказать?—и отвечает голым словом:

— Мобилизовали.

— А в душе за кого?—не унимается спутница.

Гривин хотел бы,—ему кажется, что хотел бы,—сознаться, но... Кто ее знает?

— Видите ли,—говорит он,—сейчас мы отступаем. Я не уверен, что мы когда-либо остановимся...

— Да?

— Я человек военный, это моя профессия, у кого служу, тому служу честно...

— «Время бежит!»—словно обрывает кто-то Гривина, его охватывает теплая дрожь, он прижимается к Ольге Петровне, смотрит ей прямо в глаза и заканчивает фразу иным признанием—уже страстным:

— Какая вы милая!..

Ольга Петровна косит глаза, ясно, что играет. Гривин хищно обнимает ее, целует в губы, целует глаза...

Красноармеец задорно понукает лошадей. Глухо бьют копыта о снег и брызжут мягкими снежными комьями. Тьма укрыла дали, неотступно караулит кошеву.

— Едем в обоз,—говорит Гривин,—а в бригаду утром.

— Нельзя... Я должна на рассвете вернуться.

Ответ бесит Гривина. Он нервно сжимает рукой колено Ольги Петровны...

— Только не здесь,—слышит спустя несколько секунд Гривин шопот, ловит в нем уступающие нотки и, задыхаясь, произносит:

— Пустяки!

Красноармеец встает, размахивает бичом:

— Но-но, сучьи морды... Над-дай!.. Счас станция!..

Тьма плывет над кошевой...

§ 4. ЛОБОВОЙ УДАР.

Штабриг стоял в поселке при станции. Комбриг вместе с начштаба и двумя его помощниками, составлявшими оперативную часть штаба, помещался в доме бывшего мельника. Они занимали две комнаты, в остальных трех жила семья станционного служащего.

За последние три недели, кажется, сегодня впервые комбриг улыбался спокойно, а не той, скорее похожей на тик, улыбкой, которая только плохо скрывает человеческую тревогу. После обеда, когда возвратились в свою комнату, комбриг схватился бороться с

начштаба. Комбриг был выше на голову, но начштаба был словно литой, он ежедневно по утрам, не взирая на фронт и погоду, совершал получасовую прогулку в одном френче, мылся, раздевшись до пояса, на дворе...

Боролись упорно, помощники подтрунивали:

— О, це таке борцы!

— Давид и Голиаф!

Давали дурашливые советы:

— С тылу, с тылу надо...

— Фланговым охватом... ну, ну!

Минут через пять один из помощников пронзительно свистнул в пальцы и комично об'явил:

— Схватка чемпионов неведомых стран—вничью...

— Да, довольно,—согласился начштаба.—После обеда такими вещами вовсе не следует заниматься...

— ...Но, принимая во внимание, что противник как-никак все же начальство,—продолжил было другой помощник в тон начштаба, но комбриг шутливо прервал его:

— Закройсь!

Четыре пары глаз неудержимо-весело перемигивались. Еще бы! Сегодня части бригады славно пощипали противника, казалось, что завтра не будет таких суровых схваток, что отступать дальше вряд ли придется, наоборот...

— Завтра поеду в полки,—об'явил комбриг.—Надо взглянуть на Гривина, наверное, поседел бедняжка...

— Поседеешь!—усмехнулся начштаба.—Мне и то жутко стало, когда ты сегодня утром резал его без ножа по телефону.

— А мы думали, что от крику провод оборвется...

— Гы...—«Товарищ командир, деревню взять невозможно».—«А что можно?»—«Я не понимаю, товарищ командир, вашего вопроса».—«Не понимаешь?». Меня такое зло взяло, что хотел наган в трубку—и по телефону бабахнуть.—«А я, товарищ комполка, не понимаю вашего донесения. Взять! Сейчас сам приеду и покажу, как это делается! Слышишь?—«Слушаю-с»...

В комнату постучались. Начштаба отозвался. Вошел красноармеец, с винтовкой за плечами, с нагайкой в руке—ординарец.

— Откуда?

— От Гривина...

Комбриг гыкнул:

— Только о нем, а он тут, как тут...

— Как у вас там? Спокойно?

— Ничего,—ответил ординарец начштаба и подал сложенное донесение.

— Комбригу... лично...

Комбриг разорвал марки, прочел, выругался, швырнул донесение на стол, опрокинул стул, это заставило остальных переглянуться.

— Можно итти?—спросил ординарец, получил разрешение и ушел.

Комбриг остановился в углу, помолчал, потом сказал начштаба:

— Читай... вслух читай...

Начштаба четко и невозмутимо прочел:

— «Заболев сего числа, командование полком сдал своему помощнику, товарищу Кошелеву, и убыл в обоз второго разряда. Гривин».

— Ловкий маневр, а? Он, действительно, заболел, но только чорт знает чем!.. Ну, не будь я, если не вылечу его... Пиши...

Начштаба придвинул к себе полевую книжку, неторопливо достал из кармана френча карандаш, приготовился писать. Комбриг вышел нервными шагами из угла, гыкал, стучал на ходу кулаком по столу, на ходу стал диктовать:

— Комполка... Гривину... Командир бригады... приказал... подчеркни... немедленно.... подчеркни... выздороветь... подчеркни... и не позднее десяти часов... какое завтра число?... вступить в командование полком... Все. Подписывай и сейчас же с ординарцем в обоз... Пусть примет на ночь, вместо лекарства.

Помощники не выдержали и разразились громким смехом. Начштаба некоторое время крепился, но вскоре тоже присоединился к ним. Комбриг остановился, посмотрел на них, как смотрят на детей, когда не знают причины их веселья, произнес с радостной завистью:

— Вот черти!

§ 5. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Гривин, конечно, увез Ольгу Петровну в обоз. Но ночь была исковеркана комбриговским приказанием—неожиданным, больно ударившим Гривина по самолюбию. Не помог даже спирт. Ольга Петровна осталась недовольна Гривиным.

— Очень странный вы... о чем думаете? У вас что-то есть тайное.

Возвращались, когда сквозь ночную стену чуть пробивался белесоватый рассвет. Ольга Петровна сначала говорила много, намекала на то, как хорошо бы жить вместе... Гривин молчал упорнее воды в стакане. Спутница обиженно заметила:.

— Значит, я была нужна тебе только на ночь?

Гривин озлобился. Уже под'езжали к станции, здесь Ольга Петровна должна была остаться. Он раздраженно ответил:

— Не больше!

От станции дорога пошла в гору. По ней, казалось, спускался навстречу рассвет. Солнце выплывало огромное, красное. Лошади бежали прямо на него, как голодные звери на приманку. И Гривину мерещилось, что оно—хищное, всепожирающее—злорадствует, готовит ему гибель. Он закрыл глаза. Мерцала густая розовая стена, скоро она заходила кругами, они были черные, бег кошевы превратился в длительный полет в пропасть...

— Сорвался!—саркастически сказал Гривин сам себе.

Помощник встретил сухо. Сказал, правда, запросто, но, казалось, что с насмешкой.

— Поправились?.. Нервы, брат, нервы, проклятые! И не мудрено.

Ровно четверть одиннадцатого к телефону вызвал комбриг. Он смеялся в глаза, Гривин кусал до боли губы, был близок разрыдаться, как ребенок, как женщина. В трубке хрипели вопросы:

— Поправились?.. Что было?..

— Нервы не выдержали... Три дня, как в пекле...

— Лечите их по-моему... Наган за ремень—и в цепь! Чудесно помогает! В канаты скручивает нервы...

Акцент смягчал слова комбрига, они звучали забавно, —Гривин находил обратное.

— Слушаю, товарищ командир,—отвечал он рассеянно, желая как можно скорее прекратить разговор.

Но комбриг продолжал:

— Вы дуйте-ка сейчас на передовую... Надо ребят ободрить, а они вас... Возможно, что противник сегодня опять сунется наступать... Я уже приказал осоту перейти на ваш участок. В случае чего—помогут. Сколько от деревни до передовой?

— Верст пять-шесть...

— Поезжайте... А как приедете—позвоните.

И совершенно другим тоном, полным отеческой строгости и любви, закончил этот разговор комбриг:

— А болеть сейчас, Гривин, не смей... Я этого не терплю...

§ 6. ПОТЕРЯ ПРИЦЕЛЬНЫХ ТОЧЕК.

Собственно, никакой передовой линии не было. Были в трех-пяти верстах от деревни сторожевые роты. Их было три, первого батальона, сменившего перед рассветом третий.

День был серый, без солнца. Гривин ехал верхом, с двумя ординарцами. Сердце ныло, не было жутко, но было не по себе, неспокойно. Главная застава, на которой находился и командир батальона, усатый, толстый, с голосом, как у женщины,— была в трех верстах от деревни. Красноармейцы уже смастерили снежную землянку и весело балагурили в ней. Неподалеку, на холме, чернелись два пулемета. Комбат доложил:

— Пока все спокойно, товарищ командир... Разведкой замечено движение противника к деревне... Думаю, готовится. Опять жара будет...

Красноармейцы, увидев Гривина, притихли. Гривину показалось, что они считали бы за лучшее не видеть его, как бы говорили:

— Теперь можно и не приезжать... Сейчас—тихо...

Он поздоровался, они повскакали на ноги, ответили разнобоем, простецки и бодро:

— Здравствуйте, товарищ командир!

— Славные хоромы сделали!—сказал Гривин, чувствуя, с одной стороны, что говорить нужно, и будучи убежден, с другой, что разговор этот будет фальшивым и вряд ли продержится долго.—Малость отдохнули от вчерашнего?

— Как-будто,—отозвался кто-то не то равнодушно, не то неохотно.

— Патронов достаточно?

— Беляки снабдили!—ответил другой голос, более выразительный.

Что еще сказать? Гривин так и не мог придумать. Пошел к пулеметам, посмотрел в бинокль, спросил комбата о связи—хорошо ли работает?—сел на коня и поехал к железнодорожной линии на боковую заставу.

Мучительный день! Все молчит, и все—как огромная насмешка, нельзя поднять глаз, нельзя и опустить—ведь даже снега хрустят укором. За что?

Как это все случилось? Почему бывает так: тело теряет одну из точек опоры, ищет ее, балансирует, ловит равновесие, балансирует без конца, не падает, но ежеминутно готово к падению, почему бывает так?

Да, укором хрустят снега и мелькают в памяти обрывки прошлого, словно оторванные крылья бабочек.

Гимназия, университет, школа прапорщиков... Отец, мать, сестра, первые увлечения. Гривин—прапорщик. Он и все с ним вместе ликует. Потом—полк... Грязные, вонючие казармы и дымное, шумное, пьяное офицерское собрание. Карты и женщины! Мундиры, мундиры и мундиры. Пусть и Гривин—мундир, но это было отнюдь не плохо, не скучно... Ведь, как жилось и какой упоительной была жизнь! Кружилась голова, и звенела музыка: защитник родины! Женщины отдавались, как в награду, как избранному, легко и радостно. За них ехал на фронт, чтобы умереть... Ах, Нина, Нина! Богиня афинских ночей!.. Впрочем, на фронте умирать не захотелось. Но, право, было легче, чем сейчас. Был свой круг, были и там женщины. И любовь их под ударами вражеского клинка была еще чудесней...

Легкое ранение. Незабвенные лазареты, прекраснейшие и прекраснодушнейшие сестрички... Потом—штаб дивизии—золотое время!

И вдруг—революция! И через головы тайных надежд—«не надолго», «это временное недоразумение», «это невозможно, чтобы варвары»...—явиться в комиссариат!

И вот—новый фронт. Гривин—комбат. Он внешне спокоен, хладнокровен, он рассудителен, дисциплинирован. «Верую» Гривина: быть нейтрально честным, он—спец. Только. Точка.

Помкомполка... комполка...

Тут взбрело: а что, если... И померещилась лестница: комбриг—комдив—команд...

Словно пошел к цели, нашел точку опоры, свои интересы зазвучали в тон общим. Во что-то,—пусть наигранно, самообманываясь,—верил и сливал эту веру с верой тех, с кем шел.

Над обрывом встал—не заметил. Может быть, это было в тот момент, когда комбриг навел наган, и на язык лег неприятный холодок, словно от свинца... Кажется, нет, раньше. Это отступление выбило лестницу и... сорвался.

Гривин очнулся: снега и снега, небо и небо. Он повернул голову и крикнул ординарцам:

— В штаб!

§ 7. ПОДСКАЗАННОЕ РЕШЕНИЕ.

После обеда пошел снег, с заставы сообщили: противник вышел из деревни и движется цепями...

Гривина охватил озноб, недобрые предчувствия словно опустили сердце на несколько ребер ниже. Не успел он отдать распоряжения комбатам, как услышал заглушенные разрывы снарядов, понял, что это бьет противник по заставам. Пришел политком, помещавшийся напротив. Гривин старался не смотреть на него, сам на разговор не лез, отвечал коротко, сказал:

— Ужасное самочувствие... Лихорадит, не заболеть бы...

Политком, наоборот, был в приподнятом настроении, говорлив, особенно щедр на поговорки и на ругань. Это еще более раздражало Гривина, а когда, вскоре же, противник пустил две очереди по деревне и этим подтвердил свои, совсем не шутливые намерения, Гривин окончательно почувствовал себя и сбитым с толку, и больным, и лишним на белом свете, даже взглянул нехорошими глазами на наган.

Политком предложил осмотреть позиции, занятые батальонами у деревни. Деться было некуда, Гривин согласился.

По деревне сновали телефонные надсмотрщики, везли патроны, торопились куда-то отдельные красноармейцы, на дворах трусливо суетились жители.

Все явственнее и сильнее слышалась ружейная перепалка за деревней. Взрывы снарядов учащались и, казалось Гривину, приближались.

— Парная банька будет,—балагурил политком,—до костей распарит, только бы веников хватило!

Он спрашивал красноармейцев, ехавших на санях, что они везут, делал серьезные и шутливые замечания телефонистам, возившимся с наводкой, давал советы мужикам, растерянно выбегавшим из дворов.

Он был возбужден, возбуждение было здоровое, заражало и бодрило тех, к кому он обращался, и лишь на Гривина действовало подавляюще.

— Рисуешься? Храбришься? Подожди, посмотрим, что дальше запоешь?—задавал Гривин про себя озлобленные вопросы.

Когда выехали из деревни, над головами провыл снаряд, тотчас разорвался оглушительно где-то невдалеке сзади, за ним—другой, третий...

Вой снарядов слегка пригибал Гривина к луке, а политком, словно издеваясь над ним, заслышав вой, говорил:

— Пронеси, господи!

И на взрыв шумно и облегченно вздыхал:

— То-то, маму твою так!..

Одна рота лежала в окопах сейчас же за деревней, две—в шагах пятистах от нее. Комбат, совсем мальчишка, какой-то ртутный, находился в пятидесяти шагах от первой роты. Он торчал на снежном холме, словно забытый столб, и рассматривал в бинокль дали. Доложил Гривину:

— Шатов с заставы сейчас сообщил, что противник нащупывает его артиллерией. Цепи приближаются.

Ружейные выстрелы сливались в шум от крупного и сильного дождя.

— Слышите?—спросил комбат.—Беглый.

— Детей, дам и слабонервных просят не слушать,—насмешливо произнес политком, и Гривину показалось, что он разгадал его состояние, настроение, эта фраза относилась к нему.

Ртутный комбат юлил перед глазами, говоря, спеша, но четко:

— Пока ничего не видно. Гляжу, смотрю и не вижу. Снег мешает, стеной валит...

— Как красноармейцы?—вдруг и серьезно перебил его политком.

Голос Шатова изменился, стал крепче, ровнее.

— Выспались, сыты, вчера ворчали, сегодня нет, наоборот, настроение хорошее, будут биться плотно. Говорят: кабы пополнение, мы б показали товарищу адмиралу Уфу, зауфил бы за Урал!..

Гривин слышал: взрывы, вой снарядов, ружейную стрельбу, голос. Все это смешалось, спуталось, в ушах гудело, стучало, отдавалось в виски, перед глазами мерцали светящиеся точки, дрожала снежная сеть.

—Отлично!—сказал Гривин и подивился, что сумел это сказать.

— Едем дальше.

Но не успели они от'ехать и пятнадцати шагов, как Шатов окликнул их. Они вернулись.

— С заставы... вас просят, товарищ командир.

Гривин слез с коня, взял трубку. Комбат I сообщал:

— Противник наседает. Кроет из орудий почем зря. Держаться трудно. Как прикажете? Нужна помощь.

Гривин передал политкому. Тот на мгновение как бы замкнулся, потом открылся:

— Держаться!

— Держаться!—глухо выплюнул Гривин в трубку и передал ее телефонисту

Бой разгорался злым пожаром.

§ 8. ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ.

Больше часу комбриг не выпускал из рук телефонной трубки. Только на правом фланге бригады было тихо. На участках других двух полков было бешеное ненастье, и сведения были неутешительные. Гривин нудно доказывал по телефону, что все равно не удержаться, жаловался, что люди гибнут зря, что противник, оттеснив полк к деревне, засыпает цепи снарядами.

Комбриг раздраженно, иронически посоветовал:

— Попроси, чтоб бил полегче.

Другое было говорить с командиром бронепоезда! Бывший старший фейерверкер, словно лепленный наспех и рыжий, готовый в любую минуту, если нужно взлететь со своей «броней» на воздух,—он упрашивал комбрига разрешить задать перцу белоб... (он выразился о них непечатно), сочно хрипел в трубку.

— Потешь ты мою душу!..

— Подожди...

— Изводит это меня, терпенья нет...

— Займи...

— Гм... ну, ладно... Но если хоть раз плюнут в мою сторону, сейчас же открою огонь.

Волна смывает песок с камня—улыбка смывала хмурь с лица комбрига, он весело передавал слова комбепо политкому. Женственное лицо политкома загоралось, он словно ходатайствовал за комбепо:

— Пора...

Начштаба и его помощники блуждали по картам, рылись в донесениях, составляли сводки, писали приказания. В комнату то и дело врывались ординарцы, красноармейцы, возвращавшиеся из госпиталей и неизвестно откуда, приходил врач, бригадный интендант. Атмосфера была взволнованная, все спешили, у всех на языке было одно и то же слово: позиция. Позиция требовала, подчиняла все и всех себе, диктаторствовала.

А противник крыл злее и злей. Взрывы сливались порой в озверелый гуд, было похоже, что кто-то на неведомом инструменте отмечает на самой низкой ноте убийственный такт артиллерийского огня.

Комбриг пошел с политкомом на телефонную станцию. Вызванный начдив, выслушав сообщение о бое, сказал:

— Так и должно быть. Но пока надо держаться. Приказ уже подписан мною, через пять минут будет передан.

Приказ говорил, что противник вынудил армию к дальнейшему отходу. Чтобы оторваться от него, уйти из под его ударов, необходимо отбить сегодняшние атаки и начать отходить в 22 часа на подводах.

§ 9. ОСНОВНОЙ ЗАКОН.

Машина боя гремела, визжала, затихала на минуты и вновь выбивалась из сил. Гривину казалось что земля несется с неведанной скоростью в последнем вокругсолнечном рейсе. Комбриг был настроен проще, сказал политкому:

— Похоже, чорт его знает на что, но в общем—худший вид безобразия, какое только люди могли придумать.

Гривин вызвал комбрига, аппарат проскулил четыре тире. Телефонист передал трубку комбригу.

— Вас...

Комбриг только что подписал приказ по бригаде. Приложив трубку к уху, он забыл нажать клапан, стоял и думал о чем-то, и лишь когда ухо ужалили четыре писклявых тире, нажал клапан и проговорил:

— Слушаю.

— Товарищ командир?

— Я. Ну?

— Гривин... Не могу. Нащупал цепи, бьет, как по воронам...

— Передвинь цепи,—все еще спокойно и даже безразлично посоветовал комбриг.

— Бьет и по деревне. Ураганным... Держаться никак нельзя...

— А что можно?—меняя голос, спросил комбриг.

— Надо отойти...

— Отойти? Ты опять говоришь—отойти? Ладно... Подожди...

Комбриг отнял трубку от уха, быстро принял какое-то решение и ледяно спросил Гривина:

— Так, по-твоему, под ураганным огнем держаться нельзя?

— Больше нельзя.

— Нельзя?

— Весь полк будет перебит...

— Слушай же... не бросай трубки.

Комбриг вызвал центральную, попросил соединить с комбепо.

— Соединись с Гривиным и не раз'единяйся со мной...

Три вершины треугольника—комбриг—Гривин—комбепо—были соединены крепчайшими нервами. И от вершины к вершине они несли слова, фразы, ругань, восклицания. Смягченные акцентом, оторванные друг от друга слова комбрига. Нагоняющие и сбивающие друг друга, подкрепляемые матерщиной комбепо. Робкие, жалкие—Гривина.

Комбриг сказал с сарказмом, с презрением, которое можно только уважать:

— Повтори, Гривин... Можешь ты держаться под ураганным огнем, отбивать атаки противника?..

Гривин защищался:

— Могу, но не без конца...

— До каких пор? Где этот конец?

— Товарищ командир, это издевательство...

Комбриг гыкнул, обратился к комбепо:

— Слышал?

— Да...

— Об'ясни ему! Подробно... Точно...

Комбепо заговорил гневно, бурно, подавая слова к вершинам с крепкой убедительностью, наполнял их своею горячностью, и они обжигали и Гривина и комбрига. Для Гривина это была пытка, для комбрига—светлое освобождение.

— Гривин!—неслись к двум вершинам от третьей клокочущие потоки слов.—Что распустился, как баба после мужика?! Знаешь, что такое ураганный огонь? Пушечный праздник!.. Молись, но, как в церкви, терпи, крестись чаще с земными поклонами... Понял?.. И держись до тех пор, пока «достойную» не отпоют!.. Все это смешки, а хуже правды. По-товарищески скажу так. Если противник тебе надоел и нет мочи его слушать, меня послушай. Я тоже по этой части кое-что кумекаю. И крою из одной, как из трех, как вот сейчас матом. Побежишь—клянусь, рука не дрогнет,—по тебе такую очередь двину, какая присниться не может... Держись всегда до тех пор, пока не получишь приказ: баста, отходи! Понял?

— Понял?—переспросил комбриг.—Пока не получишь приказа. Это—конституция. Запомни.

— Иди и больше не греши,—добавил комбепо.

Нервы натянулись, пели на высоких нотах. Гривин ответил глухо:

— Слушаю, и выронил трубку из рук.

§ 10. ОДИН ИЗ КОНЦОВ.

Папаха прилипла к мокрому лбу, горячий дым томил лицо, затруднял дыхание, под ногами покачивался неровный пол. Гривин, собирая последние силы, чтобы не упасть в бездну, тихо проговорил:

— Надо держаться...

Политком поднял плечи:

— Зря вздумал разговаривать, это и так ясно.

За деревней тысячная орава ребятишек бросала камни в пустые вагоны. Этому грохоту аккомпанировали потрясающие шумы, колебавшие, казалось, землю. Бой продолжался. Гривин взглянул на часы: было без четверти четыре. Почти два часа прошло с того момента, когда он сегодня услышал первые разрывы снарядов. Два часа его нервы трепало, как неубранные снасти парусной лодки в бурю.

— Конец,—сказал сам себе Гривин.—К чорту, в пекло пойду, пусть убьет, разорвет!.. Не могу больше!

И вот он, точно подрубил снасти. Они упали, он почувствовал себя опустошенным, невесомым, примиренным с худшим и неизбежным. События остановились, вещи легли безразличными камнями, люди стали вещами, и сам Гривин впервые открыл глаза. Он улыбнулся, как это может сделать только грудной ребенок, и неожиданно обратился к ад'ютанту:

— Дайте-ка мне винтовочку и патронов!

Он сказал так, как говорят привычное—дайте-ка табачку и бумажки, так по-детски хорошо попросил, что не отказал бы даже последний скрята. Ад'ютант оторвался от бумаг, вышел из комнаты и быстро вернулся:

— Есть, товарищ командир!

Гривин успел за это время заметить, что снег уже не валит попрежнему хлопьями, что день будто стал огромнее, чище и легче. Он прислушался к разрушительной музыке боя, и она показалась ему только банальной, как мотив, который привычно напевают все, кому не лень.

— Кошелев где?—спросил он ад'ютанта.—Вызовите его, я пойду к батальонам, пусть он посидит здесь.

Политком раскрыл в глазах пышное изумление.

— Проветриться решил?..

Гривин не стал раздумывать—иронизирует или нет этот вопрос, ответил как ни в чем не бывало:

— Да, надоело здесь торчать...

Пришел красноармеец, принес винтовку, патроны, Гривин запихал патроны в карманы, взял винтовку и не сказав больше ни одного слова, безразлично и прямо глядя перед собой, вышел из комнаты. Так, наверное, идут крепкие люди на казнь.

§ 11. ШАГ ВПЕРЕД.

Гривин решил итти напрямик—через огороды. Когда перелезал через последний плетень, не то над головой, не то сбоку, мимо уха взвизгнула пуля. Он усмехнулся:

— Ишь, окаянная, куда залетела!

До батальонов было не больше четверти версты. Они лежали на холме, хорошо замаскированные снежными окопами. Под прикрытием холма, по низине, ходили отдельные фигуры в шинелях и папахах, двое конных ехали друг другу навстречу, несколько саней тащилось, вероятно, с ранеными.

За последним плетнем пули стали позвеневать чаще.

— Неверный прицел!—выматерил Гривин стрелков противника.—Зря патроны им дали.

Ноги вязли в снегу, итти было трудно, но Гривин ощущал прилив неожиданных сил, легко преодолевал препятствия, приближался к цепям. На грозную ворчню трехдюймовок с бронепоезда, на оглушающие разрывы снарядов, падавших впереди, по склону холма, поднимавших снежные смерчи и рывших снежные ямы, на ружейную трескотню, походившую на лай бесчисленной стаи собак, на четкий и убедительный пулеметный говорок—на все эти жуткие эффекты Гривин не обращал внимания. Он шел вперед.

— Пусть убьет,—думал и говорил он, но не ждал смерти, дышал жадно, словно пил любимое вино, опьяняющее той высшей трезвостью, которая учит видеть вещи, как они есть. Он даже вспомнил о вчерашней поездке с Ольгой Петровной, вспомнил, как о легком третьем блюде, с'еденном за обедом.

Память мимолетно восстановила картинку детства, как он, Гривин, тогда просто Колька, найдя в овраге за домом дохлую ворону, решил устроить пиршество. Пошел домой, взял потихоньку кухонный нож, вернулся в овраг и начал резать ворону. Попробовал ли он тогда этой очаровательной дичи, память не сохранила об этом ничего. Кажется, да... Мать, шедшая из огорода (они жили в то время в уездном городе, имели свое хозяйство), натолкнулась на него, удивилась занятию сына, спросила: «Ты что делаешь здесь?»—И он, Колька, гордо и торжественно ответил: «Дичь потрошу!»...

Почему это вспомнилось сейчас?

Гривин остановился. В ста шагах лежала цепь стрелков. Лежали просто, спокойно, будто от нечего делать.

— И я лягу также,—подумал Гривин, забыв и об Ольге Петровне, и о дичи, которую собирался есть когда-то давно, в детстве, и... то, что называется страхом, заявило о себе. Оно заглушило, замедлив, биенье сердца, налилось свинцом в ногах и руках, расплылось блестящими пятнами перед глазами, обкатило щекочущим холодком тело, развязало и нагло открыло задерживающие центры. И спросило:

— Куда прешь?!

На мгновенье музыка боя остро ожгла слух, резанула тяжело и тупо по Гривину вообще. Ему показалось, что он будто бы лежит на операционном столе, все его тело парализовано, но он сознает, что его режут, кромсают. Уже вынули сердце и бросили в сторону. Он видит его... Вон оно, живая точка, копошится в десяти, в двадцати, в сорока не больше, шагах от него!.. Как же так и как быть?

Гривин сделал усилие, все в нем напряглось, наконец, понял:

— Да это, наверное, комроты. Пойду к нему...

Страх был побит. Гривин свободно шагнул вперед...

§ 12. УЧЕНИЕ О ЦЕПИ.

Артиллерийский огонь угасал и со стороны противника даже быстрее. Паузы между смертоносными орудийными очередями все увеличивались. Над цепями реже визжали незримые и стремительные крылатые.

Гривин лежал в интервале между двумя красноармейцами. Когда он вполз в этот интервал, красноармеец справа узнал его, бросил ему лопатку и добродушно крикнул:

— Окопайся, товарищ командир!

Перевернулся на другой бок и открыто сообщил соседу:

— Комполк в цепь пришел! Передавай дальше!

Красноармеец слева узнал Гривина, повидимому, не сразу. Он некоторое время смотрел, как Гривин рыл лопатой снег, когда же узнал, встал на колени и тоже прокричал соседу:

— Командир помогать пришел!

Гривин смутился, ему было радостно-неловко, как от публичных похвал застенчивому ученику, теплая кровь щедро прилила к лицу, он стал усерднее рыть снег.

Два раза сосед справа передавал ему, сообщая прицел, приказание открыть огонь. Гривин долго вглядывался вдаль, отмерял глазом расстояние по прицелу, искал цели, некоторое время ничего не находил, наконец, или ему показалось?—заметил какие-то живые точки, выбрал одну из них, посадил на мушку,—выстрелил. Он лежал неудобно, винтовка оттолкнула его, подала в бок, он выбрал вторую точку. Так выпустил около десятка пуль, пока тот же красноармеец не крикнул:

— Прекратить!

Потом несколько минут над головой звенели вражеские пули. Очередь снарядов упала в шагах сорока сзади. Так: воющий гигантской пастью миг, ветровая, чортовской силы, хватка, раздирающая воздух надвое, шум от падения тяжести в воду,—и все.

Именно. Гривин так и спросил себя, словно до этого он никогда не был в боевой цепи.

— И все?

Первый раз за все пребывание на гражданском фронте он стрелял в противника, в того, с кем, чувствовал он, его связывали еще тянувшиеся из прошлого нити. И сегодня, и вчера, и позавчера—всегда—он думал, что этого никогда не сделает, что на это у него не поднимется рука. И вот поднялась, и так легко! Почему?

Красноармеец справа смотрел на него солнечными глазами, замечал каждое движение, проговорил с той нежностью, какая только была доступна его зачерствевшему от походов и боев голосу:

— Эх, товарищ командир, и жара же была! Четыре раза беляк-то в атаку подымался только мы все ему осаждение делали. Из артиерии громил—упаси господи! и ка-б не броневик—всех в крошонку! Думали, не выдюжим, такой страх, аж мураши прыг-прыг по спине, вот как трепало! Перед смертью и то тише кажет.

Между Гривиным и красноармейцем было шагов двенадцать, красноармеец почти выкрикивал слова. Гривин спросил:

— Потери у нас большие?

— Убитых мало, в нашей роте один, Семенчук только, а раненых будет. Из нашей роты опять же человек десять увезли, да из других посколько...

— Тяжело?

— Кому как попало. Трое, передавали, от снарядов. Проклятущие эти снаряды, не люблю я их. Кабы не передвитали цепь—поранил бы действительно больше. Раз нащупал во как—в самую точку! Только мы сейчас же вперед, шагов на сто этак, а он, значит, и ложит позади... Это уже восьмая линия, мы вон где сначала лежали.

Красноармеец поднялся и показал рукой, протянув ее вперед. Гривин не понял, где же именно они лежали, но этого и не требовалось, конечно.

Бой почти замер. Орудийная стрельба прекратилась совершенно. Изредка лишь то на одном, то на другом фланге занимался редкий ружейный огонь, коротко напоминали о себе пулеметы.

— Матюкаются напоследок,—засмеялся красноармеец,—а то все поговорками да прибаутками сыпали. Да как начнут, не знаешь, когда и кончат... Говорки!

Над головами взвизгивали только заблудившиеся пули.

Вскоре передали приказание двигаться вперед. Красноармейцы стали перебегать. Сосед справа поднялся, крикнул:

— Вы за мной, товарищ командир, как я лягу, так и бежите, пригнувшись...

Он пробежал шагов сорок, остановился, Гривин ждал, что он здесь ляжет, но красноармеец, словно замешкался, что-то рассматривая, потом шагнул и, будто споткнувшись, ткнулся в снег. Гривин поднялся и побежал. Мягкий снег проваливался. Гривин упал на линии с соседом-красноармейцем, шагах в десяти от него. Несколько секунд в ушах скрипел еще снег, а затем до Гривина долетел слабый, как звук от спущенной после удара струны, стон. Он поднял голову, красноармеец лежал в одном положении, как упал с разбега, до Гривина донесся опять тот же звук.

— Ранен!—дало горячую вспышку сознание Гривина, он быстро вскочил на ноги и подбежал к красноармейцу.

§ 13. ВЫХОД ИЗ БОЯ.

Цепи ушли вперед. Красноармеец был ранен выше левого сосца. Гривин перевернул его на спину, растегнул шинель и увидел, что верхний край кармана гимнастерки намок от крови. Красноармеец лежал в полубессознательном состоянии, выдыхая воздух, протяжно стонал, и стон был похож на певучий и неприятный звук, какой получается, если с силой водить по хорошо отполированному стеклу. Необычайное чувство растерянности завладело Гривиным. «Надо что-то делать»—повелительно выстукивало сознание, но что—Гривин не мог придумать. Он, опустившись на колени и опираясь голыми руками о снег, смотрел на красневший карман, в чуть открытые глаза раненого, следил за его дыханием, прислушивался к стонам...

Как же это так? Только что лежали рядом, стреляли, потом разговаривали, красноармеец такой хороший, такая незамысловатая и милая натура, такой отличный **солдат**! И вдруг... Какой-то блудливый кусочек свинца—и... он умрет?!

Короткий ток жути заставил Гривина вздрогнуть, он приподнялся и закричал:

— Сю-ю-да-а!..

А командир роты, по виду такой же, как и лежавший на снегу красноармеец, уже стоял рядом и, недоумевая, что особенного нашел комполка в происш[illegible] должно быть, поэтому возбужденно говорил:

— Я здесь, товарищ командир... здесь... Что прикажете?

— Лошадь! Скорей!

Гривину чудилось, и видение было ярче яви, ощущалось остро, сознавалось отчетливо. Ему чудилось, что земля, блеснувшая впервые родной и любимой звездой, пол-

ной прелести солнечного и поющего июльского утра, переживает катастрофу. Она мчится с нестерпимым свистящим шумом мимо звезд, планет, солнц, сквозь золотые туманности. Огненная вьюга крепнет ежесекундно, Гривин свидетель исключительной гибели одного из миров.

Земля мчится, а навстречу, из плотной синевы бездны, с астрономической скоростью приближаются безудержно увеличиваясь, две бушующих огненными вихрями звезды. Еще несколько мгновений, и неизбежное случится. Гривину хочется крикнуть—остановись!—но горло опалено, сдавлено жаром, язык сух и безволен, но...

Красноармеец открыл глаза-звезды! И в сознание Гривина вернулась самая простая и самая очаровательная быль и теперь уже она стала ярче видения: снега, убегавшие широким раскатом к горизонту, небо, снизившееся к снегам, красноармеец, лежащий на снегу лицом к небу, и красноармеец,—ах, это командир роты! -стоящий рядом.

Как хорошо!

И еще кто-то идет в серой шинели. Знакомый. Торопится. Да это—ртутный комбат!

— Лошадь?—спрашивает Гривин.

— Сейчас будет,—отвечает комроты.

...Горят земные звезды и тлеет, словно раздуваемый ветром, костер у плеча раненого. Его лицо медленно освещается улыбкой, и Гривин слышит знакомый —знакомый с детства!—тихий голос:

— Эх, товарищ командир!

— Я здесь, товарищ!—отвечает громко Гривин и чувствует, что в этих словах есть для него особый и глубокий смысл. Он повторяет едва слышно и раздумно:

— Я... здесь...

Ртутный комбат разговаривает с командиром роты. Гривин слышит слова: «родственник, поди», потом комроты пробегает мимо и исчезает.

Красноармеец говорит:

— Ничего, такая, значит, участь...

Гривин успокаивает нежно и убедительно:

— Рана не опасная, быстро поправитесь, да.

36226

§ 14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ.

Гривин поехал вместе с раненым на перевязочный пункт. По дороге встречались красноармейцы, он видел их изумленные взоры, чувствовал, что эти взоры провожают его далеко... Да, для многих, должно быть, непонятно, как это так случилось, что комполка Гривин, подчеркивавший до сих пор всем и на каждом шагу, что он всегда для них только командир полка, их начальник, вдруг пришел в цепь с винтовкой, лег, как стрелок, а сейчас вот заботливо везет раненого красноармейца на пункт?

— Все понятно!—отвечал Гривин сам себе.

Он видел все по-иному, ощущал все по-новому, и это все было близким, своим и простым, как хлеб. И если бы не раненый сосед по цепи, у ног которого Гривин сидел на санях, можно было бы улыбаться, как никогда, приветливо, со всеми запросто шутить, разговаривать о чем угодно! Но и печаль о раненом была не угнетающей, а бодрящей. Она исцеляла [illegible], и он это ясно понимал, от большого и глубокого недуга, которым он был заражен еще с детства и который так мощно расцвел под офицерской шинелью.

На пункте Гривин был до тех пор, пока врачи не сделали перевязки раненому. Он хотел присутствовать при перевязке, но раненый стал волноваться, прося его, Гривина, не беспокоиться, и врачи шепнули Гривину, чтобы он вышел.

В классе с койками они попрощались.

— Ну, до свиданья, товарищ,—сказал Гривин,—надеюсь, что мы скоро увидимся и еще не раз вместе полежим в цепи.

Раненый ответил не сразу. У него начинался жар, терялось, видимо, сознание. В конце-концов он, слабо сжав пальцами руку Гривина, проговорил не те слова, которые хотел. Так, по крайней мере, показалось Гривину.

- Слушаю, товарищ командир!—сказал он и разжал пальцы.

Гривин вышел на крыльцо, мощно вдохнул холодноватый воздух, уже несший в весенние отравы, и стал спускаться по лестнице. Как и вчера, Ольга Петровна выросла перед глазами Гривина нежданнее зимнего грома. Вихрем пронеслись в памяти события вчерашнего вечера и ночи и унеслись далеко-далеко.

— Николай Яковлевич!—услышал Гривин и уловил в знакомом голосе наигранные нотки, вызвавшие у него чувство досады.

— Я, Ольга Петровна... Я...

Что ей сказать? У него так хорошо на душе!

— Знаете что, Ольга Николавна...—Гривин искал слова, он знал, что надо сказать, но не знал, как. Глаза женщины заблестели и погубили ее. Гривину эта игра не понравилась, он решил ее оборвать, сказал не то, что хотел сначала.

— Я думаю, что вам в полку, в такой обстановке, трудно работать и жить. Я попрошу, чтобы вас перевели в бригаду или дивизию.

Добавил:—«Досвиданья, еще увидимся мне некогда!»—и уверенным шагом направился на дорогу.

§ 15. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

В штабе полка уже был получен приказ об отходе. Гривина встретили шумно, прибаутками, политком спросил о красноармейце:

— Он тебе не родственник?

— Хуже,—засмеялся Гривин,—родной сын!

— Из тех, что спичками раньше торговали?—не отставал политком.

— Сомнительно. Роднее!

— Темное дело, а впрочем, нам все равно, что в лоб, то и по лбу.

Гривин торопливо пробежал глазами по странице приказа. Ему хотелось работать, действовать, с небывалым наслаждением он водил пальцем и спичкой по карте, вымерял расстояние, назначал и переназначал привалы, сам набросал черновик распоряжения комбатам и начпулькоманды, до мелочей об'яснил ад'ютанту, что написать завхозу, и, пока тот писал, опять возился с картой, проверяя себя. Потом позвонил комбригу.

— Ну, вот, товарищ командир, атака отбита, потери есть, но не так много.—Переменил голос и сознался:—А ты прав был—держаться всегда можно до тех пор, пока не получен приказ—отступай!

Комбриг словно понял его, говорил много и весело, закончил разговор приглашением:

— Ты заезжай-ка ко мне поутру...

— Ладно,—ответил Гривин,—заеду, как не заехать после таких любезных приказаний.

— Разве они не любезны?—спросил комбриг. -Ты на моем месте, как поступил бы?

— Наверное, не хуже тебя!

— Вот именно. Ну, всего.

После чая Гривин прошел в свою комнату, хотел прилечь на часок, но мысль, созревшая еще за обедом, не дала уснуть.

В отвечерованшей уже деревне собирались подводы, на которых должны были отходить батальоны. Ночь шла темная, обещалась быть звездной, на западе оголился небосклон. Гривин видел в окно строгую синеву, видел звезды, и они казались ему свежими цветами.

Пролежав в раздумьи минут двадцать, Гривин вернулся в общую комнату, достал из сумки полевую книжку и стал писать.

..

РАПОРТ.

Убедившись на целом ряде примеров, что для командования полком у меня нехватает многих качеств, более важных для этого ответственного поста, чем знания, приобретенные мною в военной школе, прошу ходатайства об освобождении меня от занимаемой должности и о назначении не выше командира роты. Я считаю, что эта несколько странная, на первый взгляд, просьба будет вполне понятна, когда вы узнаете те обстоятельства, которые привели меня к ней и о которых я доложу вам лично.

Подписался и, перечитывая про себя подпись, произнес вслух, удивя ад'ютанта:

— Да, компполка Гривин!

ИВАН АБАБКОВ

Жизнь отрока Епиксима

Повесть.

I.

Епиксимом его никто не называл. Он прозывался Симкой до конца своего пребывания в родной деревне Забоковке. И жизнь Симкина —не жизнь, а прозвище одно -боком вся жизнь шла. Не потому, что Симка был сам плохой —наоборот: задорно-курносый, с взлохмаченными волосами, шустрыми глазами он был пробойным парнишкой. И, живя в лесу, среди гор, любил он тайгу сильно. Но надо родиться и вырасти в тайге, средь лесных чащ, под напевом верховочных хпусов, чтоб свыкнуться и понимать и любить ее в холодные осенние дни, в те дни, когда ветер усердно стелет постель для белесой зимы, ласково трепля листопадный пух. Писк бурундуков, свист и хлопанье рябчиков, неожиданный рев козла, вой волков из глухих лесов и трусливый бег зайца—это понятно только тому, кто с малолетства измерил гривы и сопки вдоль и поперек, кто кормится и живет тем, что на долю человека посылает таежная своенравная природа.

... Симке девять лет, а он тайгу знает лучше-лучшего. Знает ее больше, чем коновую игру в бабки. В коповой игре самый фартовый в деревне Забоковке—Прошка Никитинский. Налиток*) у него особой наливки. Должно быть кузнец Макар что-то наговорил, когда наливал. Вдобавок и левша Прошка. А левши все метки. Симкина мамка говаривала, что в бабки грех играть: правой рукой крестятся и в бабки ей же бросают... Грех!.. А левой –не грех. Поэтому, верно, Прошке больше везет. Так решал Симка. А в тайге Симке хорошо, приметливый он,—хоть куда ни уйдет, все найдет обратно дорогу. Бывало петли на рябчиков раскидает по логам забоковской деляпки штук по ста и более и все до единой находит. Или за бурундуками погонится—забежит совсем в незнакомое место, вгорячах-то и не запримстит, какими местами бежал, и все-таки не заблудится. Хотя теперь мало мест осталось, которые Симка не знал бы, как он сам себя. По тайге Симка ловкий ходок. Не даром он сирота. А на сирот, известно, у всех рот широк. Все осмеют, ахают!

— Курицей растешь, Симка,—часто дразнил Прошка,—в баню с матерью ходишь, с бабами, они срамные. Рябчиков не умеешь ловить, в тайге боишься заблудиться.

Не стал Симка с матерью в баню ходить. Лупила его мать, а не стал. В субботу, когда у Прошкиных дымилась баня, пришел Симка с березовым веником к Прошке и как будто ни в чем не бывало спрашивает:

— Колды у вас, Прохор, мужики в баню пойдут? В нашей-то бабы моются, долго дожидать.

---

*) Налиток—бабка, налитая свинцом.

А какой там долго дожидать: показаться пришел, что не ходит Симка с бабами в баню!

Научился рябчиков ловить. Правда, у Прошки же он подсмотрел, как ставить петли—вот и все! Теперь и Прошке завидно: помногу Симка рябчиков таскает. Но, подвух пихт, над палочкой повесить кисть калины, а с обеих сторон калины подвесить петли—вот и все! Теперь и Прошке завидно: помногу Симка рябчиков таскает. Но, погоди, Симка еще глухаря поймает! Это почище, чем кон бабок заграбастать. Вот Прошка не умеет голоруком ловить бурундуков, а Симка умеет. Прошка не верит: говорит, колдуешь или воруешь. Не колдует и не ворует Симка, а ловит. Сноровка у Симки такая, характер бурундучий надо знать. Как увидел его, путни и долго не беги, остановись, и бурундук сразу же остановится, чтобы посмотреть, пискнуть и нырнуть куда-нибудь под листья. Вот как остановится, запускай палкой—и есть! А то хоть сколько гоняйся. Люди хитрые и бурундуки тоже: иной водит-водит и доведет до ничего.

Симка в тайге, как дома, приловчился он ко всему. И от этой, может, ловкости и пошли всякие приключения в Симкиной жизни. А началось все дело, пожалуй, из-за бурундуков.

В холодный осенний вечер Симка искал коров—запропастились куда-то. Ходил-ходил, а коров все нет. Будь бы не попутный ветер, тогда, может, рядом же прошел и не заметил, а то и ветер, как следует, но ботала все не слыхать. Солнце уж за Барсучий бом закатывалось, а коров нет и нет.

— А все мамка! Чо-б ей стоило дать на Синегривке поехать, разом бы об'ехал все гривы и давно бы уж нашел. Ух, язви те совсем!—выругался Симка.

Выругался и сам своих слов испугался, будто боялся, что услышит мать. Боялся не потому, что выругался, а оттого, что свою мать обругал. А язвой он ругался и при матери. Правда, мамка не раз говорила:—«Отбуцаю я тебя, Симка!.. Кака там innno язва у тебя завелась! А? У табашников научился? Смотри, вольница непослушная, стряхну шарынь-то!». Но буцкала она Симку больше тогда, когда он, ища коров, увлекался погоней за бурундуками, а коровы из ближнего лога сами приходили. И корювенки-то зловредные, как на зло, приплетутся домой одни, дескать, Симка за бурундуками гоняется, а мы вот какие умные—сами пришли...

Симка вспомнил случай, как мамка ни за что, ни про что выдрала его чересседельником: два дня не мог найти коров. Лубошничиха-доенка сначала сбавила, потом совсем перестала доиться—присохла. А при чем тут он, Симка?.. Если бы Прошка Никитинский на пакость не загнал бы коров в пустое остожье и не заткнул бы у них ботала травой, разве Симка не нашел бы их?.. А то тут, под боком были, а он их где искал?.. Все лога излазил, обутки прорвал, горя натерпелся досыта, даже сам собой плакал, чего отродясь не бывало. Вот и теперь от того случая у Симки на глаза слезы навертываются. Вдруг на валежину невесть откуда выскочил бурундук.

— Ффу, окаяшшай, самушшат только!—выругался Симка и погнался за бурундуком, а про коров и забыл. Бежал, бежал—унал, а бурундука и след простыл.

— Лешак поганай!—плюнул Симка.—И зачем их только ловят?.. По пятаку штука покупается, а чо из ее, из шкурки-то?.. Горностай—тот хоть крепкий, да и бабы городские носят горностаев. А чтобы бурундуком оделались—не видал...

Симка всего один раз был в городе и потом часто о нем вспоминал. Вот и теперь непойманный бурундук навел на размышление о городе:

— Ехали-ехали с дядей Гаврилой, конца-краю не видно. Одному назад из города ни в жисть бы не выбраться. По улицам народ баской-пребаской, с тросточками и так—просторубом. Все больше в галошах, в новых картузах, в шляпах. А бабы все в шляпах иль в шапках. Шаровары у мужиков на выпуски и не плисовые... (плисовые—дядя сказывал—у них за самые плохие считаются).

Вот жисть-то!—завистливо, тяжело вздохнул Симка и продолжал вспоминать:

— А бабы наряжены, как ангелы. На одной из них большой-пребольшой воротник, весь из горностая сделан. Ух, сколько горностаев-то!..

Симка пытался подсчитать, но сбился со счету, потому что баба повернулась боком, и весь счет пропал. С этой бабой собаченка, белая, как снег. На морде у ней ременная решеточка.

— Это для чево?..—спросил Симка у дяди Гаврилы.

— А чтобы не кусалась.

— А у бабы на рыле зачем решетка?

— У бабы? От комаров должно быть!..

— Зимой-то? Вот чудеса!—удивился Симка.

— Это они от белого хлеба дурят,—об'яснил дядя.

А вечером Симка не ел белый хлеб, все смотрел на дядю, как он кусал ситный и ждал, когда дядя задурит. А дядя с'ел и не задурил. Когда они приехали домой, Симка угостил белым хлебом сестренку Нютку: может только бабы дурят с него? Но Нютка с'ела хлеб и тоже не задурила, а просила еще.

С тех пор прошло больше года, и Симка все это помнит.

— Должно быть, только городски дурят,—решил про себя Симка.—Но и дурят-то по-благородному. Сами наденут на себя решеточку или заткнут руки вместо варежек, в лисью шкуру и идут, как блаженные. Чудные!

Но вот куда идут бурундуки?

Симкиному вопросу ответила тайга взрывами усиливающегося ветра. Прислушиваясь к боталу, Симка опустил голову и задрожал. Из глаз его полились горячие слезы.

Симке было от чего плакать. Новые плисовые шаровары купленные только в эту весну, к пасхе—порваны. Надевал же он их всего раз пять. Хоть бы порвал дома, играючи—все лучше: побила бы мать маленько и перестала. А тут—такая беда: когда Симка отправился за коровами, мать наказывала снять эти шаровары и одеть пестрядные, а Симка не снял,—ушел в них своевольно.

Опустившись на землю, он сидел и уже не плакал. Его воображению казалось: коровы уже давно дома и мать стоит у заворок*) с вицей**) в руке, поджидает Симку... Хлестнула Симку по плечу, Симка изогнулся и с ужасом запричитал: «Ма-а-аманька, не буду, роди-имая не буду, не буду больше, не буду!»... Вот она повалила Симку на землю, как раз на левый бок, увидела порванную штанину, остолбенела, а потом горестно и со злобою в голосе закричала: «Господи, господи, за грехи мои тяжкие наказал меня бог этим дьяволенком, пропасти на тебя нетути! Новешеньки шароварчики искромсал, сучья башка!». И Симка дрогнул от безжалостных материнских ударов вицей и безумно завизжал, как поросенок под ножом... «Не кричи, не кричи, паскуденок проклятый,—приговаривает мать, чо, суседей хошь дозваться? защиту? Не крячи, не базлай!». А вица все чаще и чаще секла Симкино тело, нестерпимой болью впивалась в его гибкую детскую спину пиявкой... «Ой-ей-ей-ей!»—стонет и визжит Симка...

И от этих нетерпимых дум слезы снова горячим ручьем потекли по его лицу. Маленькое тело подергивалось от горьких всхлипываний. Он сидел на корточках, дрожал, плакал, боялся.

Близко, ох, как близко тяжелое Симкино горе...

Истерзанный плачем Симка упал на землю, руками вцепился в желтые листья, в мелкую чащу, и приник к земле, ища у ней успокоения. Плечико изредка судорожно подергивалось, но все реже, реже. И распластанный на земле, он мертвецки успокоился, уснув тяжелым сном.

И кажется Симке, что он летит в адскую пропасть. Вокруг него свищут ведьми и черти, свищут крыльями, хохочут. Будто целый буран из хохота поднялся—это Симка

*) Заворки—звено городьбы, легко раскладывающиеся; служат вместо ворот.
**) Вица—прут.

летит в пропасть, в огненную пропасть. Что там, внизу? Ой, ма-а-а-ма!—страшно застонал Симка, и зубы его чакнули, как железо. Вот огонь. Ад! Ворота большие, страшные. Змеиная пасть. У ворот черти с весами, с гирями, с вилами. Такие же, как на иконе суда божьего у дяди Гаврилы.

— Симка, грешник! Го-го-го-го-о-о!—гогочет дьявол.

Вон из ада несут большую книгу — хартию, в ней записаны все Симкины грехи. Ох, как много грехов! Чорт читает и гогочет:

— В бабки правой рукой играл...

— В страстную субботу ел молочное; украл у мамки крашеное яйцо и с'ел...

— Просвирне язык показывал...

— Не всю епитимью отмолил, наложенную попом Василием за то, что Симка своему котенку дал имя «Васька»!

— За брундуками гонялся...

— Язвой ругался!..

— У всенощной службы в церкви дремал!..

— На исповеди один грех утаил. Грех этот—рыжебородого попа Василия мысленно обозвал красным колопком...

И еще много, много Симкиных грехов записано у чертей в книге.

Вдруг над Симкиным ухом закричала мать:

— Не тревожьте его! Мой сирота, мой и бутканцы! Зачем ты, Симка, прошарапучил коров-то? А!?. Господи, господи, за грехи мои наказал меня тобой, Симка, бог!..

И вица резко хлестнула Симкину спину.

Симка проснулся. Сломанный ветром сук осины пребольно ударил его по спине.

Солнце уже скрылось за зубчатыми горами. Тайга стонала и ревела. Но совсем Симка не струсил. Стал спускаться в лог. В логу, на счастье повстречалась Лысануха, кобыла дяди Гаврилы, с маленьким рыжим жеребчиком (давно Симка завидовал этому рыжанчику—любит он красивых жеребят). Поймал Лысануху и покатил.

— А ведь и маленькому не совсем плохо жить,—решил Симка:—большие-то даже могут позавидовать... Только штанина вот!.. Чо будет, то и будь! Хрен с ими, и со штанами-то!..

Вздымаясь на последнюю гриву, Симка даже запел:

Пусть воробушки летают
Пусть черемушку клюют,
Пусть милашку отбирают,
Пусть навеки отбирут!..

А сердце при таких песенных словах, как воробей на тыну: прыг-прыг. У-ух, хорошо!.. Но в это мгновенье что-то хрястнуло, грохнуло, Лысануха кинулась в сторону, и Симка остался лежать на земле, прибиваемый холодным осенним дождем.

II.

Давно то было. Симка под стол пешком еще тогда ходил. Отец его был жив, и все братья (Симкин отец, дядя Гаврил и дядя Пантелей) жили в семье. Зажиточная была семья. А верховодила всем бабушка Матвеевна. Какие излишние достатки бывали в доме—откладывала она в туесок бумажками или золотом и хранила тот туесок на погребке.

Стали делиться братья, метнули жребий: к кому пойдет на прокормление старуха? Выпало на долю Симкиного отца. Симка тогда еще только орал «куа», да «мюа»... В том вся его жизнь тогда и состояла.

Пошла бабушка, когда началась дележка, на погребок, чтобы поделить по малой толике сынам из своей казны. Открыла туесок и ахнула: пусто там, ни гроша!.. Крики да слезы, охи да вздохи послышались в семье:

— Кроме Гаврилы некому взять деньги!—грешила бабушка:—Он один знал копилку, он и взял!

И с тех пор пошла тяжба. Сначала ругались, потом стала бабушка ездить по судам. И у кого только она не была! Крестьянские начальники (сколько их переменилось!), мировые судьи, окружной суд—все знали бабушку. А про волостных и говорить нечего—надоела. Ездит и ездит по судам—везде ей отказывают. Прошенья не стали даже принимать, а уему бабушке все нет. Много, видно, денег-то было. Да и как не быть деньгам: продадут воск, продадут мед, лен, орехи—все в копилку, все в копилку. Накопила, должно, много, вот и тягается. Прозвище от деревенских получила—«аблакат». А бабушке хоть бы что! Запрягает или оседлает Каурку (а Каурка чуть не одногодок с бабушкой), прихватит туес меду, прошенье—за пазуху и покатит опять.

Научил ее кто-то показать крестьянскому начальнику Феклиных сирот. Жалостливый, говорят, может сдобрится и решит дело по закону. Конечно, Нютка мала. А Симка самый-то дельный.

К той поре ожил он от чирьев и простуды. Всю зиму пролежал, обвязанный тряпками, и думал о воле. А когда в солнечный весенний день вылетел на улицу, подняли его ребята насмех: агличаном дразнить стали. Петька Гаврилин смеется:

— Ты в хворости все в Аглию каку-то собирался путешествовать.

Говорил Симке писарь, что есть такая страна, куда богатые люди ездят путешествовать. Про это видно и туруснл.

Теперь, когда взяла бабушка Симку с собой, он и про насмешки забыл. Оседлали Каурку. Симка за загорбком у бабушки сидит и думы думает:

— К крестьянскому поехали, значит? Так. Ладно. А вдруг говорить с ним придется? На ихнем, благородном языке Симка знает только одно слово—«почтеннейший». У писаря подслушал это слово. Ничего, может и это слово пригодится.

— А почему он крестьянский начальник?—выпытывает Симка у бабушки.

— А набольший он над всеми крестьянами, главный он... Как, примерно, я в семье самая старшая... Учен он шибко. Все на свете знает.

— А деньги у него тоже воруют?

— Молчи, пострел!

— А глухарей он знает как ловить?

— Господи! Чево ты это придумал! Разве его это дело? Поди не мужик он.

— А чего он еще «все знает»?

Молчат. У бабушки свое, у Симки—свое: «почтеннейший», как бы не забыть!

Оставила его бабушка в прихожей; сама пошла к крестьянскому. Сидит Симка, не шевелится. Дух спирает: в какие люди-то попал, выше волостного писаря! Тут же, в прихожей, за маленьким столиком в бумагах копается парнишка. В пиджачке. За ухом карандаш, как у заправского писаря, а сам чуть больше Симки. Диво! Неужели и он будет крестьянским? Смотрит на него Симка. Что за навожденье,—ровно Артюхин Карпа?..

— Э... почтеннейший... вы кто будете?

— Мы? Писарь мы.

— А откудова?.. Не Артюхин ли?..

— Те самы.

Ого, какой важный стал! Даже не узнает Симки!

— А про агличан ты знаешь?

Карпа про агличан не знал и потому стал покорнее:

— Слышал я это. А зачем ты приехал?

— Тягаться я, с бабушкой вместе.

Разговорились. Рассказал Карпа Симке:

— В писарское обученье отдал меня тятька. Говорит: богатые мы, а благородных у нас нет. Иди, учись на благородного. Отучился я сначала две зимы в школе. Теперь здесь мы обучаемся. Очень тут сурьезное занятие.

— А мне в благородные можно учиться?

- Вам нельзя... Которым можно, а ты—сирота.

— А агличанам?

Чо привязался!.. Агличанам, агличанам! раздосадовался Карпа:- и нет таких! Вот американцы есть. Бумага от уездного начальника получилась. Пропечатано там, што американцы зовут в свою империю на заработки, а нам пишут, что они обманывают, упреждают, чтобы переселенцы туда не ехали... А жить, говорят, хорошо там! Все на лисапетах ездят. У нашего-то начальника тоже есть лисапет. Блестит весь, я ему один раз прикатывал с квартиры.

— А какой вере молятся мериканцы?

— Мериканцы-то? Какая же вера у них? Нет никакой! В роде ясашных татаришек...

— А много их?

— В сто раз больше русских...

Неуж все в аду будут?—стал раздумывать Симка.

Когда возвращались, бабушка ругалась:

— Плохой начальничишка-то, никакого от него способия: говорю—сирота тут у меня, посмотрите, может. Видал, говорит, я людей-то. Ну, вот, и поговори с ним ..

От этой поездки в Симкиной голове прибавились еще думы. Об американцах те думы. Ух, все бы узнать! Да нет, где там все узнаешь! Надо триста лет жить, чтоб узнать. Думы уже дома прыгают: приедешь домой, опять дразнить начнут: агличан; агличан!.. Будь ты богатый Симка, удрал бы в Америку, а то... Только и житья Симке—от Прошки. Раньше с ним плохо жили. Теперь—лучше. Не дразнит, как другие. Но, ведь, большой он, какая с ним дружба? Прошка девкам за титьки, а Симка только носом подшмыгивает. Не ровня. Кто-то даже Прошкиной овечкой обозвал Симку. Прошке все время надоедал расспросами об американцах: какие они обличьем, да что едят, да чем занимаются?..

— В книгах надо про это вычитывать. Это кто грамотный, тому способнее. А нам с тобой не до того!—отвечал Прошка.

Те, которые у девок ворота дегтем мажут, никогда с Симкой по-добру не разговаривают. А Прошка, как с большим, говорит. Нравился за это.

А зачем вы ворота девкам мажете?—пристает Симка.

- Я не мажу. Другие мажут, ухаживают за девками которы, а девки им не поддаются. Вот парни со злости и мажут.

— А тебе поддаются?..

— Мне поддаются и тебе будут поддаваться. У тебя глаза-то, как масляные блины. Таких девки любят. Вот Петрушку Гаврилина не полюбят—без отцовского дозволенья не может за ограду выйти.

— И верно: Петрушка Гаврилин, - вспомнил Симка,—раньше играл с ним в коны. Бегает Петрушка тихо, хотя и старше Симки на два года. Симка и говорит ему:

— Ты будешь жеребушечкой. А жеребушечки никогда с лошадями не бегают. Потому ты стань у прясла, как привязаный, и стой...

И стоит Петька, пока Симка с ребятами не наиграются вволю.

За ласку и за то, что отчаянный Прошка, полюбил его Симка. Хотя и называли Прошку варначиной, но не верил этому Симка. Мамка про Прошку, года два тому назад, соврала:

Чо плохо лежит, так у Прошки брюхо болит. Ворует, дескать, Прошка.

Спросил Симка у него:

— Правда, что ты вор?

— Я?.. Вор?.. А кто тебе это сказал?

— Кто?.. Дядя Гаврил.

— Гаврил? Ла-адно. Завтра я ему зубы выкрошу, потом окна перебью.

Испугался Симка, решил, что зря мамка болтнула,—соврал Прошке, что сам придумал это. И с тех пор не верит в Прошкино варначество.

III.

Жить Симке стало лучше: мамка не бьет, с Прошкой ведет знакомство, и разговоры по-большому разговаривает. В деревне завелся спор насчет поскотины. Нижнекрайские говорят, чтобы поскотину расширить, а верхнекрайские не соглашаются. Больше всех кричит Гаврил:

— Расширить надо!

— Дак как ты думаешь, Прохор, будем расширять поскотину или нет?—спрашивает Прошку Симка.

— Не для чево! По-моему, местов для скота в поскотине хватает...

— И я так же думаю, что не для чево.

Прошка хотя и ухмыльнется при таких Симкиных рассуждениях, а обидного не скажет, в роде, как за большого считает. А ухмылка—Симке не обида. Прошка же посоветовал, как можно узнавать про англичан и про Америку.

— Надо быть богатым и еще—грамотным... Тогда можно все разузнать, поехать даже можно...

— А как быть богатым?

— Надо уметь... Вон твой дядя Пантюха умеет...

— Умеет? Та-ак!

Думает Симка, думает. Но как вспомнит о Рыжанчике, что пасется в табуне, тоска злее: не Симкин Рыжанчик! Казалось порой, что катит он на этаком скакуне в Америку. Но дум этих боялся—несбыточные они.

Приехали в Забоковку благородные господа, ходили по горам, места смотрели, воздух нюхали. Целебный, говорят, здесь воздух, хворых лечить можно.

Ранее знавал Симка, что хворых лечат травами да еще наговорами, городские лечились—беленькими порошками, а чтоб воздухом—не слыхал.

— Поди от дурости это все?—спросил он Прошку.

— Нет, от большого ума. Умные-то скорее начинают дурить.

Говорят эти господа:

— Трубеболезным можно здесь лечиться.

По-деревенски, значит, чахоточным. Вскоре приехали городские мужики и бабы, расстановились по квартирам. И к Симкиной матери в горницу поселились две бабы—дамами прозываются: одна толстая-претолстая, другая потоньше, в самый аккурат телом.

Вечером того же дня подкрался Симка к окну и слушает, что они говорят. А они, как татары: «каля-баля, каля-баля»—ни лешего не понять! В роде русские, а говорят по-татарски. На утро набрался Симка духу и спрашивает у толстой:

— Вы—татары?

— Почему—татары?—удивилась толстая:—И зачем тебе?..

— А по-татарски лопочете.

Расхохоталась баба. Хохочет и хохочет, как дур напал. Насупился Симка, обидно. Глазами хмуро поводит.

— Эх, тайга, тайга,—говорит толстая уже ласково:—Я русская, а подруга моя—американка.

— Мериканка?—крикнул Симка:—Мериканка!

А глаза стали беспокойными, бегают—туда-сюда, как сорока на гумне.

— А ты чахотошна?..

Снова расхохоталась толстая пуще прежнего. Подошла к ним мамка и спрашивает:

— Чо, поди, напрокудил этот дурачина-то? Вы уж не посудачьте, благородная госпожа, он у меня без отца растет, некому учить-то.

— Да, он бойкий у вас. И не дурной. Умница!

Надавала толстая конфет, шоколаду. На шоколад Симка два туеса бабок наменял и все чечки у ребят скупил.

Первые дни отбою не было американке от Симки. Как, да что, да почему, да отчего? А она, нехристь, по-русски лопотать-то может чуть-чуть! Для Симки совсем непонятно. Об'ясняла больше все русская. Узнал от нее, что в Америке на машинах ездят. Жалко стало Рыжанку: не в почете, значит, Рыжанка будет там...

Потом русская такой наказ Симке дала, от которого вся Симкина жизнь перевернулась.

Не стал Симка в бабки играть, не стал к Прошке ходить насчет общественных дел толковать, даже прикормки на колонков к зиме не стал расставлять—все забросил. Сидит по праздникам и в будни—в досужее время—в амбаре на подлавке и что-то делает, а что—никому неизвестно. Спрашивала мамка не раз:

— Чо ты копошишься там?..

— Бич волосяной плету!

И показывает: верно—бич.

— Тихо чо-то плетешь, одно колено только заплел...

Смутился Симка, но вывернулся:

Потихоньку, ладом, чтобы крепче было—на всю жизнь.

— Ну, плети, плети, сирота моя горемычная. Все пригодится. Эх, Симка, Симка, гляжу я на тебя—уж больно ты дикой растешь. В роде бог умишком не обидел, а все пучеглазишь чо-то.

Подсела к Симке и гладит его по голове. А Симка, как на иголках, юлит.

— Чо вертишься? Не хошь с матерью побеседовать? Сердишься, что била? Не бью, ведь, теперь... А бить-то бы надо. Учить вот зимой буду: псалтирь в руки, и почитывай. Может батюшке Василию на клиросе поможешь, все пригодится.

Симка по-церковному знал четыре буквы: бабушка уже начинала его учить. Грамотейка она по-славянски. А светскую грамоту не любит, как чорт ладана. Но читал Симка эти четыре буквы по-своему:

Аз буки, аз,
Головешка пала в таз.
Ер еры, упал с горы,
Рцы из азбуки свалился.
А архангел удавился...

Долго Симка складывал эти слова, но одно по одному сложил и теперь частенько почитывает их в таком виде.

Приезжал из своей заимки дядя Пантелей, тот самый, про которого Прошка говорит, что умеет богатым быть. Приезжал и удивлялся:

— Чо тебя, Симка, не видать нигде?.. К нашим ребятам перестал ходить. Ждут они тебя. Где, говорят, агличан, чо не идет? Сидишь все дома, как монах! Или прошлогодней валежиной всю прыть отбило?..

Потом рассказывал:

— Говорят, в Ермании жил один немец, который запереся у себя в доме и три года не выходил, все что-то потайно делал. А когда прошло три года, вышел из комнаты и пришел к царю ихней империи:—Часы—говорит—таки сделал, с пшеничное зерно. Колесики в них меньше комариного носа, а винтики таки маленькие, что в подзорную трубу только можно рассматривать. Сколько диковины-то было! У-у-у!

Этот дядин рассказ Симке—что масло в огонь!

Лето клонилось к осени. Верховки зашумели сильнее. Прошка рябчиков уже начал таскать на продажу,—не прокисают. Бурундуки жалобно свистят и реже на солнышке греются. Дни становились короче—в амбаре работать Симке труднее было; плохое освещение. А ведь в избе не будешь это делать! Мамка уже коситься начала, и с опаской спрашивает:

— Когда бич доплетешь?

— Скоро маманька, скоро доплету.

А сердце—мякишным колобочком сдавливается, и дикость какая-то на лице появилась.

— Уж не порча ли на него напала?—думает Фекла.—От дурного глаза, может... Городские шилохвостки шибко его расхваливали, сглазили, поди.

И с соседями такие же речи высказывала, а Симка подслушал.

— А вдруг порченый я?.. Хотя нет, вот тетка Аграфена, Прошкина мать, порченая, так она с бесенком, который внутри ее сидит, разговаривает. Заговорит-заговорит, да часто так. И все одно слово. Видно бесенок не знает больше человечьих слов. Часто так заговорит: «вот, вот, вот, вот, вот». И чо ему надо?.. Иногда еще говорит: «прийдет, прийдет, прийдет, прийдет»... Это про сына, что в японскую войну без вести потерялся. Но Симка, ведь, ничего не кричит и в животе у него будто ничего нет. Только урчит иногда что-то. Но это, может, от пирогов или от пельменей.

Про мать Прошкину американская подружка сказывала, что душевно больна она: Ну, это, пожалуй, тоже враки,—думает Симка, — душа как же захворает?..

И успокоенный тем, что он не болен, Симка опять взялся за свое потайное дело.

Мамка уехала на помочное гулянье к заимчанам, а бабушка—тягаться. Симка в доме один. Притащил свои инструменты в избу (а какие там инструменты? Кто знает, что к чему и не поймет). Притащил и разложил. Перебирает картоночки и бормочет, как оглашенный. Взглянул нечаянно на икону и ужаснулся. Иисус Христос смотрит с иконы на Симку во все глаза. Встал Симка, отошел в сторону, а глаза божьи за ним. Симка в угол—глаза тоже. Вспомнил тут Симка материны слова: «Боженька все видит, все знает». Перепугался. Бог увидел и все расскажет мамке во сне! Отыскал колодочку с дратвами, верьвами, шильями, перекрестился и—тык, тык, тык глаза Иисусу, а заодно и богоматери, и Николе тоже.

На утро встала мать и всплеснула руками:

– Пресвятая мати владычица!.. Што это тако? Симка! Ты, паскуда, наделал?!.

А Симка давно уже в крапиве сидит, затаив дыхание. Руки обожгло крапивой, лицо, как в осне, а сидит. Прихватит рукавом под самый корень крапиву, раздвинет ее и смотрит в небо. А там, в небе, белесые предзимние тучки плывут, как тогда, в прошлую осень. Плывут эти тучки и не ведают Симкиного горя. И в сердце Симки—тучка. Только не белесая,—черная, как змея. Капают слезы из Симкиных глаз.

— Спаси, господи, и помилуй!—молится Симка.

Молится и сам не верит: бога, ведь, самого прогневил. Рядом кто-то заквохтал. Симка вначале и не заметил, что тут рядом с ним сидит курица-парунья. Если бы у Симки не было горя, вытащил бы он эту курицу и в холодную воду: купал бы, купал и приговаривал: «Не парься беззаконно, не парься». А теперь?

— Кутинька, кутинька, миленькая, не бойся, не трону тебя, горемышная...

И курица сидит, не беспокоится, будто знает, что не тронет ее Симка. А слезы у Симки—кап, кап!—на рубаху, на крапиву. Будто вся Симкина жизнь—крапива.

— Нет, худо жить маленькому, хоть бы скорей вырасти!—вслух выговорил Симка свою мечту.

– А-а! Так вот он куда забрался!.. Вылезай, пакость проклята!—закричала мать.

Нечего делать—вылез Симка. Вылез и дрожит, ждет—вот-вот вцепится в него мать и почнет валтузить... Но,—диво!—не бьет его мать.

— Пойдем-ка, сынок хороший со мной...—говорит мамка необычным голосом, каким еще никогда не говаривала.

Повела за рукав. Симка удивляется: зачем и куда его повела? На сердце немного легче стало. Привела к дяде Гавриле и говорит:

— Гаврила Ларивоныч, поучи-ка сироту непослушную, напрокудил он у меня. Сама-то я не могу управиться: богу обет дала—не бить Симку...

Разложил Гаврила Симку на предамбарье, и трехвосткой: враз, враз, враз!

Жогает Гаврил Симку. Ужом вьется Симка, а не кричит, не молит о прощении. Знает, что дядя не поверит. Мать тут же стоит и по щекам ее текут слезы, а сама она приговаривает:

— Еще Гаврила Ларивоныч, прибавь ему за коня несытаным пустил его за поскотину...

И пошло, и пошло, за то да за другое.

Эх, и бил же Гаврил Симку! Доволен был, что сноха Фекла покорилась и пришла к нему с нуждой.

С тех пор дядя Симке стал сниться не иначе, как с плеткой. Зло поселил Симка в своем сердце против Гаврилы, а как отомстить не знает. И прибавилась Симке еще одна дума: об отместке дяде Гавриле.

Вечером приехала бабушка. Симка бежит к ней навстречу:

— Бабанька, можно обет богу нарушить?

— Обет богу? Никак нельзя, Симанюшка, большой это грех.

— А если нарушить, что тогда будет?

— А то и будет, что накажет бог тем несчастьем, от которого дан обет. Примерно, мать своя, чтоб остался ты жив, дала обет не бить тебя. И вдруг—станет бить, ну, бог и приберет тебя...

Решил Симка: пусть лучше бог накажет бураном в тайге. Теперь Симка не дурак—в буран не будет под сухостойные лесины подходить...

Вечер. Стемнело совсем. Сеет мамка в сельницу муку. Симка привалился к печке и жалобно упрашивает:

— Сними, мамка, обет... Бей меня сама... Шибко дерется дядя... Умру!..

Мука мимо сельницы трусится. В муку капля по капле падают светлые росинки из материных глаз. Смахнула неприметно для Симки слезы с лица и будто строго говорит:

— Не придумывай чего не надо. Кто тебя, безотцовщину, будет учить?

А сама отвернулась, то и гляди запричитает.

Высоко поднялась Симкина грудь и опустилась тяжелым вздохом.

Прошел он в амбар, на подлавку. Пошарил рукой: тут картонки. Вытащил и прижал к груди. Вспомнил тут Симка слова американкиной подруги: «Всяк человек находит свое место, и ты, Симка, найдешь, ищи».

Нет... Симке одно только место—под вицей да под плетью...

— На радость ли американкина подружка выписала из города эти картонки?.. Может, больше горя от них?

Но с картонками Симка дела не бросал. Все что-то делал, все делал.

IV.

Не было бы печали,
Да черти накачали.
(Поговорка)

А дни все бегут и бегут, будто знают что спешит Симка жить. За желто-листопадными днями прикатили светлые дни, земля оделась в снежную мягкую ризу. Ризу эту колонки и горностаи стежат тропотистыми стежками. Зайцы вышивают на снегах замысловатые узоры вкривь и вкось. Присмирели рябчики, нахохлившись от наступающих холодов, вылетели на калинники: пихтачи снегами обросли.

Бродит Симка в свеже-просмоленных обутках по снежной кити. Снег колобками льнет к обуткам, а зазимовавшая тайга новые думки родит в голове.

— Чего больше на свете—людей или лесин? Разве считаны они? Много, знать, места займет страшный суд? Неужели в самом деле будет суд?

И от этого нерешенного вопроса страшно делалось Симке.

Рябчик помог отделаться от этих не под силу тяжелых дум. Свистнул вблизи. Усеяли рябчики весь калинник. Нет, в пихтачах теперь не лов! Петли надо на голый лес выносить. Самое лучшее место в такую пору—в Ведьминых падях. Там, между густым пихтачем, много калинника—привольное житье рябчикам. Но Ведьмины пади очень далеко. Придется опаздывать. А вечером туда не пойдешь. Зимой, может, и не бывает ведьм, а все-таки страшно.

И все же не вытерпел Симка, прошел к Ведьминым падям. Видит, по снежным гривам кто-то наколотил кулемки*).

— Дядя Гаврила назабивал, его работа,—решил Симка и выругался:—Ну и ну! Чтоб им пусто было. Эх, вот бы...

Хотел что-то злобное выразить, но не окончил свою мысль—смелой она ему показалась.

Из долины загудел колокол. Вспомнил Симка: после обедни у мамки помочное гуляние будет. Вчера бабы помочью лен мяли, а сегодня гулянка. Любит Симка гулянки: радостно в те поры бывает!

Когда Симка притащил домой трех рябков, бабы, собравшиеся на помочное гуляние, засмеяли:

— Плохой ты, Симка, охотник, на похлебку даже не принес!..

— Ну, погодите же, бабенки! Как расстановит Симка в Ведьминых падях петли, тогда не над чем вам будет смеяться. Мешками будет таскать рябчиков!

Повеселели бабы. Сидят по лавкам. Кто на табуретках. Тары-бары-растабары гуторят, орехи кедровые хрумкают. Мамка пиво медовое в стаканах разносит. Разведка Матрена, самая отчаянная в деревне, захмелела совсем. Шепчет Симке:

— Иди за Прошкой, да чтоб с балалайкой...

Иконы бабушка завешала полотенцами.

— Теперь, говорит, можно хоть ад кромешный творить, все равно не осквернит святых образов.

А зачем ад?.. Только попоют, потараторят, вот и все. Косился за такие вольности на Феклу дядя Гаврил. Ну, да не его здесь воля.

Лежит Симка на полатях, глазами сверкает. Смотрит, как старшие в веселье живут. Ударил Прошка по струнам. У-ух! На сердце буран... Запел враз со своей балалайкой, да чудно так:

Ой, ходи изба, ходи печь,
Зачем девушек стеречь.
Пусть девченочки попляшут,
Сполюбил девченку Машу...
Девки пляшут и поют,
Парням ходу не дают!..

Не вытерпела при таких словах Матрена. Как вскочит, да ходуном по избе, как горох рассыпает:

— Тра-та-та, да тра-та-та! Тра-та-та, да тра-та-та!

Да крикнет как:

Э-эй, э-эй,
Веселей!!!

*) Кулемки—ловушки для зверей.

Сильнее Прошка ударил по струнам. Сильнее заходила Матрена. Подпевает Прошка:

Сыпь, сыпь, не подгадь,
Чтобы струны не порвать!..

Еще хлеще кроет Матрена. Боком, боком!

Тра-та-та,
Тра-та-та...

Отвечает она Прошке, да таким голосом,—на клиросе какого не услышишь:

Ой, сыпала да сыпала,
Серединка выпала...
Э-эй-э-эй,
Веселей!..

Бабы жмут свои рыла от улыбочек, смеются. Терпеть не могут и боязно: над бесовщиной, мол, грех радоваться. А в самом деле еще не известно: грехов бояться или мужиковых побоев?..

От всего этого Симка сам не свой. Вертится на полатях, будто не Матрена пляшет, а он, Симка. Даже взвизгнул.

— Ты чо визжишь там? — кричит ему мамка, а у самой глаза колобом масляным вертятся.

— Иди плясать!—позвал Симку Прошка.

— Боюсь! Мамка ругаться будет!

Вышла мамка в голбец за шевом, Симка прыг с полатей. Прошка подзадаривает:

— Крой! Я в ответе!

Бабы подзуживают:

— Вдарь, Симка, вдарь!

Разве вытерпишь тут? И «вдарил» Симка. Словно бесы несут его. До полу недостает, только пятки сверкают. И так, и сяк, и вприпрыжку, и вприсядку, и щелкает он ладонями по коленям, по лбу, по запяткам. Глаза не успевают за ним бегать. То на полу вьюном вьется, то вверху бурундуком завертится. А Прошка так вызванивает, так вызванивает—стон-стоном идет. Бабы уж не жеманничают—с хохоту помирают. Тут Матрена снова встала и дробью поплыла по горнице. А Симка вокруг, да вокруг.

Вошла мамка, сначала охнула, потом расхохоталась: у штанишек Симкиных пуговиц нехватало. Пляшет и все время поддергивает их...

Симка рад, что мамка хохочет. И откуда прыть взялась: как прыгнет кверху, потом книзу, на одну ногу встал и вертится кругом-кругом... А бабы ржут, а Прошка вызванивает...

Разом смолкло все. Симка растерянно смотрит на дверь. А в дверях стоит дядя Гаврила и по-медвежьи наблюдает за весельем. Смотрел-смотрел, да как рявкнет:

— Ве-е-еру христову поганите! Фе-екла!.. Паскудить нашу породу вздумала!

Сгреб он Симку за шею и кулаком—по боку, по боку...

Смертным боем бил.

Долго думал Симка. Рыжанчик с ума не сходит. Да и дядя хвалиться стал:

— Самолучшая,—говорит,—лошадь в округе будет!

Просить хотел у дяди Рыжанчика в подарок. Свой ведь дядя-то. Но теперь зло накопилось.

Стемнело. Мягче кошки крадется Симка по Гаврилиному предамбарью. Заурчал черный Гаврилин кобель. Симка уговаривает:

— Полканушко, Полканушко!

Замолчал тот. А Симка снова крадется по предамбарью к завозне. Открыл дверь—шмыгнул туда. Ощупью нашел туесок с чем-то мягким. Полную ладонь набрал из туеса

этой мякоти и пополз обратно. Когда проползал мимо Полкана, завыла собака, как перед смертью. Диво это Симке...

— Можно даже взаправдашним колдуном стать,—думает он. И страшно стало.

Придя домой, завернул свою добычу в кожицу и уснул на полатях тревожным сном.

V.

Прошка ловит колонков—счету нет, горностаев тоже много надобывал, четыре волка стрихнином затравил. Большая Прошке удача в эту зиму. Говорили старики, что зверя привалило в этот год столько, что и в старину так не бывало. И все охотники ловят помногу, не только Прошка. Дядя Пантюха за лисицами охотится—тоже везет ему. Но этому везет еще неизвестно почему: может от колдовства. Прошка сказывал, что ходят про Пантюху такие слухи...

Гаврилины кулемки и петли раскинуты по-соседству с Прошкиными, а удачи никакой. Прямо чудо какое-то, ни одного зверька не поймал. У Прошки валом-валит, а у Гаврилы—шиш. Со злости Гаврила ругаться начал со всеми. Прошку в ограду к себе не стал пускать. Но Симке больше всех достается: когда мамка приведет Симку на дранье к Гавриле,—тешится он вволю. До крови избивал. Даже Фекла реже стала водить. Но удачи Гавриле все нет: кулемки и петли всегда пустые. Караулить стал Гаврила -не ворует ли кто добычу? Однажды увидел Симку, как шел он с Гаврилиных кулемок.

— Зачем ходил?

— Петли мои там на рябков расставлены!

И показывает Симка рябков. А глаза—прыг, прыг. Полкан не подходит к Симке скулит, воет. Посмотрел Гаврила на Симку недоуменно, почему, дескать, собака Симки боится? А Симка в душе смеется. Будешь знать, как бить Симку.

Большой лов стал спадать, а у Гаврилы все ни одного зверька. Места переменил—все никакого толку. Жаловаться стал Гаврила в народе, что колдует кто-то, не иначе. Про Пантюху намеки пошли. Он, дескать, пакостит. Пощупать, де, ребра не мешало бы.

Плохо ловились звери в эту зиму и у Мотьки Клинобородого. Правда, плохой он охотник, не умеет как следует налаживать кулемки, но думки насчет колдуна появились и у него.

Дело-то было в воскресенье.

Помочью веяли Гавриле орехи. Были тут и Пантюха, и Мотька Клинобородый. Устроили гулянку. У Гаврилы медовухи хоть залейся. Подвыпили. Слово за слово, о том, о сем: толкуют помочане. Коснулся разговор насчет охоты. У дяди Пантюхи в глазах всегда хитрущие зайчики бегают. А тут, будто спроста, похвастал:

— А у меня, слава богу, зверишки бегут. Нет-нет да и попадет.

— Ты бы хоть бога не вмешивал в свои бесовские дела,—заурчал Гаврил.

— Не турусь, чего не следует. Не привораживаю же я зверя-то.

А кто тебя знает, молва-то идет про тебя,—вмешался Мотька.

Ты молчи уж, неумеха,—огрызнулся Пантелей.

Задело Мотьку за ретивое. Пристает, придирается к Пантюхе. Приставал, приставал,—из себя вывел. Пантюха развернулся и трахнул Мотьку: Мотька и с ног долой. Здоровый мужик Пантелей... Лежит Мотька и не дышит. С этого и началось. Навалились на Пантюху и давай колотить. Кто чем мог: кто кулаками, кто стаканом, кто пинками...

— Бей колдуна,—кричит оживший Мотька.

— Бей бесовского сына!—поддакнули другие. Рады угодить Гавриле. Бьют, как на смерть приговоренного. Мотька вразумил народ:

— Надо поодиночке бить и приговаривать, чтоб сказал!

И стали бить поодиночке. Рыло у Пантюхи в крови, борода слиплась темно-красным пятном, а он хоть бы стон издал, молчит, как убитый.

— Заколдовал, должно быть, тело-то. Не больно ему!—кричит Митька:—снимай старики, икону; пусть целует святой образ, тогда сила колдовства пропадет.

Вертит головой Пантюха, не хочет целовать икону.

Стоит Гаврила в углу и смотрит: тяжело, может, на душе, а и рад в то же время. Уверен, что колдовал Пантюха в кулемки. Кроме его больше некому...

— Дайте, старички, и я побью, чтоб разговору не было, что потакает брат, мол!

И начал бить, с расстановкой, да с приговорами:

— Сказывай, сказывай!..

... Влетел Симка в избу. Глаза стали, как у волченка.

— За што бьете?!.

— Цыц, пащенок! Вон!—рявкнул Гаврила.

— За што бьете?—простно закричал Симка снова.

Смотрят на Симку все: страшный он. Лицо, как мел.

— Чево с тобой, Симка?—остепенился Гаврила.

И закричал Симка:

— Не виноват он... Он не колдун!..

— А ты почем знаешь, кто виноват?..

— Я виноват!..

Замерли мужики. Крестятся. Молитву творят. Хмель разом слетел

— Стой, крестьяне,—упавшим голосом выговорил Гаврил:—неладно у нас туто-ка... Фекла говорит—заколдованный Симка...

А Симка думает: сказать правду или не сказать? Решил: все равно пропадать. Так, может, лучше будет...

— Я—колдун...

Выговорил и задрожал.

. . . . . .

... Молва напуганным зайцем проскакала по деревне:

— Симка колдун, Симка колдун!

Старушки поточат слезы, теплят перед спасом свечки. Последние дни, мол, наступают. Ребята понурые ходят: опасаются—может и их кто околдовал? Бабушка Матвеевна и мамка ревом-ревут. А Симка сидит в углу связанный полотенцами, ждет попа: молебен с водосвятьем служить будут. Страшно Симке и чудно. То заплачет, то ухмыльнется сам над собой, а потом захохочет, как сумасшедший... А как припомнится избитый дядя—ну, реветь!..

Пришли поп с дьяконом. Молятся, кадят, поют. Народу собралось—полна изба. Все в страхе жмутся и с ужасом смотрят на Симку. А Симка, как ночной филин, глазами ворочает. Не молится, на сердце сам не знает, что творится. Столько пережито за это время. У-ух!.. Подходит к Симке поп со словами «изыди вон» и спрашивает:

— Отрекаешься ли от сатаны?..

Опять Симке чудно и страшно. Порскнул он смехом, потом заревел-заревел, отвернулся от креста и катается, будто в судорогах корчится.

Народ, кто послабее сердцем, шарахнулся из избы. Прошкина мать завокала:

— Вот, вот, вот, вот, вот!

Оторопели духовные отцы—топчутся, как кони в пригоне. Прорыдался Симка, а в голове одна дума: сказать или не сказать? Сказать—бить будут. Не сказать—все равно слава в могилу загонит... Лучше сказать...

И рассказал Симка:

— Медвежьим салом мазал я дядины кулемки и петли: боятся этого духу собаки, и звери тоже боятся... Бил меня дядя шибко, за это и намазал... И сало у него же украл...

Охнул народ.

Нютка перестала хныкать и уж смеется. А Симка продолжает:

— Слыхал я от людей, чтобы свадьбу испортить — намажь рукавицы медвежьим салом и стань на дорогу, где свадьба должна проехать. Ни одна лошадь не пройдет, зауросят от этого духу... Положит колдун рукавицы на дорогу и идет к свадебному дружке выкуп брать, а потом оденет рукавицы и уйдет, и кони пойдут.

Рассказывает Симка, а сам на дядю Пантюху посматривает, ухмыляется. Не раз, ведь, Пантюха брал такие выкупы с проезжих свадеб. Прошка рассказывал про это Симке.

— Врет он!—закричал Пантюха.

— Не вру. Пойдемте, сало покажу.

Повел Симка людей в амбар, на подлавку, вытащил сало, а вместе с салом картонки выскочили. На картонках рисунки разные: зайцы, собаки, лисицы, и тут же выпала исписанная бумажка.

— Врет он! Вот бесовские книжки!

Позвали писаря. Прочитал писарь ту бумажку:

«Посштеннешии карпа я чищаш пишу и читаю была тутока у нас мери канка с еи толстая исшо стребовавали ани с города таких картонок самоукою даже можна по им учитца тепер упраси ты своево хрестьнскава нашалника штоб пустил он нас с табой в Америку денги можно достат колдовством я выучиица медвежим салом колдовать на свадбах буду выкуп брат сапша и как ты думаш а на дорогу украдем у дяди рыжану атчаяная лошад»...

Завыла Фекла:

— Ради-и-и-имаи-ии маи де-етушки-и испорти-и-илии вас не-е-христи...

В тупом недоумении расходился народ.

Не понимали люди, что тут сталось. Кто-то верил, а кто и не верил. Отворот глазам, может, сделан! Сила, ведь, колдуны!

— Ну, Симка!—нехорошо поглядел на Симку Пантюха:—Наболтал ты тут много... Смотри! Всяк сверчок знай свой шесток!..

Понял Симка из этих слов, что прибавился в этот день в Симкиной жизни еще один человек, добра от которого не ждать. Понял это, и к маленькому сердцу комом привалила тягость. Надернул шабуришко, шапчонку, выскочил на улицу и подался в горы к своим петлям.

— Вот тебе и лучше жить!.. Эх, большие они, а не узнано еще; может и им не лучше маленьких живется...

И в глаза лезет Пантюхино разбитое рыло и злая пенаромная угроза...

VI.

Грамота Симкина после того, как картонки его попали в печку, подавалась плохо Пытался с писарем поладить, упрашивал его:

— Помоги, почтеннейший, потайно от бабушки и от мамки грамоту превзойти.

— Можно... Только у меня ум плохо действует без медовухи. Может и обучу я тебя, но ненастоящая это грамота будет, а тебе надо настоящую... Ты вот что: у мамки поцеживай-ка медовухи да приноси мне, тогда и заниматься будем. Здорово научимся!

Стал Симка медовуху потаскивать, а лагушки с пивом разбавлял водой, чтоб не заметила мамка. Позвала однажды мамка гостей и потчует пивом.

Попла-попла она их—все не веселы гости, будто пивом даже недовольны. Попт Фекла и краснеет: стыдно ей—подумают, что у сирот и пиво-то, как помои. Стыдилась она своих хозяйственных недостатков. К вечеру, когда гости чаще стали бегать на улицу по нужде—совсем пристыдилась Фекла. Сама не в себе. Видит Симка дело рук своих и так-то стало ему жаль мамку, ноет сердце, слезы просятся наружу. Не вытерпел, пал в ноги матери тут же при гостях:

— Маманька, родимая, прости, ради бога, не буду больше!

— Да чо не будешь-то? Опять напрокудил чо-то? А?

Рассказал Симка, как он через пиво хорошую грамоту достигал. Гости расхохотались, и мать повеселела—не бьет.

Но грамота застряла. А все же—писать лучше стал. Только некогда учиться: работы прибавилось. Один он мужик во всем хозяйстве, а бабушка еще придумала работу: каждую неделю по субботам стала заставлять чистить медные складни икон. Раньше чистила их мамка, а теперь бабушка не стала ей доверять.

— У тебя душа-то безгрешная еще, чисти-ка, Симушка!—говорит ему бабушка.

— А разве у мамки грешная?

— У больших у всех души грешные.

— А недавно у мамки почто не грешная была?

— Так уж... Про то господь ведает...

Господь ведает? И Симке хотелось знать. Чем больше вырастал Симка, тем реже гладила его по голове мать. Реже приголубливала. Знал Симка, что жалеет его мать, может даже и любит, а гладить перестала. Оттого это, наверное, что с каждым днем Симка делался своенравнее, дичился людей и боялся мамкиных побоев.

Однажды вечером, когда мамка подоила коров, унесла молоко на молоканку, квашню замешала и, поужинав, стала разбирать постель для спанья,—подошел к ней Симка. Не глядит на нее и грустным голосом спрашивает:

— Отчего, маманька, у тебя душа грешная стала?.. Иконы нельзя стало тебе чистить?

Увидел Симка большую перемену в матери на этот раз. Сжалась она как-то, посмотрела на Симку такими глазами, будто видит она его впервые. Этот взгляд царапнул нутро Симкино, и опять какая-то непонятная жалость к матери явилась. Ответила Фекла:

— Ну, чо еще спросит!

А глаза в сторону. Сунул свое лицо в подушку и еле удерживает волнение в груди. Криком хочет вырваться наружу. Мамка не уговаривала его. Ушла на улицу и долго сидела там на предамбарье. Видел ее Симка сидящей там, знал, что не любит она бездельничать, сидеть попусту, и почуял, что горе она переживает, какого не было до этого времени.

В Симкину душу заполнило сомнение и обида за мать. Такая же обида появлялась в Симкиной душе каждый раз, как к мамке приезжали из разных мест вдовцы свататься. Не любил он этих людей, казалось, что обижают они мать. Приедут, рассядутся, как дома. Хозяйством, скотом, золотыми своими руками хвалятся. Никаких золотых рук у них не было. Еще хуже Симкиных и мамкиных. Противными казались Симке эти вдовцы. Обиднее всего то, что мать не выгоняла их, а будто рада. Угощает их пивом, стоит перед ними, как перед святыми, губы бывало сжимает плотнее, низко им кланяется. Хотя отказывала она всем, а обидно Симке: унижалась мамка перед ними. Бабушка говаривала, что хотя и век замуж не идти, а женихов привечать надо... А зачем? Замуж не идти, а привечать—чудно!

Так и теперь.

Видит Симка—мать на предамбарье сидит, тяжелые какие-то думы думает. Раскинул потник*) около лавки, бросил подушку и лег. Шабуришко**), накинутый сверху вместо одеяла, прижимается к Симке, будто успокоить его хочет.

Не спится. Голбчик пустой: бабка не спит на нем, тягаться уехала. На полатях посвистывает носом Нютка, а Симка все ворочается. Наконец, заснул неспокойным бредящим сном. И снились ему все чужие люди, незнакомые, ласковые, но противные. Казалось, ему, что ласкаются они, чтобы обмануть и напакостить. Вцепился Симка за

*) Потник—войлок, кошма.

**) Шабуришко—шабур—домотканная шерстяная верхняя одежда.

палец одному из них, а тот Симку за горло схватил... Трудно дышать... Хочет крикнуть и не может. Наконец, пальцы разжались, крикнул Симка, проснулся и дрожит...

— Ты чо, Сима, кричишь?—спросила мамка с кровати.

Не спала она. Симке стало страшно. Ни слова не говоря, вскочил он и бросился на кровать к матери, обхватил в обнимку мать... Но рука его нащупала чью-то большую руку, не бабью...

Понял Симка в этот миг многое: отчего бабушка стала заставлять его иконы чистить, понял, что жизнь совсем не такая, как ему казалось...

Схватил он потничишко, шабур и удрал на предамбарье. Там и переночевал. А утром накинул он своевольно винтовку за плечи, зашел к Прошке, спросил, как обращаться с ружьем, и ушел в самую глушь Ведьминых падей.

В тот день Симка впервые стрелял из ружья, как большой. И вырос он в тот день намного... Сердце стало холоднее, душа—тверже.

VII.

... Опять осень. Такая же, как и все прошедшие: желтолистая, с холодными гулкими ветрами, с сиротелыми березками, отряхнувшими с себя летний наряд. И все так же: бурундуки стали озабоченнее, реже появляются на валежинах; рябчики попрежнему зобают доспелую калину; колонки попрежнему беспокоят собак. Только не гоняется уже Симка за бурундуками. Не потому, что боится порвать штанину или запоздать с коровами, нет, потому что плохая выгода от бурундуков. Выгоднее делать прикормки на колонков и горностаев к зимнему лову. Но теперь, когда Симка в субботний день обходил с винтовкой за плечами свои прикормки, тоска взяла его пуще прежнего:

— Ну, зачем я их делаю, эти прикормки? Раньше хоть хозяйству подмога, о хозяйстве своем заботился, а теперь?..

Лес отвечал непонятным гудом. И думал Симка:

— Скоро будет новый отец, новые порядки, будут жить в новой деревне и не будет уж мамка так радоваться Симкиным охотничьим успехам, как раньше. Завтра обвенчают ее у чужого кержацкого попа...

Непонятно Симке: отчего ему не хочется другого отца? Ведь выходят же вдовухи замуж, не только одна Симкина мамка...

Не нравится Симке эта новость. Лишается он мужской самостоятельности, хотя и горькой, но... Все же, самый старший и единственный мужик был в семье.

— Так вот почему бабушка мамкину душу причислила к грешным душам! Та-а-ак. А молчала. В люди греха не выносила. Надеялась, видно, что по-хорошему это выйдет у Феклы. Так оно и осталось...

Симка щелкнул из винтовки малопульки двух рябков, осмотрел бомчик, где барсучьи норы бывали, но... И стал спускаться к себе в лог. Идет и думает:

стал спускаться к себе в лог. Идет и думает:

— Хуже будет с новым отцом или лучше?

Потом загадал: если по дороге первым попадет бурундук—лучше будет. А если рябчик—хуже. Только он задумал эти приметы, а рябчик из-за кустов как засвистит, да так жалобно, что Симка вздрогнул и стал, как вкопанный.

— Не рябочий свист какой-то. Уж не нечистая ли сила отвечает? Сатана везде поспеет! Ворожить, говорят, грех.

А рябчик, как нарочно, выпорхнул на калину и пуще прежнего свистит.

Вскинул Симка винтовку, прицелился:—чак!—осечка, чак!—осечка. Еще раз—чак!—осечка.

А рябок свистит пуще прежнего и в роде как на Симку смотрит. Осмотрел Симка пистон,—пистон не подмочен, только весь раздавился, а выстрелить не может. Решил Симка укокошить эту нечистую силу в рябчике, снял пистон, бросил, вытащил другой и с молитвой надел на зорьку. Навел на рябка: чак!—осечка .. Бросил пистон, другой

надел, перекрестился при этом. Осекся и этот. Высыпал из пистонницы все пистоны, выбрал другой формы. Одел. Щелкнул выстрел, и рябчик затрепыхался под калинником.

— Ага,—думает Симка,—на нечистую силу надо до трех раз сменять пистон. Теперь будем знать.

Только подумал он так, а рябок зашеборшал, зашеборшал крыльями, побежал, потом вспорхнул и полетел. Жуть взяла Симку:

— Ну, не быть добру, что тут делать?..

Унылый он шел домой и, тяжело раздумывая о настоящем, вспоминал прошлое.

С тех пор, как дядя Пантелей зачислился в Симкины враги—времени промелькнуло не мало. Дядя Гаврил два раза сменил отрывной календарь. Прибавилось у него еще две картинки из-под календаря. На одной из них нарисована городская девица или баба (точно не знал Симка), с голубем в руке. Голубь этот нахохлился, как в стужу, а бабе весело. Только не нравится Симке это веселье: бабе игрушки, а голубку слезки! Рассказал Прошке о своих сомнениях насчет голубиной грусти.

— Это ученый голубь,—отвечает Прошка:—и не грусто ему, а дремлет он в роде.

— То-есть, как ученый? Грамоту знает?—недоумевает Симка.

— Зачем грамоту. У него своя наука—голубиная. Обучен он по воздуху летать, куда ему прикажут. Выпустят его из клетки и полетит он куда следует, а потом снова вертается домой... Письма иногда носит.

— Письма этой бабы, значит?

— Может и бабьи, полюбовные. Это им очень хорошо. Прилетит к сударчику или к сударке, вручит писульку и готово. Свекровь или мать и не подумают, что за голубь такой.

И снова Симке чудно:

— Не жизнь у них там, а чудо какое-то!.. А Симкина жизнь?

Помнит хорошо тот день, когда в колдовстве покаялся. Когда каялся, думал—лучше будет. А пропадал! Какой там лучше: обзыванье да насмешки, укоры да обход Симки товарищами. Это, Симке, не шутка!.. Иной раз невтерпеж станет. Прикусит он губу, поглядит искоса на своих домогателей и уйдет к своим любимым петлям да ловушкам. Сознает Симка, что большие ему всю жизнь испакостили: дядя Гаврил, да еще дядя Пантелей. От них самое главное зло. Но больше обиды от Пантюхи. Бывало пойдет Симка к старице*) жерлики на налимов расставлять, Пантюха тут как тут:

— Мое здесь место. Запротоколено оно. Не суйся сюда!

Не знал Симка, что значит з а п р о т о к о л е н о, думал, что наговорено, наколдовано в роде, и приходилось потому уступать.

— А где не запротоколено?—спрашивает Симка.

— У матери... вот где!—срамно ответит Пантюха.

За такие слова на том свете его обязательно лизать заставят горячие сковороды, а на этом свете приходилось уступать.

Хорошее видел Симка только от бабушки, а больше того от Прошки. Дрова даже рубили вскладчину. Симка с Нюткой вдвоем, а Прошка один. А дрова поровну. И обиды не было. Гаврил хотя и не бил теперь Симку, но никогда прямо в глаза не глядел. Тяжело было Симке—вздумал он примириться с дядей. А для этого надо, чтобы дядя почувствовал, что Симка большой. Мамка не раз говорила: «Сиротское житье, да еще с малыми ребятами,—не жизнь, а каторга». Потом, когда Гаврил был в веселом виде, заговорил с ним Симка:

— Жаль мне, дяденька, мамку-то, смучилась она с нами, сиротами, вконец... Каторжное же, все-таки, сиротское житье, что ни говори...

Посмотрел Гаврил на Симку такими глазами, будто молвить хочет: «не из тучи гром гремит, а из навозной кучи дым дымит», и говорит:

---

*) Старица—старое русло реки.

— К мужицким рукам бы тебя, Симка, прибрать, толк бы вышел.

Думает Симка:

— Неужели из меня никакого толку не будет? Кажись все, как следует: косить научился, городьбу городить, орехи собирать, и охотничать, и все, а какой еще толк?

Симка, размышляя о прошлом, и не заметил, как оказался дома. Остановился у ограды и твердо решил, что послушает рябчиково предсказанье и дядины рассужденья насчет того, чтобы прибрать Симку к мужицким рукам.

VIII.

Ин-иинок, инок страждущий за ве-е-ее-ру-у,
Инок страждущий за веру во христе-е-е...
Инок млад и крепок ве-е-еерою-у-у...

тянется эта скитская песнь старческими голосами уныло, как погребальная молитва. Дребезжат голоса стариков на Симкином сердце, как скрипящая от ветра дранина, тоску наводят. Скучная мамкина свадьба. Свадьба, а будто хоронят кого. Да и верно— Симка в сердце своем хоронит мать. И за него поют старики—новая родня—эту нудную песню. А в горнице гости, что помоложе, ведут трезвые разговоры, степенно, стеснительно. Крепкие староверы новая родня. Прощай Феклина вольность!

Лежит Симка на полатях и не смотрит вниз. Не на что смотреть и не на кого. Мысленно он видит дом этот с заколоченными ставнями, а может и совсем разломанный. И амбары, и сараи поросли древесным мхом, а во дворе—бурьян и крапива...

Спустился он с полатей, подался к Прошке. Прошкиной матери дома не было. Прошка с сестренкой Машкой домовничают. Прошка будто рад. Заговорил с Симкой по-хорошему, словно понял, отчего Симка из дому удрал.

— Чо не пропиваешь мать-то?.. Али не по нраву новый отец?.. Н-да-а... А отец-то, говорят, с золотыми ручками: тяжелые они у него,—намекнул Прошка.

— Чо мне, отец и отец... Все едино, не ребят мне с им крестить,—всерьез ответил Симка.

Послал его Прошка:

— Беги-ка к Мотре, пусть идет к нам. Скажи—мать, мол, с ночевкой ушла к заимчанам, лен мять.

Другие, которые ухлестывают за девками,—охальники, срам смотреть. А эти—ничего. Симка вполне уразумел их дружбу. Ничего плохого не видел. Прошка хороший. Матрена тоже хорошая и здоровенная и не гуляет она со всеми,—знает это Симка. Хотя и говорят про Матрену, что гуляет она со всеми, а неверно.

И в этот раз Матрена пришла и не велела Симке уходить. Закрыли только ставнями окна и затеяли гулянку. Прошка трахнул на своей бандуре по струнам. Запела, заговорила балалайка, и Прошка запел. Поет он хорошие, понятные слова, и голос у него хороший:

Эх, выйду ль я на реченьку,
Выйду ль я на быструю...

Поет балалайка, поет Прошка. А глаза у него уперлись куда-то в воздух. Светлые, красивые стали. Любуется Симка на них. Потом посмотрел на Матрену, и она тоже смотрит в глаза Прохору, да любовно так, словно мать родная. Отвернулся, понюк головой. А Прошка все поет и поет.

— Ты чо приуныл?—крикнул он на прикурнувшего Симку и, не дожидаясь ответа, дернул бойко по струнам и закатил подгорную с припевом:

Ой, что ты, приуныла,
Не слыхать твоих речей?
Или брюшко заболело,
Не купить ли калачей?..

А сам такую смехотворную рожу скорчил, что все трое слушателей—Симка, Матрена и Машка—со смеху покатились. Куда вся грусть пропала! Перевел Прошка свою музыку на плясовой лад, ну и пошло!

Часто слушал Симка Прошкину бандуру, но таких перезвонов не приходилось слышать. В кураж вошел, должно быть, Прошка. Стих должно такой напал на него. Балалайка чуть слова человечьим голосом не выговаривает, гудит, гудит, как сто ветров, а потом перескочит и, как соловей, россыпью застрекочет; а потом снова на грустное повернет, но только на миг, и снова раскатится —точно в ней бесенята захохочут. Не вытерпела Матрена—лебедицей поплыла в пляс. А Симке где уж вытерпеть!.. Такого трепака откалывает, что половицы звенят.

* * *

Утром прибежал Симка к Гавриле, пал ему в ноги и просит:

— Дядинька, родимый, прости меня за все... Прости ради бога!

— Да ты чо?.. Чево простить-то?!..

— Прости за накость прежнюю, прими меня к себе жить. Не хочу я с мамкой, лучше буду у тебя работничать... Прими ради Христа...

Рад Гаврил, проснял. Без совета Гаврилинова вышла Фекла замуж, обидно ему было.

— Родных дите в чужи люди ведет!.. Задрала подол-то, бежит куда глаза глядят!—ругал Гаврил Феклу в людях.

Жалел будто ребят, а заодно жалел, может, и покосы, которые Фекла отдавала Гавриле по нужде своей из половины. А теперь покосы эти в общество отойдут. Теперь, когда Симка прибежал к дяде с такой просьбой, вовсе возрадовался Гаврила.

— Ну-к что ж, живи, нашей ведь крови-то, не выгоню. Женю, когда вырастешь, надел дам.

Еще, дяденька, вот что...—замялся Симка:—Когда я большой вырасту, отдашь мне Рыжанку?.. Уж шибко он баской...

— Рыжанку?.. Да ведь он состарится к той поре... Ну-к что ж с тобой делать-то, хорошо будешь жить, отдам...

Многие деревенские жалели Феклу и дивились, почему Симка удрал от нее.

— Порченый он у тебя все-таки,—толковали бабы.—От добра убегает... От мужа твоего, умника, красного солнышка...

IX.

Зима.

Высоко несет голову рыжий молодой жеребец. Грива блестит, точно кашемировая. В глазах—огонь. Ноги—не знают устали. Лежит Симка на заднем сенном возу, любуется жеребчиком. Помнит он его маленьким жеребеночком. Помнит первую с ним встречу в далекую буранную осеннюю ночь.

Колокольчик—дзинь, дзинь, дзинь. Сани тоже унылые песни поют потихонечку, с боязнью. А в лесу вокруг мороз разгуливает: щелк-пощелк, щелк-пощелк! Вот вся и музыка. Тоска! От этого и затянул Симка громко, голосисто:

На горе кусты густы,
Под горой барашки...

— Си-имка!..—кричит Петька с переднего воза.

— Чо?

— Чирей на плечо, вот чо! Волков пужаешь!..

— Ну-у, волков!..

Опять Петька труса празднует. Сердце в пятки ускочило. Трус он. Хотя Петька старше годами и в роде хозяина приходится, а трусливее Симки-работника.

Запел ту, которую у Прошки перенял:

. . . . . .

Пожалей, душа зазнобушка.
Молодецкого плеча...

Здорово сложена эта песня. Только без балалайки не выходит она у Симки по-Прошкинскому. Но теперь и Прошка не поет эту песню. Вместо песен появилась Матрена. Сначала Прошкина мать ругалась:

— Не бери, говорит, бросавку—девки есть.

Авдотья запмочная и то у Симки выпытывала:

— Чо, здорово Прошка твой полюбовничает с Мотрей-то?

С насмешкой будто спрашивает, а глаза ждут, что расскажет Симка все, как есть. Ну, да не таковский Симка.

— Здорово. Прошке терпежу никакого нету... Присуха тут должно большая. Сам видел, как Мотря платочек послюнит с какими-то словами и вытирает им Прошку.

А на вечеринке эта самая Авдотья тоже незаметно послюнила платок и, будто играючи, приложила к Прошкиному лицу.

— Валяй,—думает Симка,—сколько хошь. Запоздала со своей присухой.

Зарились девки на Прошку, а Мотря заняла. Оттоворы не помогли. Не послушал Прошка—женился. Хорошо живут, не дерутся. Симка одиноким стал. Без Прошки жить стало хуже. Но с ребятами дружба завязалась крепкая. В уваженье вошел к ним Симка. Все план Симкин помог.

Трудно было справиться со всеми буквами так, чтобы записки на просвирке о здравии или за упокой можно было правильно писать. Сначала он сам пробовал писать и выходило так: «Заупокой фодора отса и малани папушки». А на обороте подписывал: «выдать просвиру Абиксиму сабокову». Не принимал пономарь такие записки. Говорит—неразборчиво написано. Приналег Симка, подучился взаправду писать, и стал сочинять эти записки не только себе, а и старухам. А они рады: бесплатно, мол, Симантий пишет записки. Пономарь-то по копейке с записки брал. Для себя Симка писал больше о здравии: «О здравии отрока Епиксима». А на обороте напишет: «Просвиру выдать Отроку Епиксиму Забокову». Не Симка, а Епиксим! Повезло в этом деле. Спрашивает он однажды Еремку Красненького:

— Хошь я тебе помогу денег достать?

— Денег?..—удивился Еремка:—А разве можно?

— Можно. Я все могу...

— Врешь ты и больше ничего!

А не врал Симка.

— Тебе денег на просвиру дали?

— Дали пятак.

— Пополам идет? Две с половиной копейки тебе, а остальные—мне...

— А просвирку как же?..

— Достанем без денег!

Написал Симка в углу не одну, а две даже на имя Еремки. Одну о здравии Еремея, то есть, Еремки самого, а другую на Еньку нижнекрайского, заупокой —нелады у них были с Еремкой. Пусть ему отрыгнется заупокоем. Написали эти записки, Симка подошел к конторке и давай старухам расписывать о живых и мертвых. Напишет записку и кладет на тарелочку. А подниз сунет свои записки: деньги с записками никто не сверяет. Пошло дело. Каждую обедню просвир полным-полно и деньги в кармане. От ребят отбою нет—все в Симкину артель перекочевали. Только Петька Гаврилинский однажды:

— Скажу тятьке, бога обманываете.

А Еремка ни с того ни с сего спрашивает Петьку:

— Хочешь я огонь без серянок зажгу?

— Без серянок? Не ври...

— Пойдем в угол, там темнее, лучше огонь засветится...

— Стань в угол. Та-ак. Закрой глаза!—командует Еремка.

Закрыл Петька глаза. Еремка как развернется да как свистнет по носу Петьку. Из носа кровь ручьем у того хлынула.

— Вот это огонь!.. Видел? Если скажешь батьке, еще зажгем!

Радуется Еремка. Хнычет Петька. А не ревет, боится, что попадет еще. Да от Еремки и не долго: он отчаянный.

Здорово зажили с той поры. Все бабки перекупила Симкина артель. И старушки запоговаривали:

— Симантий-то умница стал, ни одной обедни не пропустит. По душе видно молитва божия пришлась, по душе-е-е...

Конечно, по душе! От этих дум весело. Но есть и невеселые.

...Ездил однажды Симка за сеном один на трех. Едет и поневает. Слышит крик. Кричит кто-то, все ближе, ближе. Из-за пихтача показался мамкин Синегривка: мамка с мужем едут в свою деревню откуда-то из гостей. Но кто это кричит?.. Оказалось—новый муж колотил мамку кулаками, сидя на ней. А она воет, как собака некормленая. Увидели они Симку. Мужик присмирел. А мамка оправилась и когда мимо стали проезжать, говорит Симке:

— Ты не подумай, Симка, что тут чо такое... Это играючи мы...

Разве Симка не понимает—играют они или дерутся!..

Понял тогда Симка, что мамкино житье хуже Симкиного. Симку Гаврил не бьет подолгу: огреет вилами по спине или переметником и готово. Хотя и часто бьет, но не помногу. Ну, да Симка и наловчился к этим побоям: когда учует, что дядя долго будет бить, оденет под полушубок шабуришко, одну рубаху лишнюю и старается высказать свою провинность на улице. А этот мамку, видно, здорово бьет. И для чего это мамка все хвалится:

— Муженек у меня—в округе не сыщешь... Житье-то мне за ним, как за красным солнышком.

Хвалит она его нарочно, видимо, чтобы меньше бил. Значит, чтобы баба хвалила, надо пуще ее бить. Непонятно!

Тянутся такие думки, а мороз щелк-пощелк, колокольчик—дзень, дзень, дзень. Запеть бы? Петька трусит,—страшно, говорит, в лесу петь. Ы-ы, лахудра, а еще хозяин. Может вымещает он за Еремкин огонь, хотя и ничего не говорит. Молчит, букабукой.

Вдруг под полозьями что-то зашеборшало, воз пошел боком. Симка знает все случаи, какие могут случиться в дороге:

— Оглобля оторвалась, язви ее!.. Тпр... тпр...

Прет Лысануха: сроду она не отстанет от обоза. Зажер колокольчик. Что делать?.. Веревки запасной нет—чем привязать оглоблю?..

— Э-э, все равно! Семь бед один ответ.—Снял Симка ременный чересседельник и прикручивает оторвавшуюся оглоблю.

Вдруг Лысануха присмирела. Ушами поводит, храпнула, а не кидается бежать. Смотрит Симка в лес, а сам ежится:

Вдруг Лысануха присмирела. Ушами поводит, храпнула, а не кидается бежать.

Из лесу послышалось шуршанье, все ближе, ближе. Потом заухало, засвистело, заорало и бурей мимо Симки проскакало что-то: кони—не кони и черти—не черти. В роде кони, но крылья приделаны. В сани как будто запряжены, а в санях белые упокойники.Застыл Симка; не трусливого он сорта, а застыл от страха. Пролетело к деревне это страшилище и все смолкло. И Лысануха уже не боится, рвется снова домой. Привязал он оглоблю, залез на воз. Махом скачет Лысануха, догоняет обоз. Доехал Симка до горки, где могильник. Бабушкин крест виднеется. Уваженье к нему, к кресту этому, чувствует Симка. Каждый раз, как проходит или проезжает, истово перекрестится. Мо-

жет ей и действительно молитва одна нужна. Ведь с тяжбой-то не мало грехов накопила. Но теперь руки, прилипшие к бастрику*), не шевелятся от страха. Только он миновал могильник, видит—несется крылатое страшилище навстречу. Летит так же с криком, свистом. И еще будто в барабан бубнят. Храпнула Лысануха, кинулась в сторону. Оглобля щелкнула пополам. Взвыл Симка. Ревет, сам—не свой. А мимо по целому снегу махнуло это чудовище и ускакало по дороге. От деревни недалеко бросил Симка Лысануху и без оглядки бежит.

Когда сердце отошло и бессвязно рассказал он Гавриле о приключении, дядя снял бич со стены, огрел им Симку и пригрозил:

— Опять за свои бесовские дела? Поди думал о нечисти... Вызывал, может, вот и попритчилось! Я тебе выбью дурь-то из башки!!!

И действительно, на следующий день дядя усердно выбивал из Симки дурь. За то драл, что кожаный чересседельник испортил Симка на завертку к оглобле.

Усердно дядя бил Симку. Сквозь портяную рубаху веревка плотно прилегала к телу... Не успел Симка надеть лишней одежи.

X.

В великопостный теплый день по черыму**) Симка с Петькой искали вилаги для летних копенных вил. Далеко поднялись по падям. Залез Симка на высокую березу—вилаги на ней увидел, а с березы вид открылся, как на ладони: вон край забоковской деревни, вон в солнцепечной ложбине Гаврилина пасека. Но, что за диво?.. Крыша пчелиного подвала разворочена! Крикнул Петьку. Залез Петька на березу и тоже видит. Спустились они скоренько домой, а дома творится что-то неладное: Петькина мать воет, сестренки хлипают, соседи сбежались. Гаврила мечется по ограде, коня запрягает в кошевку. Писарь со старостой тут же околачиваются.

— Пасеку выломал кто-то у вас!—сообщила навстречу Машка, Прошкина сестра:—все очистили досуха!..

Испуг взял ребят—Симку и Петьку. Штука ли—триста ульев выломано. Капитал не плевый. Струсили—знают, что быть им битыми не по одному разу под горячую Гаврилину руку.

На другой день примчал Гаврил из становой деревни урядника. Забегали сотские, понятые, как на пожаре. А Гаврил темнее ночи, молчит, не говорит ни с кем. Угрюмо ластится к уряднику, благородьем его возвеличивает. Медовухой потчует.

Приехал и Пантюха и матерится напропалую:

— Кишки бы выпустить варнакам, ежли б найти разбойников!

Не любит он воров, страсть как не любит.

А Симка вдвойне взволнован: оттого, что пасека выломана, еще оттого, что урядник приехал. Есть на что посмотреть! Усы у урядника—будто два напима приделаны к верхней губе: головами вместе, а хвосты врозь. У сабли золотая кисть болтается. Урядник этой кистью все время поигрывает, точно на игру она ему дана.

— Да им чо,—думает Симка,—вся жизнь им на игрушку дана!.. В картузе, главное, приехал в такой мороз. Говорят, если гусиным салом мазать уши, не будут они мерзнуть.

Сидит урядник за столом, пишет, пишет. А вокруг мужики. Не вытерпел Симка, пролез вперед, потянулся к божнице, будто за дратвой да за иголками. А сам принюхивается к урядниковым ушам.

— Ничем не пахнет! Что за штука?

— Си-нмка-а!—рявкнул Пантюха на Симку:—ты чо засматриваешь в протокол-то!.. Шшенить вздумал?

---

*) Бастрик—палка, прессующая воз сена.

**) Черым—твердая ледяная поверхность снега.

Белкой нырнул Симка назад, к порогу.

Писал, писал урядник, а потом приказал: выйти всем из дома, кроме хозяев. Симка на полати ужом затянулся.

— На кого вместе подозрения? —спрашивает урядник Гаврилу.

Почесал дядя затылок, думал, думал, да заревет как, точно корова, учуявшая кровь. Сердце у Симки от этого рева сжалось. Тут вмешался дядя Пантюха. Припал к Гавриляному уху и шепчет. Посмотрел на Пантюху Гаврил, удивился будто, и говорит уряднику:

— В нашей деревне ежли, то кроме Прошки Никитинского некому... Он у нас первый балалаешник, на отходке женился и вовче слабого поведенья. Да тут тако дело...—замялся Гаврил и замолчал.

Завертелся Симка на полатях:

— Неужели правда?.. Неужели Прошка?.. Нет, однако... Не таковский он ровно... А может всамделе?..

Не хотел верить Симка в Прошкину нечестность. Много от этого убудет мягкости в Симкином сердце. Не понимал Симка в то время, почему ему хотелось того, чтобы все люди были добрые, не воры и не злые.

Обыскали Прошку. Огрызнулся он:

— Валяйте всю вину на бедных—стерпят!..

Еще что-то наедине выспрашивал урядник Гаврилу, потом Гаврил спрашивает Симку:

— А намедни в каком месте у тебя порвалась завертка-то?.. Помнишь, еще черти привиделись тебе?..

— За крутым взвозиком,—ответил Симка, а сам краснеет. Не знает сам, почему покраснел. Урядник щучьи глаза упер в Симку и строжится:

— Всю правду показывай!..

И ни с того, ни с сего говорит:

— Сыщиков у меня здесь полным-полно. Все разузнают, все разыщут!

Пуще покраснел Симка. Не от допроса, а от слов о сыщиках. Говорил Симке писарь про это раньше:

— Сыщики—это такая штука, что от них ничего не скроешь, что бы ни сделал.

Испугался тогда Симка. Думает—неужели о проделках с просвирками узнают? Жара тогда будет от больших и от ровесников тоже...

— А какие они, сыщики-то?—допытывался у писаря.

— Они?.. Идет он по улице, ни глаза, ни носа, ни головы—ничего не видно. Не узнаешь даже, какой он есть на лицо.

А когда Симка с дядей ездили в город, Симка увидел на постоялом дворе человека с повязанной щекой и спрашивает его:

— Почтеннейший, ты сыщик?

Удивился человек и отвечает:

— Нет, я не сыщик, я купец, прессованным воздухом торгую.

Сказал и ушел. Симка бегом в соседнюю лавочку:

— На пятак прессованного воздуха можно?

Не надо ему воздуха, а узнать надо, что это за воздух такой. Вышел из-за прилавка приказчик, взял Симку за ухо и рассказывает:

— Вон на улице в снежных кульках этого воздуха много. Ма-арш!

Обидно Симке, что не знал такого воздуха. Ведь, в городах вся жизнь ученая, все могут придумать. И пришлось поверить. Потому боязно сыщиков.

... До вечера возился урядник со своими бумажками, потом напился медовухи, на ногах еле-еле стоит и кричит:

— Найду... Всех найду. Сыщиков у меня в-во!

И рукой поводит кругом, точно на сыщиков показывает. Потом залпом выпил два стакана медовухи. Это для смелости видно. Наверное и самому страшно этих сыщиков,— думает Симка. Дядя Гаврил совсем скорчился, может от горя, а может от урядниковых разговоров. Только Пантюха пуще потчует урядника Гавриловым пивом и кроет по матушке всех воров. Шибко он на них зол.

На другой день опохмелился урядник и отправляется к себе домой. Дядя вьется около него. Прощается, просит:

— Не оставьте ради бога, премного благодарственны будем...

Тронули лошади, а дядя все еще вьется около кошевки, поддерживает ее за крылины:

— Не вывалитесь, ваше большое благородье.

Симке чудно: на ровном месте, как же он вывалится? Тут даже камариного ухаба нет, а дядя боится. Чудно!..

XI.

Дни замелькали бураньим снегом. И чем больше Симка живет, тем быстротечнее время.

Подрос Симка. На парня похож. Парень—не парень, а полпарня есть. Перемены за это время случились всякие. Прошку в солдаты забрали, а в Забоковку приехала учительница с бумагами и в доме Симкиной мамки школу открыла. Ожил дом. А в течение этого времени Симка образованье свое кончил у сельского писаря. Говорил Симке писарь:

— Парень ты деревенский и больше ничего. Хотя и мал ты еще, а девки на тебя целятся. А что толку? Какое такое обхожденье ты знаешь с женским полом... А? В городах ученые люди другим коленкором обходятся. Там прямо: люблю и умру, повешусь, да зарежусь!.. Вот это—любовь! А вы что?.. Щупаете своих девок, и без всякой культуры. В городах—о-о!.. Запоют, примерно: «Накинув плащ, с гитарой под полою, к ее окну пришик в тиши ночной»... Сердце трепещется, душа просится ввысь...

Хочется Симке звездануть писаря по уху: вот тебе и плачь, реви сколько хочешь... А Симке вешаться да резаться не из-за чего—мал еще. Но к словам писаревым прислушивался. Все-таки ученый он. Польза, может, будет.

... К дяде все приезжал урядник; пил пиво, принимал гостинцы—гуся, порося, мед. И по-пьяности все кричал насчет сыщиков. Приезжала с ним и его баба-урядничиха. Тоже медовуху маленькими стаканчиками пила и расслабленным голоском, как больная, говорила непонятные загранничные слова:

— Ейн, цвейн...

— А муж-урядник отвечал ей:

— Дрей, фир...

Поймй, что они лопочут. Ученые, черти! А слова эти Симка записал на бумажечку, для памяти: узнать у учительши, про что говорилось этими словами.

А по вечерам, помолившись богу, Гаврил вздыхал о грехах людских, о божьем промысле и потихонечку, будто ненароком, выпытывал у Симки:

— Как же это у тебя в прошлы годы завертка-то порвалась?.. Против могилок-то?

Не понимал Симка, для чего выпытывал дядя. Думал, что все еще жалеет дядя ременный переметник, испорченный на завертку к оглобле, и отвечал спроста:

— Порвалась и порвалась, бог с ней. Другую сделали...

— То-то бог, бог—он все наши дела знает. А людям не покаешься—от бога вдвойне кару примешь.

— За завертку-то?

— Не за завертку, а за грехи.

Когда плотники застучали топорами, зафутовали футанками, стали сколачивать парты, и дом Феклин, пустовавший, под школу налаживать, Симка, придя туда, мрачным

становился: малыши учиться будут в этом доме, а он, Симка? С такой грамотой, как у него, с просвирками только и можно орудовать. Тоска! А по чем — неизвестно...

Спросила однажды учительница:

— Что невесел, паренек?

— Так. Наш этот дом раньше был, вот и скушно стало.

Разговорились. Рассказал Симка вкратце свою жизнь. Пристала к нему учительница:

— Ты, паренек, занятный, пойдем-ка во мне.

А какой-такой занятный?.. Этой занятой что ли?—недоумевает Симка. Ведь поется же песня:

— Ты, колечко мое,
Золото витое,
Ты, сердечко мое,
Любовью занятое...

А чем Симкино сердце занято?.. Рыжанчиком, и еще думами Симка занят, думами о непонятном городском мире, а больше ничем. Разговоры затеяла учительница. Узнал у ней насчет заграничных урядниковых слов:

— Ейн, это—один, цвейн, это два, дрей—три, фир—четыре.

Обозлился Симка: кого это они считали по-немецки? Дым в глаза пускали, дескать, неграмотные Симкины родные—вороти им, что хочешь! А учительница, когда рассказал Симка, откуда он взял эти слова, тоже осерчала в роде, и расхохоталась:

— Ишь, прохвосты, что они здесь выделывают!.. Ну и ну...

. . . . . .

XII.

Забрался Симка на самую высокую сопку забоковских мест. Смотрит: где край земли? Учительница говорила, что земля круглая, как шар, и вертится в солнечной какой-то системе. Сомненье берет. А на ком держится земля? Дядя Гаврил об'яснял: земля держится богом. И это тоже под сомненьем. Бог и вдруг—землю держит!

Еще смотрит Симка—не видно ли той самой статуи, что поставлена американцами в главной американской пристани. Статуей свободы называется. Рассказывала про нее учительница:

— В знак свободы эта статуя поставлена.

— Какой такой свободы?

— Гм... Ну, культуры, что ли...

— А что в ей, в культуре-то?..

— Ну, как тебе попроще рассказать?.. Чтобы людям лучше жилось, не били бы, например, друг друга, как здесь это водится... Ну, и ученые чтоб все были...

— Значит, здорово там живут? Без драки и без воровства...

— Мал ты еще,—не будем про это рассуждать.

Вот и смотрит Симка в ту сторону, где, по его мнению, Америка. Знает, что не увидит, а смотрит. Думами там: в Забоковку бы такую статую и во все здешние места. Поставить бы ее на самую высокую сопку и гляди, мол, за народом: будет Гаврил Симку бить, а ты его факелом своим по голове: буц, буц, буц,—не бей, мол, Симку. И еще на многие дела понадобилась бы эта статуя. Даже скот по этой статуе бить нельзя. А дядя что выделывает? Суровых копей в пригоне бьет, бьет, бьет, потом придет в избу, бабу свою бьет, бьет, бьет, а напоследок Симку отвалтузит. А Петьку не бьет. Галоши ему купил. Только не умеет Петька носить галоши: в сухую погоду больше норовит надевать. Симка и научил:

— В галошах по сырости только ходить, а ты по сухому. Стидно. Писарь над тобой смеется...

Забрел однажды Петька в лужу. Вода чуть в сапоги не заливает, а Петька куражится, форсу задает. Петьку Гаврила наругал, а Симку набил: «не учи—за это». А дурака заставь богу молиться, он и лоб расшибет! Про Петьку ребята даже песню сложили:

Я галоши не ношу,
Берегу их к лету.
Отчего их не ношу—
У меня их нету...

Давно это дело с галошами происходило, а Петька помнит. Ябедничает на Симку при случае: «Соплей его пришибить, а еще лезет к Машке». Ну, да девчата бегают от него. Начнет приставать, убегают домой. А Симка станет ластиться к девчатам—тоже убегают, только не домой, а в лес. Хитрущие эти девки!.. А в лесу—Симке воля.

Конец наступил Симкиным разговорам с учительницей. Открылась война, закрылась школа. Время опять скакнуло на много вперед.

В веселый день масленицы Петька пыжится, запрягает Рыжанчика: дуга тугая, конь суровый. Видит это Симка, знает, что не запрячь Петьке Рыжанку. Ухмыляется. Возился, возился Петька, плюнул, со злости хлестнул Рыжанку; конь на дыбы и во всей сбруе в пригон. Поймал его Симка, поставил в оглобли, дернул супонь, даже дуга заскрипела. Запрег и выехал кататься. Петьку зло берет: по-матерному вдогонку выругался. Из-за Машки да из-за галош, видно, сердится.

Петька для форсу запряг пару смирных лошадей и раскатывает. А Еремка Красненький запряг в ребячьи санки пару собак и наместо кучера привязал кошку—в роде насмешки над Петькой. Кошка ревет, а Еремка поет:

Ой тпру-ка, ну-ка, кошка моя,
Тпру, стой, непокладистая...

Обозлился Петька пуще прежнего.

Когда Машка высаживалась из Симкиной кошевы, шепнула:

— Ужо вечером... В сеновале... Чо-то скажу.

— ...Прошка к весне на побывку по раненью судился. На излеченьи лежит, а к весне, пишет, отпустят,—с непонятной для Симки робостью сказала Машка.

— Вот и ладно! Снова заживем,—радовался Симка.

— Может и ладно, да не шибко,—замялась Машка. С расстановкой досказала:

— Петькина-то мать говорит, что как Прохор выйдет, так и сватать меня будут. Еще, говорит, грех какой-то между Гаврилой и Прохором есть, но, говорит, породнимся, и все простится...

— Сва-та-ать?.. За Петьку!?.. Да, ведь года-то вам еще не вышли, кака ты невеста... И пойдешь?

— Отдадут, дак чо сделаешь? Кто меня без приданого-то возьмет?!. А Петькина мать говорит, что без приданого можно.

Обида на Петьку куснула Симкино сердце: Петька—злюка. Весь в отца; годами еще мал, а и то говорит: «Хошь каку мне бабу дай, все равно скомандую».

— Чо задумался?..

Помолчала. Тоже о чем-то думала. И снова:

— Я и говорю; зря Прохор к весне придет... Провоевал бы еще года два... Может ты... Я ведь на два года старше тебя... Ежли ты взаправду ко мне ластишься, то...

Вздрогнул Симка.

— Вот тебе и бабья песня насчет колечка витого и сердечка занятого... Бабью-то душу труднее распознать, чем мужичью. Глубоко запрятана она.

И по-ребячьи приласкал Симка будущую Петькину молодуху. Потому и жаль Машку, что Петькиной она будет...

И от этого разговора в сеновале, где темно и мягко, —в душе Симки наросла новая пленочка черствости.

А вечером, в воскресный прощеный день масленицы, когда молодые и старые стали просить друг у друга по заведенному обычаю прощение, кланяться в ноги, готовясь к посту и молитве, Симка решил:

— Душа у дяди теперь мягкая, о боге помышляет, о добрых людских делах. Лицо у него светлое, как никогда. Паду ему в ноги, открою всю правду души и попрошу его, как родителя родного...

И сделал так Симка:

— Дяденька, родимый, можно ли про все говорить?

А в голосе стыд, робость.

— Все говори, во всем кайся... Пост, великий пост настает...

— Ежли когда я совсем... Ну, через три или четыре года вырасту... примешь мою бабу к себе жить?..

Застыл Гаврил. На лице испуг ли, удивленье ли?

— Баа-абу-у?!. Ты? Бабу? В уме?.. Дак ты чо, невесту подсмотрел к посту-то чо ли?..

— Н-нет... Так...

— У них с Машкой сураз скоро будет!—ляпнул злобно Петька.

— Во-от ка-ак!.. Не-чего сказать, выпоил, выкормил племянничка, сироту бросовую, с этаких лет по сударкам... Будя!—рявкнул Гаврил и не стало у него прощеного постного вида:—Дак я вот че тебе скажу: до тех пор, пока твое дело не решится, не должны мы ни о каких таких жениховских делах толковать!

— Какое дело?..

— Не знаешь?.. А?.. А пасеку вместе с Прошкой кто ломал?. Што!?. Ты у меня, голубчик, в роде на поруках находишься...

— Дяденька!..

— Вот и дяденька... тетенька... На-ка, почитай. Все в ней написано.

Читает Симка загогулистые урядницкие слова и глазам своим не верит.

«ЗАБОКОВУ ГАВРИИЛУ».

Сим извещаем, что розыски преступников, ограбивших вашу пасеку, до окончания военной службы подозреваемого в этом преступлении Прохора Никитича Дымова и до совершеннолетия предполагаемого его сообщника—вашего племянника Епиксима Забокова—прекращаются.

Полицейский урядник 4-го уч.—Жвакин».

— Да ведь это враки!!!—закричал Симка не своим голосом:—Восподи. . чо же это этако...

— Тебе больше знать—враки или нет...

И с лаской притворной в голосе:

— А ты вот что, не чужой ведь ты мне... Жил ты у меня эти годы, ну и зажил тот убытек... А свою кровь суду не предашь... зря только сразу-то не покаялся. Прощайтесь да идите спать. Жени-ихи-ни! Греха с вами!

И лицо постное и строгое.

В душе Симки—буреломный вихрь.

XIII.

И вот случилось это все просто, но неожиданно и страшно.

Не думал о том Симка, но сделал. Не ждал этого Гаврил, но сталось. Не знал этого Прошка, но узнал и пережил.

Это случилось на третий день, как Прошка явился на побывку раненый.

День был теплый, весенний. Закормившиеся сытые пчелы резали воздух звучным своим пением. Но пришел Гаврил к себе в пасеку и обомлел. В пасеке слышался уже не стройный пчелиный гул, а тревога. Уши услыхали недоброе, глаза нащупали разор. Колодки разбиты, мед вырезан...

... Вечером, когда Прошка явился с гор, его встретил Гаврил с Пантюхой и Мотькой. Сначала матерились. Во зле Гаврил и про наказанье богово забыл. Потом взялись за колья и били Прошку долго, неуемно, пока он издал последний крик.

Но Прошка остался жив. И на следующий день, опираясь на костыль, прикостылял он к старосте и настоял сделать обыск у Пантелея Забокова.

Когда понятые полезли на Пантюхин погреб и нашли там Гавриляиские роялки со свежим медом, Пантюха взвыл и тут же хлеснулся на траву.

— Хрестьяне! Каюсь!; Каюсь!—взревел он.

Но потом сухо, обреченно, почти спокойно, под гробовое молчание стал рассказывать:

— Да. Было дело, воровал, грабил, мошенничал и теперь по делом... Посмотрите, добрые люди, волос у меня в голове седой... Душа трепещет, покаяться надо и покаюсь!!—крикнул он. Потом снова тихо:

— Покаюсь. Зимой, в прошлые годы, пасеку у Гаврилы ограбил я, а вину нашептал на Симку с Прошкой... Коням крылья приделывал, покойником рядился, чтобы отпугивать встречных людей... Симка-то видел меня. Завертка у него в тот раз лопнула... А где Гаврюшка? Нет его?!. Украл он у матери деньги, а я с ножом: пополам, говорю, а то... Больше полтыщи было... Поделили. Из тех денег взятку землемеру дали, чтоб оставил он нам самолучшие сенокосные поляны. Помните, старики, не могли вы от нас оттягать эти поляны? И не оттягали бы! Старосту задобрили. Воры! Жулики! Я, Гаврюшка, все!!! А кулемки и капканы Гавриляны Симка хотя и мазал медвежьим салом, но плохо, видно, помогало это сало: попадали звери и вытаскивал их я... Лисиц, горностаев, колонков. Не так, чтобы ради наживы, а не люблю я Гаврю—жулик он, а может от его и я стал жуликом, вором, мошенником за это... Каюсь, каюсь! Бейте меня! Бейте меня подлеца!!! Ох, тяжело моей душеньке!..

. . . . . .

Шел Симка вверх по Ведьминым падям и думал:

— Симка, Симка! Жисть свою налаживал, про Америки разные думал, а на деле насчет Гавриляинова хозяйства старался, прикидывал: дуги у Симки будут под цвет, кони под масть, сбруя под медь, вся жизнь под лак! Охрой выкрашена вся твоя жизнь, Симка. Дядюшка всю твою жизнь опаскудил. Вот и жисть. Ну, подрос, а что теперь?..

Сидел он на мшистом, холодном от вечера камне и думал обо всем этом тяжело, тяжело. Но это были не думы—это была тоска и волнующая злоба на что-то непонятное, в роде как бы и на дядю Пантелея и на дядю Гаврила, а может на обоих, на всех людей тоска и злоба, что пересказать было невозможно.

И думал он, что теперь ему, Симке, жить будет еще хуже. Хотя и оправдался он в роде, но не в том ведь дело, что прав Симка или виноват, а в том, что у дядей зла друг к другу прибавилось, а, значит, и ко всем людям, и, конечно, Симка под это зло подходит.

— Уйти бы теперь куда глаза глядят,—подумал он.—Но куда? В город?..

Симка вспомнил слова тетки—Гавриляиной бабы. Зимой этот разговор был. Спросил Симка:

— Отчего, тетенька, в городах жизнь такая чудная—и баская в роде и в роде зряшная?

Ответила тетка:

— Не баская, а зряшная только. Им чо там делать то! Жрут да спят, спят да жрут да грешат еще леностью своей и праздностью. Мы туто-ка живем, хоть и не без греха, но в труде, богу угодном: работаешь на покосе когда, сорок потов сойдет.

— Какие там сорок потов, — думает Симка,— не сорок, а все время льет пот и с Симки, и с тетки, и со всех тутошних; и зимой и летом льется он от работы нужной, но тяжелой; не сорок потов, а счету нет.

И все-таки чего-то тетка не договаривала. Сама, видно, не знала того что есть там, по затайге, самое главное. И неожиданно из его груди вырвался крик:

— Статуя!

Но эхо не отозвалось: лес был глух от зелени. Симка тихо, вразумительно урезонил себя:

— Чо я, как шальной, бормочу, бормочу.—Но в то же время в голове появилась мысль от жизни этакой будешь шальной. А может и верно без ума?.. А вдруг я без ума?..

Симка поднялся с камня и почувствовал, что это он Симка, такой же, только тело его вздрагивало зябко. Не от холода вздрагивало, а от дум тревожных, от пережитого.

Он стал спускаться с горы вниз, к деревне. Мелкие сучья валежника под ногами Симки хрустели, как никогда. Симка привык к мягкой, кошачьей поступи; он умел *сторожко подкрадываться к рябчикам, к косачам, но теперь его поступь была неловкая*, тяжелая.

Вдруг он вздрогнул и остановился. Его остановила мысль, пчелой быстролетной впившаяся в голову. На мгновение он замер, потом решительно сказал себе:

— Нет, не сделаю! А мысль снова: «сделаешь!..». Нет не сделаю! «Сделаешь!..».

Это спорил Симка не сам с собой, а будто кто-то другой спорил с Симкой долго, пока Симка оказался у пригонов дяди Гаврилы. В пригоне ночевал табун кобыл, насомый рыжим жеребцом.

Еще раз мелькнуло в голове: «Нет не сделаешь!... Нет сделаешь!..». А потом, точно по чьему-то крепкому приказу, Симка нашел аркан, ловко накинул его на шею Рыжки-жеребца, надел узду и прикрутил поводом к сосновому столбу. И снова больно-больно впилась мысль:

— Нет не сделаешь!.. Нет сделаешь!..

И плохо ощущая свои движения, Симка нашел бересту, подложил ее под угол Гаврилиного дома, прошел в дом, взял из печурки коробок со спичками и вернулся к берестяной растопке.

Движением рук, ног, всего Симкиного тела управлял теперь кто-то другой – неведомый, невидимый, без имени.

В руках его твердо чиркнулась о коробок спичка. Огонь обхватил тонкий, содранный на-нет угол бересты, потом весело, светлыми струйками побежал по горючей березовой коже.

Симка выпрямился и глядел на разгорающееся пламя с тупым спокойствием. Вдруг его что-то кольнуло в грудь; судорогой пробежало по всему телу—это возопил притупленный разум. Симка прыгнул в сторону, еще раз взглянул на разрастающееся пламя, рывком подался вперед и побежал... В ушах звенели крики:

— Сделал! Сделал!!

Вскоре набатно зазвонил церковный колокол.

Гаврилин дом дымился огненными клубами.

Мужики бестолково, испуганно бегали с ведрами, топорами.

Гаврил исступленно крикнул:

— Старики, бросьте! Бросьте! Не уймешь. Наказал бог.

А в это время Симка на раз'яренном рыжем жеребце бешено подскакал к дому. Он был дик и страшен. Вырвался исступленный вопль:

— Поску-уды!!! Статую б на вас!!!

Камень скользнул из его руки и зазвенел оконными стеклами горящего дома. Рыжанчик взвился на дыбы, закусил удила, прыгнул и понес Симку прочь из деревни.

Мелькнули последние домики, близкие гривы, знакомые места...

Что творил Симка, он и сам не ведал: кровь пенилась бешено.

Через много дней Рыжанчик был найден у каменистого ручья соседней деревни. Передняя нога была сломана. Конь издыхал.

Но Симки не было. Симка—исчез.

Прошла не одна весна. С гор скатилось много вешних вод. На пепелище Гаврил выстроил новый дом. А в доме этом—новый человек: Машка, теперь Марья Никитична Забокова, жена Петра Гавриловича Забокова.

И хотя косноязычно, запинаясь со времени пожара, но по-хозяйски учил он тяжелыми словами жену свою Марью. А потом хвалить она его начала: золотых Петькиных рук видно отведала.

Все хвалит житье свое за добрым ласковым мужем.

А краса ее девичья все бледнела, бледнела...

Там, где Симка впервые увидел маленького Рыжанчика, где в далекую буранную осеннюю ночь прихлестнуло Симку сухостойной валежиной, у пня этой валежины вытянулась молодая березка. Валежина поросла травой и древесным мохом. Но березка тянулась к солнцу и распускала каждую весну мягкие кудри свои.

Когда земля в несчетный раз зацветала вешним цветом и бурундуки начинали звонче свистеть, Фекла приходила к этой березке и, плача, тихо звала:

— Си-има... Сынка... Родимый, где ты?.. Вернись... Сима....

И вдруг ей начинало казаться: жесткие руки ее мужа тянутся к косам, и страшный, восхваляемый муж злобно кричит: «Симку, варнака, зовешь?!. Симку?». А в голове от натуживших волос—боль, боль...

Но это не руки мужа. Это ветер, ветер тихий, скорбь навевающий, ласково треплет молодые косы березки и бьет ими в лицо Феклы. С лица ее падают капли слез. Падают и кропят молодое растение. И снова Фекла зовет:

— Си-има, сынка... где ты?.. Вернись...

И только тайга, безучастная к горю, отзывалась Фекле тихим весенним шумом...

ВЛАДИМИР ЗАВОДЧИКОВ.

Лошадь и человек.

Стихотворная повесть.

I.

НАИВНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ.

(Поэма первая).

1. Детство и юность.

«Лошадь, не плачьте»...

Нам жизнь улыбнется то чудом, то сном,
то теплою печью, то льдиною,
то осенью вечной, то вечной весной.
Вот так и житье лошадиное:
Когда он родился, то был вороным.
Гнедая души в нем не чаяла.
Но детская радость, как розовый дым,
Мелькнула в глазах и—растаяла.
По нескольку лет длится детство людей
(ох, длинное детство людиное);
до году лелеет оно лошадей
(короткая жизнь лошадиная).
И этот—родился весной, а к зиме:
взлохматился псом и нахмуренным стал,
и заново вылинял к новой весне,
и сделался чалым, веселый простак.
Эх, был жеребец!
Разудалый такой!
Жизнь к буйству его так и кренила.
А кожа его, словно пеной морской,—
то бурой, то белою пенилась...

. . . . . .
. . . . . .

2. Снова: «детство и юность».

— Ну, чем отличался от лошади он,—
хотя бы от этого чалого?
— Да тем, что вот
жизнь его
с разных сторон,
нуждой, словно плетью,
мочалила!
Родился он также,
как лошадь,
в хлеву.
Хлев звался
«квартирой в рабочем поселке»
— А детство, а жизнь его
как назову?
Нет!
Это не детство
не юность—
осколки,
что в память вбивают:
— не жизнь,
а—тоска
с грязи ковыляет
старухой безродной.
У лошади трудно бывает сыскать
такое же детство
и юность голодную.
Сам вырос немного,
так умер отец,
невынесший нудной чахотки.
И зверем
на жизнь
оглянулся юнец,
рожденный забитым
и кротким.
Себе навсегда,
затвердил он
с тех пор:

— Подохнешь
от кротости
с голоду.

И слякоть напастей
бил взглядом
в упор,
решив не сдаваться
хоть с молоду.

А жизнь-то—
не жисть,
не житьишко,
а жесть:
затягивай
брюхо
потуже!

У лошади—жизнь
и у нас она есть,
но жизнь человечья
похуже.

3. Людиное безлюбье.

Работа Егора—
12 часов...
....с 12 лет
стали куцыми сутки.
Запрятала жизнь
под железный засов
и юность,
и радость....
— Любовь?
это шутки...
Да,
жизнь не дремала,
хлестала кнутом.
И радость
кусочками:
видимость кражи...
Сказать о любви
как-то стыдно,
притом:
чего не бывало,
того не расскажешь.

СПЛОШНОЙ ДИСПУТ.

(Поэма вторая).

4. О социальном показе.

Бежать захотелось от жизни такой,
давящей глухой паутиной,
И вот: у людей наступил непокой
от жизни такой лошадиной...
Пришла революция!
взмах колеса!?
Нет!
Круче людей закрутила.

Об этом давно (хоть и плохо) писал
поэт пролетарский:
Герасим Кириллов.

А мне ль, молодому, на первых порах
со старостью спорить? Нет, мне не до
спора.

Писать про «вампиров» они мастера,
а я расскажу про Егора.

Охотников много до чьих-то побед:
Поют о любви, о войне и о мире...
И я заработать хочу на обед,—
лишь только карманы держите пошире,

а я уж загну,
как в романе каком
с героем-бойцом, комсомольцем:
Мол, ехать на фронт разрешает губкомом,
и едет Егор добровольцем.
Подумайте сами—
к чему унывать?
Ведь жизнь-то, она и была не дороже.
Но, есть на плечах, мол, качан-голова.
Не будет?—так это одно, ведь и то же!
Я верю, победно держался Егор,
а вправду: он трусил, пожалуй, немножечко
и, даже не встретясь с бедою в упор,
бледнел, унывал и... сосало под ложечкой...
У тех, кто марает бумагу в тылу,
не редкость победные выкрики...
Отдал бы их души «в горячем пылу»,
бумажные души, портнихам на выкройки!

5. Оратор.

«В молодости кто
не был оратором?»

Но все же не шкурник Егор и не трус—
Его командир не однажды похваливал,
И хвастал Егор:—Ничего не боюсь!
(легко языком перевалывал).

Да, мы, говорит, да вот эдак, да так...
«не как соглашатели куцые!».
И мелет,
и мелет,
и мелет чудак
насчет мировой революции.
— «Да мы эту сволочь!
«Да в шею!
«Да мы—
«пахали, ковали и прочее!
«Да нам захотелось да выйти из тьмы—
«устроить житьишко рабочее!»
И, что ни словечко, ни фраза, то:
«Да»,
— «да мы!
«Да, раз'язви их в душу!»
Послушать,—
как будто,
совсем ерунда,
а люди столпятся и слушают.

Их после ни голод, ни бой не страшит
Не сладко только Егору:
— Эх, еслиб кто мог для отвода души
занять и его разговором!

Когда говорит, то сдается ему:
свернул бы огромную гору,
а после становится вдруг самому
и жутко, и страшно Егору,
Ему лишь семнадцать, а фронт измотал,
до нитки повытрепал нервы.
Он думает: раз намолол, наболтал—
придется быть первому первым.

ЧЕЛОВЕК И КОНЬ.

(Поэма третья).

6. В пути.

Качался поезд,
дул в щели ветер.
Чуть слышен гром глухой вдали.
Ох, тяжело коню на этом свете
не знать, куда его везли.
Качался поезд,
дул в щели ветер.
Гудели глухо провода.
Куда спешат на этом свете?!.
Куда тебя везут, куда?!.
Качался поезд....
дрожали ноги...
По телу пробегала дрожь...
— В степи
иль на большой дороге
Ты
лошадиной падалью
падешь?!.
Качался поезд,
горела память:
— «С полей свели, теперь—в пути»..
Хозяин твой, за этими столбами
не побежит, чтоб друга воротить.

7. Дружба.

И гул незнакомый...
И уши торчат...
У лошади сердце от страха колотит.
Погода на фронте
всегда горяча...
И люди,
и лошади
в поте.
И люди назвали его
«Робингуд».—
Тут всякому кличка положена.
Овса не достанут, а кличку дадут,—
без клички никак невозможно.
Егору достался крутой «Робингуд»
и так привязался к хозяину,
что если другому его отдадут,
то жить уже станет нельзя ему.
В налетах и под ураганным огнем
дневали и ночевали,
и страх породнил человека с конем,
в огне, на «Крутом Перевале».
Бродили огласки,
бродил разговор,
мол, «есть в нашей «Чертовой Сотне»
разведчик отчаянный—
мальчик Егор—
до выдумок гиблых охотник».
Егора качала мирская молва,
как ветер качает на дереве ветку...
Эх, парень!
Эх—дурья твоя голова!
забудь хоть сегодня
шальную разведку!

8. Разведка.

Метет, мельтешится мякиной метель,
Разведчикам путь заметая.
Бьет в бельмы безумная беглая бель,—
крутит каруселью крутая.
И, тая, гнездится в глухие глаза,
и липнет щекотно на щеки...
— Куда бы вперед
или хоть назад?..
— Стой...
выстрел...
совсем недалекий...
Вновь выстрел...
О, юность!
О, глупый твой пыл!..
Конь видит,
конь слышит,
конь понял:
Попались в ловушку,
во вражеский тыл—
чужие и люди, и кони...
Очнулись.
Но поздно.
Тревога.
Стрельба.
Куда убежишь от напасти?
— Судьба умереть?
— Так, пускай же судьба!
— Несчастье?
— Хоть сердце на части!
Но конь, как почуял беду—ошалел.
Земля под копытами—взрывом!..
Егор обезумел и окостенел.
Застыл, уцепившись за гриву.

9. Май и костыли.

...вцепился за гриву
да так и застыл,
застыл,
и теперь уж не помнит:
во сне ли привиделся
вражеский тыл
и те ошалелые кони,
в бреду, на яву ли
друзья и враги?..
А сердце—
все выше и выше...
Опомнился,
смотрит—
лишился ноги....

...да, так с костылями и вышел.
На госпиталь злобно и тяжко взглянул,
а улица жизнью клокочет...
И вспомнил:
— Охотно пошел на войну,
а жить одноногим не хочется.
Сейчас
и безногим бы ринулся вновь,
чтоб жизни остаток не ведать.
К чему тут хромать,
раз остужена кровь
во имя какой-то победы?!
Но видит толпу...
Взбудораженный гул...
Со знаменем два человека
идут впереди.
И согнулся в дугу
Егор хромоногий, калека,—
Он диву дается:
— «Откуда?... Куда?...
Идут все идут, напевая»...
Но слышит оратора:
— Праздник труда!—
И понял, что 1-е мая...
Качаясь, гудела людская река,
казалось, течет она в гору,
но поступь, как пух, показалась легка:
безногому даже Егору.
А ночью Егору
Казалось во сне:
В весеннюю пору,
Заигрывал снег...
От белого листопада
Калека на улице падал.
И пели веселые бабы сквозь смех...
Такие наивные бабы:
— «Ой, выпал,
Ой, выпал,
Ой, выпал в мае снег.
Ой, белый,
Ой, белый,
Не снег, а ребеночек слабый».

REQUIESCAT IN PACE.

(Поэма четвертая).

10. «Робингуд».

Пушки
вздыхали
И тяжко
выли.
Жаркая

да и кругая
стрельба...
— «Ранена,
в круп—
на вылет,
лошадь!»—
Взводный отрапортовал.
— «Ранена лошадь... Экое диво...
Без передышки четыре дня»...
К лошади шел человек нехороший,—
он «Робингуда» хотел пристрелить:
дескать, «негодную стала лошадь»,
дескать, «начальник убить велит».
Ветеринар заступился. И с дуру
выходил. Сдал в ломовой обоз.
Сдал в ломовые—кости да шкуру,
да храп—сплошной облезлый нос...
Тяжко служить и обозному люду,—
ноша всегда, как гора, велика;
тяжко хромающему «Робингуду»—
в ссадинах вечно от плети бока.
От ранней зари и до поздней ночи
тяжести люди дают таскать...
Вот она старость...
Хочешь—не хочешь,—
вот она, к сердцу змеится тоска;
вот он, дымящий грохочущий город
холодом жизни смыкает уста.
Конь становитый, красивый и гордый,
Неузнаваемой клячею стал.
— «Такая жизнь несуразная;
Такая жизнь безызвестная;
Такая однообразная,
Такая неинтересная».
После тяжелого дня—на отдых,
А «Робингуду»—все равно.
Помнит он дни своей юной свободы,
Помнит он удаль степных табунов.
Тихо рана в крупе заныла;
Тихо, но стало больней и больней...
Вспомнилась та вороная кобыла,
Вспомнилась резвость ушедших дней...
— «Ну, а теперь?...
Эта скука обоза
гонит в могилу тяжелый обоз»—
И лошадиные
крупные слезы
падали, прячась в навоз.

11. «Панихида».

И сладкое сено не сладко жевать:
Жизнь, кажется, куцая, куцая...
...Скажите, ну, как мне коню втолковать
идеи моей революции?
Живет...
каждый день устает «Робингуд»,
усталость для лошади прочится,—
ню сена овса́ль «Робингуду» дадут—
жевать «Робингуду» не хочется...
А жвачка соседки чужда и глуха:
увяли упругие губы...

...Раз окрик над ухом сквозь сон услыхал,
такой человеческий, грубый...
Глаза пеленает зеленый огонь:
пинком человечьим разбужен.
Да! был он когда-то невиданный конь,
теперь и в обозе не нужен.
Скончался забытый старик «Робингуд».
Кончину под вечер отвыла собака...
Хотя человеку он отдал свой труд,—
жесток человек,—человек не заплакал.

12. Requem.

Кто понял суровую участь твою?—
Никто, моя милая лошадь.
Лишь я опечаленный, грустью пою,
что был жеребец ты хороший.
Жестокие, буйные бури в полях,
ты вместе с героями вынес.
Как жаль, что не умер ты в славных боях;
что чуждым скончался ты ныне.
Как знамя, ты гордую гриву носил,
Что делать?—
склонилось и знамя...
Ты людям и брань, и побои простил,
з доброму:
Вечная Память.

13. Песня инвалидов.

Улица.
Грязь.
Крик:
— «Эй, чортова гнида»...
— «Чего тебе надобно, банный лист»...
Здание с вывеской:

≡ Дом инвалида ≡

,
а у здания—
ругань,

гам,
свист.
Вечер кудлатый—темный кудесник,
где-то давно потерявший уют,
выслушав ругань, слушает песни,
что инвалиды сегодня поют:
«Бродит с нами ветер
неприкаянно,
мы давно с ним дети,
дети Каина.
Звезды, холодея,
мы увидели,
но они, злодеи,
нас обидели.
За отца в ответе
в петле висли мы...
Слышишь, брат наш ветер,
Смех немыслимый?!
В осыпи восторга
пляшут Авели—
те, что слепо долго
нами правили.
Кроткими, как овны,
их люби, блея,
новые законы—
та же библия!
Запад ли, Восток ли,—
очи сну неся,
уж от слез промокли,
захлебнулися...
— Жить на этом свете,
в холоде дрожа?!
— Запевай-ка, ветер,
песню мятежа!
Запевай—подтянет
вьюга голая.
Грустной мало станет—
есть веселая.
Много бродит песен
неприкаянно—
мир без песни тесен
детям Каина!».
Слова были глыбами каменных гор,
и песня угрозой стучала,
но встал, на костыль опираясь, Егор
и начал, и речь закачалась.

14. Праздник оторванной ноги.

— «Товарищи!
Граждане!
стоит ли петь
сгнивающей мистики одурь?!..
Я вас не зову безрассудно терпеть,
а также хвалебные оды
о жизни прекрасной не стану слагать:
к чему самому себе радостно лгать?!
Рубили мы мясо, рубили мы страх,
себя мы калечили в гиблых боях.
Ах, братцы! забуду ль,
как песней гудит
в полях наша удаль,
в ударах копыт?
Попробуй—не вспомни,
Как ржут в небеса
убитые кони,
лишившись овса
и буйного бега, и звонких копыт
Нет, братцы, наш праздник не будет забыт!
Кто мнит себя сбродом ненужных калек,
тот пусть лучше вспомнить, что он—человек,
и пусть, как и прежде, стреляет в упор,
как я, ваш товарищ, как я, ваш Егор.
Я жизни хорошей
не в силах добыть,
но я—уж не лошадь,
меня не добить.
Таким вот безногим, меня принимай,
Ногою моей отвоеванный, Май!..
Егор не сгибает в лишениях плеч!
Я, будучи вашим соседом,
последнюю ногу сумею сберечь,
чтоб сдать ее новым победам!
Пусть тяжкая ноша!
Не мне одному
она тяжела, эта ноша!
Работай, как лошадь, и лишь потому,
что ты—человек, а не лошадь!»...
. . . . . .
. . . . . .
...У «Дома инвалида»
Смеялись, шутили:
— «А ты героя видывал,
С кобыльих бастилий?».
— Кого это, кого это?
— Героя...
— Без спора?...
— Того это, того это:
Понятно—Егора...
. . . . . : : . . . : : :

— «Сынючки!
безобразничать
сегодня
не моги:
Почтите светлый праздничек
Егоровой ноги»...

СМЕРТЬ ЭПИЛОГА.

(Поэма пятая).

15. Умалишенный.

В один прекрасный солнечный день
ко мне в дверь
постучался какой-то умалишенный
и продекламировал:
—Спешите! Спешите! Тургенев оглох?!
— «Как хороши,
Как свежи
Были розы»...
Промолвил со стоном старик Эпилог,—
Удавленник (ныне) орловской березы.
Я снова услышал:
— Тургенев, оглох...
...В петле, на березе,
висел Эпилог!
Я вырос, я грузно ступил на порог,
Чтоб видеть, как тяжко хрипит Эпилог,
Как сохнет, как вянет дюрянская тля...
Все крепче, все туже ласкает петля...
Удавленник старый, как смерть, его, труп...
Я снял Эпилога березовый труп....
Под нумер занес Эпилогову смерть
И заново начал построчно гореть...

16.—Чтобы я сделал, если бы....

О, если бы я непробудно ступал
в аллеях усадьбы, по ветхой дороге,
меня бы размеренная стопа
морозила в мертвом уже эпилоге.
Я б мог рассказать эпиложную быль
про вред куренья, про выгоды спора,
про то, что нечаянно сломан костыль,
последний костыль у Егора;
о том, как скончался на-днях пономарь
(старик отводил мою душу бывало)—
ах, кто мне расскажет про «божию тварь»—
про лошадь, про мир, про конец, про начало?!.
сказал бы вам:
— «Библия в церкви лежит
столетней старухой:
измятая, желтая,
а вся убежавшая прошлая жизнь,
как библия эта, истертая».
Не зная, как дальше вести мне рассказ,
Я б выругал наше отродье людиное
и скрыл бы, что было одно лишь у нас:
тяжелая жизнь лошадиная.
Напомнил бы всем, засмотревшимся в даль,
и всем, кто поет о победах уверенно:
— Рифмуйте, родимые, с далью печаль
о близких, родных, но потерянных.

17. Иной бред.

..Но нет эпилога,
и я без дорог:
в лесу заблудилась беседа....
...На зло вам!
банальный, больной эпилог,
меняю на вымысел дикого бреда.
Кто это снегом дороги окутал?!
Кто это едет, не зная дорог?!
— Ветер-бродяга пути перепутал!
Едет, кто страха в душе не сберег!
— «Хиба ж погодка-то сядня нигарна?
«Хиба ж сильнее вражий порог?».
Ветер ударил стихом из Верхарна:
«ветер отрывисто трубит в рог»...
В хрупком снегу прохрустели копыта—
остро по сердцу царапает хруст...
Непогодь злее придуманных пыток.
— «Кто это—ворога тень или куст?»...
Кашлем сухим показался выстрел—
ветер гору грохота перевыл...
Ветер завыл и круженье убыстрил—
ветер заплакал печалью вдовы.
— Кто это белый дороги окутал?
Кто это умер в просторах дорог?
— Ветер-бродяга пути перепутал.
Умер, кто страха в душе не сберег,
тот, кому непогодь злобная гарна,

да и не страшен вражий порог...
Ветер ударил строкой из Верхарна:
«ветер отрывисто трубит в рог».
— Кто это?!—
Стоит ли ставить вопросы?
Слушайте вьюгу, пейте мороз,
ветер—оратор многоголосый—
в буре утопит любой вопрос...
Всадник не умер,
всадник об'ехал
вражьи заставы
и смерти беду.
Это—не смерть,
а шальная потеха;
это—привиделось,
только в бреду...
Что из того,
что отдал непогоде
радость и молодость,
в гиблых полях?
Так же,
как люди,
он в жизни
проходит,
только хромая
на костылях...
Пусть же шагает,
за лучшее ратуя;
пусть он ораторствует,
потому что
в этой жизни нужны ораторы,
в жизни без ораторов
скучно.

18. Заключение.

Безумье во все стороны
кидает черный дым.
Вскружились войны-вороны
над миром вороным.
У моря злая пена есть,
как белый непокой,
белее наша ненависть
злой белизны морской.
Мы стали ветробойными:
колебля тишину,
невиданными бойнами,
спешим убить войну!

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

Истоки.

(Окончание).

ГЛАВА X.

УГРЮМ-РЕКА ЕСТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДСКАЯ. ВЕРШИНА. ГНЕТУЩЕЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ. «ЖЕНИСЬ, БОЙЕ!». ХОЛОДНЫЙ СТРАННЫЙ СОН. «Я—СКАЗКА».

Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тальниках появились блеклые листы, они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой и ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала настороженной, чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом с Прохором, слышно было, как крадется лиса сквозь чащу, и четко плыли в ночи монотонные рыданья сов. А ружейный выстрел напоминал громовой раскат, он долго гудел и рассыпался по ущельям гористых берегов.

Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе—нечто дикое, коварное, словно в заклятой колдуном тропе. То приветливо улыбнется она, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо: «плывите, дорогие гости, добрый путь!»—и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. То, вдруг, за поворотом, нежданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход.

И снова тихое, улыбчивое плесо, и снова ему на смену непроходимый перекат или порог. Так изо дня в день. Шивера, пороги, перекаты, запечки, осередыши.

А время шло не останавливаясь. Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему—беспредельный в пространстве океан.

Ибрагим от раздраженья пожелтел, он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова крепкой, мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем.

— Ну, и река! Что это за река. Перекат на перекате. Глупая какая-то... Столько времени теряем...

— Река бедовая, свирепая. Уж бог создал ее так,—спокойно говорит Фарков.—Она все равно, как человечья жизнь: поди, пойми ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь, как жизнь людская. Да.

Однажды, перед тем, как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув за реку на лысую, стоявшую вблизи берега сопку.

— Извольте посмотреть... Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день, а к ночи, ежели благополучно, опять к ней, только с другого бока.

— Зачем?

— А так уж, значит, матушка-река протекла,—поспешно стал пояснять Фарков.—На пути три огромадных загогулины делает она, по-нашему, три мёга. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухопутьем—полторы версты.

Ибрагим покрутил головой и плюнул

Прохор высадился на противоположном берегу и, отпустив шитик, направился таежной целиной к сопке.

Вот он на плоской, как стол, безлесной вершине. Какая высь! Пред ним сразу открылись неоглядные просторы.

Был ранний час, восток окрасился зарею, из-под земли, из таежных дебрей вздымался нежными лучами свет. Лицо тайги, приподнятое к небу, было темнозеленое, угрюмое—ночные тени еще не сползли с него, и темный дух лесов еще не спрятался в провалище. Тихо. Воздух не шелохнется. Прохор слышит, как тикают его часы. На душе его неспокойно. Там, внизу в обществе Ибрагима и Фаркова, он за последнее время все чаще и чаще стал замечать в себе тревогу, он ощущал ее смутно, неопределенно, будто невнятный предостерегающий чей-то шопот, но в работе всегда забывал о ней. А вот здесь, сейчас наедине с собою, открытый всем четырем ветрам, Прохор вновь узнал эту назойливую гостью, она резко постучала в дверь его души, она замутила его сердце каким-то гнетущим предчувствием. Ему вспомнился отец, вспомнилась мать, плачущая горько и благословляющая его в опасный путь большим благословением: «Прошенька, голубчик мой... Да сохранит тебя господь». В то время Прохор, юное неискушенное дитя, только улыбнулся. Теперь же был у него за плечами опыт: трудный пройденный путь сулил впереди бесконечные лишенья. Скоро они останутся вдвоем с черкесом среди безлюдной неизведанной реки, скоро пойдут по воде туманы, а там и снег, зима. Что делать? Может быть назад? И вот лишь в этот миг юноша ясно и отчетливо уразумел кровную тревогу своей матери: «Прошенька... Да сохранит тебя господь». Прохор вспомнил, перечувствовал, не раз вздохнул. Так, неужели впереди погибель? И пало в мысль желание усердно помолиться, попросить у бога милости: да пошлет ангела-покровителя, да сделает путь его счастливым. С благоговением опустился он на покрытые росой каменные плиты, припал лицом к земле. Он усиленно морщил лоб, вздыхал, стараясь вызвать слезы, но кто-то мешал ему сосредоточиться, и он плохо слышал слова молитвы, которые шептали его губы. «Ангел мой святый, хранителю души и тела моего...» Да, да... Это она, это они мешают обе—Таня и волшебная тунгуска. Греховно улыбаются, влекут его к себе... «Хранителю мой святый, вся ми прости елико согреших словом, делом, помышлением»... Но молитва не помогала: в душе хандра, развал.

Вдруг в его глаза ударил новорожденный свет, и обманные призраки исчезли. Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца:

— Солнышко! Солнышко!

Свежими яркими лучами брызнуло солнце в молодую душу, и смятенья как не бывало.

— Здравствуй, солнышко.—Прохор больше ничего не мог сказать, его губы прыгали. Он чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.

— Ты и черкес... Вас двое... Ничего не боюсь я... Солнышко!..

Дыхание Прохора сделалось ровным, неторопливым, кровь в сердце успокоилась, он вытер слезы и долго любовался расстилавшимися пред ним далями.

Прохладным, еще не разгоревшимся костром солнце медленно всплывало в бледном небе, пологие лучи его вяло блуждали по шапкам леса, покрывавшим склоны и вершины гор. И все,что никло в дреме головой, теперь раскрывало глаза, пробуждалось. Румяной позолотой окрасились крутые спины увалов, а тень в низинах и падях сгустилась. И видел с горы Прохор, как мрачный океан тайги стал наполняться позлащенными островами, где весело, угревно и пахнет смолистым духом. Проснулся воздух, свежие ветерки взвихрились над тайгой, шелковым шорохом прошумели хвои осанну лучезарному властителю земли и—вновь тишина. Только слышится хорканье пятнистой белки и гордый клекот орла. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост, вот она облюбовала шишку с орехами,—господи благослови!—поест сейчас. Но орлиные когти до самого сердца вонзились в теплый ужаснувшийся комок, и бисерные глаза зверка навек закрылись.

Прохор вскинул ружье и—бах!—Орлиная голова слетела с легких плеч, и владыка птиц камнем рухнул в пропасть. Рявкнул медведь в логу, он поднял оскаленную морду на прозвучавший выстрел и отхаркнулся кровью оленя, которого он только что задрал у холодного ключа. И началось, и началось, кровь, трепет, смерть во славу жизни. Железный закон вступил в свои права.

А солнце движется своей чредой... Какое ему дело, что творится где-то там, в земном ничтожном мире. Равнодушное, без злой воли, радости и гнева, оно все жарче, все сильней разжигает свой костер, вот лучи его победоносно ворвались в пади и ложбины, где все еще прятались обрывки темных снов И там посветлело, и там заструилось небесное золото, роса на хвоях заполыхала. Лишь в глубоких ущельях был тот же мрак, мрак вечный, нераскаянный. Там обиталище дьявола, там страшный лесовик, Баллёй —лесной хозяин, весь закутавшись лохматой бородищей тяжко дрыхнет, вылупя глаза.

Прохор медлил уходить. Для взора все теперь стало отчетливо и ярко. Сверкала под солнцем Угрюм-река. Она казалась отсюда тихим извивным ручейком. Что это чернеет на ней маленькой козявкой? Неужели шитик?

Внизу, недалеко от подножья сопки, вьется тонкая струйка голубого дыма.

— Ага, тунгусское стойбище.

На яркозеленой, облитой солнцем поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три остроконечных чума. Прохор закурил папиросу и торопливо стал спускаться с сопки. Он так много слышал от Фаркова об этих сказочных людях—тунгусах, но ни разу не видал их вплотную. Прохору начали попадаться олени. Крепкие, красивые, с раскидистыми рогами, шерсть лоснилась под солнцем, черные глаза блестели. А некоторые были облезлые, новая шерсть еще не отросла, они прихрамывали, на ногах, повыше копыт, гноились раны, в которых кишели белые черви.

— А-а люча*) прибежаль, русак! Здраста, бойё!

---

*) Люча—русский.

Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мох, подходил к нему старик-тунгус.

— Здраста!—проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора.—Как попаль, бойе? Зачем? Торговый, нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай? А?—старик прищурил раскосые узенькие глаза и улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах, лицом.

— Айда!—махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика, в замшевых длинных лунтах, четко отбивали быстрые шаги. Ловкими ударами длинной, похожей на рогатину, пальмы тунгус ссекал молодые деревца, стоящие на пути.

— Зачем рубишь? Можно обойти, ведь!—крикнул едва поспевавший за стариком Прохор.

— Мой прямо ходит... Ромно стрела летит...

Вскоре меж чащи леса заблестела река.

— Куда, бойе, низ бежишь на шитике?—спросил тунгус, когда вышли на берег.

— В Крайск, бойе, в Крайск. Доплывем?

Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой:

— Нет. Сдохнешь.

Прохор начал возражать, горячо заспорил, но тунгус стоял на своем:

— Совсем твоя дурак... Зима скоро... Шибко далеко, бойе. Боро-ни-и-и бог.

В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер—гуливун,—возле него суетились бабы, старые и молодые, они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубахе и с длинной, черной, как у китайца, косой, ссекал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха с голой неимоверно грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделывая из нее замшу—рòвдугу. Возле нее стояло сплетенное из бересты и обмазанное глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочей, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе под нос толстым голосом и страшно потела от усилий:

— Э, бойе... Э!..—она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули.

Старик-тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему:

— Это мой баба... Шибко хорошо стрелят... Медведя бил, самого амикàна-батюшку... Шибко много... Боронн-и-и бог... Вот слепился... Мало-мало кудой глаз стал...

Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел: «бух-бу-х!» и радовалась, как ребенок.

Над небольшим костром у чума суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко—солнце припекало не на шутку—она по пояс нагая, только грудь кой-как прикрыта синим халми*), вышитым бисером и отороченным лисьим мехом.

В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней.

— Это мой дэчка...—сказал старик.—Мужик сдох, околел маленько. Одна осталась. Больно худо, совсем худо... Мальчишку надо, а не рожает...—и голос старика стал грустным.—Я богатый: много олень, пушнина, да то, да се... Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо... Вот останься, бойе, по-

*) Халмине—большой кожаный нагрудник.

живи мало-мало. Она шибко жарко обнимат, хе-хе-хе... Борони Бог как. Рази кудой баба? А? Оставайся, любись...

Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный нагрудник упруго приподнялся, и украдкой улыбнулась Прохору.

— Какой тебе год? Двасать пьять будет?—спросил старик.

— Нет, семнадцать,—смутился Прохор.

— Ей Бог? Тогда не нужно... Семнасать—чего тут... Тьфу твоя дело!—запыхтел старик.

Прохор покраснел. Тунгуска выпрямилась, опустила глаза, что-то сказала тихо и вздохнула.

— Может на шитике шибко большой мужик есть? А?—сюсюкал гортанным голосом старик.—Шибко надо...

Четыре девочки с любопытством разглядывали Прохора, шептались, тыча по направлению к нему пальцами, на которых белели серебряные кольца. Потом вдруг все засмеялись, словно защебетала веселая стая птиц, и кинулись навстречу высокой молодой девушке.

— Другой дючка,—сказал старик.—Шибко молодой... Ашадка, девка... Шибко сладкой. Ну-ка, гляди-ка...

Прохор поклонился ей, сняв шляпу. Но девушка, направляясь с ведром к реке, прошла молча, даже не взглянула на него. Ее гордо поднятая голова была в яркозеленом тюрбане, оттенявшем смуглый румянец ее щек, оранжево-огненный камзол с красными широкими полосами по борту и подолу плотно облегал гибкую талию, позванивали и блестели серебряные украшения на груди и чеканные браслеты, обхватившие запястья девических тонких рук. А ноги—в цветистых сплошь шитых бисером сапогах.

Двигалась девушка быстро, чуть подрагивая бедрами и рдела под солнцем в своем оранжевом камзоле, как столб пламени.

У Прохора замерло сердце. Он прошептал:—Вот так красавица...—ему захотелось догнать ее.

Старик хлопнул Прохора по плечу и скрипуче засмеялся, прищелкнув языком:

— Скусна! Вот, женись!... Оставайся, тайгам гулять будешь аминака-дедушку промышлять, белковать будешь... А? Все тебе отдам, всех оленей, на!!!

— Вот года через два приеду, женюсь,—улыбнулся Прохор.

Старик безнадежно засвистал:

— Сейчас женись!.. Чего ты...—и голос его стал серьезным.—Два года двасать местов будем, не найдешь... Мой сидеть не любит, тайгам гулял, все смотрел... Чего ты! А девка самый скус... О-о, какой девка!.. Не дай Бог,—старик почмокал и сглотнул, потом потащил Прохора в тайгу.—Вот пойдем, оленей глядеть будем, хозяйство... Женись, бойе, женись... Верно толкую, чего ты!

И крикнул:

— Эй, бабы!.. Жрать скорей работай!.. Гость угощать надо... Шибко скорей!..

Ночь надвигалась тихая, звездная. Прохор лежал возле костра на берегу и поджидал запоздавший шитик. От нечего делать он просматривал записи в своей книжке. Старик-тунгус сообщил ему много любопытных сведений. Он знает теперь, где кочуют тунгусы и куда выходят они зимой, чтоб обменять богатый зверовой улов на ничтожную подачку от русских торгашей грабителей. Прохор приедет сюда и все устроит по-иному: пусть вздохнет сво-

бодно этот гостеприимный, ласковый народ. Или вот еще: та сопка, на вершине которой он был утром, оказывается, имеет в себе медь. В его руках кусок металла, найденного стариком в каменном обрыве сопки. Старик проговорился также и про золото, тунгусы знают, где оно родится, но не хотят сказать, а то придут, мол, русские и повыживут из тайги все их племя. Нет, лучше пусть лежит в земле!

Кончено! Прохор будет здесь работать, проложит широкие дороги, оживит этот мертвый край, разделает поля, а главное—схватит вот этими руками реку и выправит ее всю, как тугие кольца огромного удава. Обязательно, обязательно все будет так. Прохор Громов только начинает свою жизнь. О, погодите!

Лицо юноши в эту минуту казалось суровым, меж бровями легли глубокие складки, и старческие приблудыши-морщины протянулись от углов губ.

А все-таки, как хороша эта девушка! Вдруг он женится на ней... Мать, наверное, согласилась бы, а вот отец... Во всяком разе—вернется домой—поговорит. Ну, и чудак этот старик тунгус. Славный старик, хороший Разыскал спирту, напился пьян, угостил Прохора и все уговаривал его остаться в тайге с его дочкой. Хвалил ее на все лады, а, подвыпив, строго приказал дочке раздеться: пусть бойе посмотрит, ничего, надо показывать товар лицом. Пусть. Когда старик стал кричать на девушку и махать кулаками, та с хохотом выбежала вон и больше не возвращалась. А старуха ударила его в лоб замазанной тестом ложкой, старик заплакал, лег возле костра и, свернувшись калачом, тотчас же уснул.

Лицо Прохора вновь стало юным. Он лежал, закрыв глаза, на губах улыбка. А думы безудержно уносили его все дальше, дальше.

Тишина. Всплескивают весла. «Должно быть, шитик». Нет, это камыши шумят. Нет, соболь крадется к задремавшей птице.

— Бойе... Проснись, бойе...

Прохор открыл глаза. Склонившись над ним, сидела девушка. Маленькие яркие губы ее улыбались, а прекрасные глаза были полны слез.

— Значит, хочешь уйти, покинуть?

— Да, хочу...—сказал Прохор и ему стало жаль девушки.—А может быть останусь. Поплывем с нами.

— Нет, нельзя... Я в тайге лежу. Меня караулят.

— Что значит—лежу? Кто тебя караулит?

— Шайтаны,—сказала она и засмеялась печальным смехом.—Еще караулит отец. Она совсем, совсем хорошо говорила по-русски, и голос ее был нежный, воркующий.

Прохору лень подниматься. Он взял ее маленькую руку и погладил.

— Как тебя звать?

— Синильга. Когда я родилась, отец вышел из чума и увидал снег. Так и назвали Синильга, значит—снег... Такая у тунгусов вера...

Звезд на небе было много. Но самоцветных бусинок на костюме девушки еще больше. Прохор ласково провел рукой по нагруднику-халми. Грудь девушки всколыхнулась. Она откинула бисерный халми и прижала руку юноши к зыбкой своей груди:

— Слушай, как бьется птичка: тук-тук!—Она совсем близко заглянула в его глаза. Нашла его губы, поцеловала.—Бойе, милый мой,—в голосе ее укорчивая тоска, молящий стон.

Прохору стало холодно, словно метнуло на него ветром из мрачного ущелья.

— Вот, лягу возле тебя... Обними... Крепче, бойе, крепче!.. Согрей меня... Сердце мое без тебя остынет, кровь остановится, глаза превратятся в

лед. Не ветер сорвет с моих щек густоцвет шиповника, не ночь погасит огонь глаз моих. Ты, бойе, ты! Неужели не жаль меня?

Прохор в этот миг заметил сидевшую на обрывистом камне над самой водой молодую вдову тунгуску, грудь ее дрожала от глухих рыданий, и черные распущенные волосы свисали на глаза. Прохору вдруг захотелось причинить девушке боль, страдания и он сухо сказал:

— Нет, Синильга, не жаль тебя. Вот ту жаль...

Синильга молча встала и, подбежав, столкнула вдову в реку, а сама возвратилась, холодная.

— Неужели густые сливки хуже прокисшего молока? Эх, ты...—сказала Синильга и легла возле него на золотом песке.—Не любишь, значит?

— Я другую люблю,—прошептал Прохор, не в силах оторваться от влекущего к себе лица Синильги.—Ты прекрасна, но та лучше тебя во сто раз.

— Ах, бойе,—вздохнула девушка и вся поникла.—Оставайся здесь, оставайся. Я научу тебя многому. Ты любишь сказки страшные-страшные? Я сказка. Ты любишь песни грустные-грустные? Я—песня, а мое сердце—волшебный бубен. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному безлорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый и возле месяца мутный круг. Ха-ха-ха!.. Ой, горько мне, душно!

И она заплакала и стала срывать с себя одежду, но не могла этого сделать: словно холодное железо пристыла одежда к ее телу. Плакала Синильга долго, ломала руки в последней тоске, и плач ее сливался с другим плачем: взобравшись на скатный белый камень, видимый среди ночи при свете звезд, навзрыд рыдала с того берега вдова.

Прохору все еще лень подняться, он только слушал и ничто не удивляло его.

— Не верь вдове! Она притворщица: плачет о том, чего не было, ищет, что не теряла.

Синильга все ближе придвигалась к нему, он отодвигался.

— Ты холодна, как снег, Синильга.

— Я снег и есть. Милый, дай руку, дай я надену тебе кольцо. Вот, носи, бойе... Оно проклятое, колдовское... Оно принесет тебе счастье и несчастье... Вспоминай меня.

— Синильга! Если-б ты была она, я бы любил тебя.

— Бойе! Я и есть—она, она и есть—я... Разве не узнал?

— Я никогда не видал ее. Я только слышал про нее сказку...

— Я—сказка!..

— Та—мертвая... Но я возвращу ей жизнь.

— А я не мертвая? Я, по-твоему, живая? Бойе! Вот, поцелуй меня жарко, жарко. Брось меня в костер твоего сердца, утопи меня в горячей своей крови, тогда я оживу. Ох, тяжко мне лежать одной и хо-о-лодно...

Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру и никак не мог оторваться взором от Синильги: столь прекрасна она была.

— Значит, ты шаманка?! Та самая, что...

— Та самая.

Словно льдина прокатилась по спине его. Задрожав, он крикнул:

— Врешь!!!

— Прохор Громов!—вещим, резким голосом прозвенела Синильга.

— Откуда ты знаешь? Ты кто?—весь холодея, юноша вскочил.

Та же ночь была, тихая, звездная. В ушах Прохора глухо звучало:

— «Будешь умирать—приду»...

Прохор перекрестился и вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра: голова была тяжелая, слипались утомленные глаза.

— Вставай, что же ты... Эй, Прошка!

Шитик готов к отплытию. Солнце ударяло Прохору в лицо. Он поднялся. На указательном пальце левой руки блестело серебряное, со змеиной одноглазой головой, незнакомое кольцо. Прохор смутился, снял его и, крадучись от Ибрагима, спрятал в карман, стараясь припомнить вчерашний день.

— Что за чертовщина такая.—От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно.

На берегу стояла группа тунгусов—мужчин и женщин. Они вышли взглянуть на шитик и пожелать счастливого пути.

Прохор подошел к старику и спросил его:

— А где Синильга?

— Какой Синильга? Нет такой... Может, мой девка, дочка? Он в чуме сидит, хворает.

Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб. Он хотел передать кольцо старику и не решался.

— «Разве спросить вдову, может быть, она знает, чье это кольцо и каким чудом оно к нему попало?».

Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика:

— Прошка, плывем!!!

ГЛАВА XI.

ТЕМНАЯ БЕРЛОГА. СЛЕПЕНЬ И КАРАСИ. «В ПОКРОВ УМРУ»... ОСЕННЯЯ ЗИМА. ОБМАННАЯ ДОРОГА. ПРОКЛЯТЫЙ ГУСЬ. СХВАТКА.

В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой, наконец, прибыли в Ербохомохлю, последний населенный пункт.

— Жалко расставаться с вами... Ну, и жалко,—искренним голосом сказал Фарков,—Дюже привык я к вам... Ей богу.

Как ни упрашивали его Прохор с Ибрагимом, чтоб не оставлял их, Фарков не соглашался:

— У меня там сын, хозяйство. Как спокину? Ведь ежели плыть, дай бо, к пасхе домой-то вертануться... Много тысяч верст надо обратно-то сколесить. Баба подумает, что утонул. Нельзя, братцы.

Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору и обнял его, как сына:

— Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок... Много тобой довольны... Значит, через годик будем поджидать тебя. Так-то...—Он отвел Прохора в сторону:—Иди-ка, паря, на пару слов,—и, усадив его на заваленку возле избы, заговорил тихо и трогательно:—Вишь что, Прошенька. Ты хорошень обмозгуй дело-то, плыть ли. Поздно, смотри. Вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь.

— Я решил плыть.

— Смотри. Надо мужиков расспросить здешних, стариков. Может, бывал который. Ну, ладно, авось бог пронесет... А вот еще чего...—он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал:—Тунгуска-т, шаманка-т, мертвая-то... Ведь ее и впрямь Синильгой звали... Вспомнил, ей богу право... Синильга, как есть.

Прохор вопросительно, с внутренней дрожью взглянул на него:

— Ну, и что же?

— А то, что не шибко-то накликай ее. Избави господи: прицепится — с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить тебя, ты больше молитвой. Бывало случаев разных много.

— Ерунда какая,—овладев собой, презрительно ухмыльнулся Прохор.

Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день.

Прохор с Ибрагимом осиротели.

Ербохомохля — маленькое захудалое село. Есть деревянная церковь, но колокола ее давным-давно безмолвствуют: пятый год нету постоянного священника, лишь раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы, благочинный как следует дорвется до дарового угощенья и, весь опухший от вина, возвращается домой. А в народе—горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: «обман, мошенство».

Жители в селе Ербохомохле—старожилы. Предки их перекочевали сюда из Руси еще при царе Алексее Тишайшем, частью беглые от крепостного права, от солдатчины или осевшие тут казаки, что отвоевали когда-то земли сибирские. Теперь добрая половина жителей занималась звероловством, часть—допотопным способом ковыряла землю, что-то сеяли и были в полной кабале у суровой обманчивой природы. Остальная же часть, не малая, были отъявленные жулики. Они обманывали соседей, друг друга, отца, брата и кого придется, по преимуществу же беспомощных, простодушных тунгусов, в большом числе ежегодно собиравшихся сюда с богатейшими дарами тайги на ярмарку в день зимнего Николы. Приезжали на эту ярмарку и тароватые купцы из ближнего городишка, торчавшего где-то за полторы тысячи никем не меренных верст. Приезжал и сам господин становой пристав—око царево—и урядник, а то и пастырь на случай духовных треб.

В сущности это не ярмарка, а денной грабеж, разбой, разврат и пьянство. Почти никто не уходил отсюда цел душой и телом. Были изувеченные в драке, вновь испеченные покойники или принявшие лютую смерть от лютого мороза—оберет торгаш до нитки, даст в дорогу огненной воды—вина,—обтрескается тунгус, замерзнет, все следы скрыты. Были потерявшие от горя рассудок и на всю жизнь ставшие калеками, были награжденные дурной болезнью или чем-нибудь в том же роде.

Всяк уносил обратно в тайгу проклятия на русские порядки, на судьбу, на жизнь—эх, лучше б не родиться, будь прокляты мать с отцом!

Начальство же проявляет показную деловитость: кричат, распекают, пишут протоколы, грозят торгашам тюрьмой—актеры не без дарований,—в конце же концов, набив «в честь благодарности» торбы соболями, в веселых мыслях спешат домой.

Все это и многое другое Прохор узнал до тонкости от крепких, хороших старожилов, его книжечка с записями пухла—подшивал листки.

Он зашел к братьям Сунгаловым, почтенным старикам. Старшему—Никите—древнему, как седые волны, было сто шесть лет, что не мешало ему владеть крепкой головой.

Он сказал Прохору:

— Поезжай. Ежели планида у тебя счастливая, доплывешь. А нет, так и в лужине, браток, потонуть можно. Всякому свое указано.

Младший же, девяностолетний брат, которого Никита называл, по старой памяти, Спирькой, предостерегал Прохора:

— Скоро зима, мотри... Вот-вот и мороз хватит. Здесь самый сивер живет, самый студеный край наш... Паря, не шути.

— Теперя быстрина пойдет, подхватит шитик-то во как!—возражал Никита, выпрямляя свою сутулую широкую спину.

— Какая же, братец, быстрина? На перекатах еще туда сюда, ну а в плесах-то?

— Под-д-хватит,—стоял на совем Никита.—Ты, Спирька, трусу празднуешь.

Прохор спросил:

— А сколько считаете верст до устья?

— Тыщи полторы.

— Порогу, паря, берегись...—сказал девяностолетний Спирька.—Порог свирепый, живо в глыбь утянет, твой шитик в щепы расшибет.

— Река сама себя укажет, знай не зевай. На все воля божья, ничего,—и дед Никита пристально поглядел на Прохора побелевшими от старости глазами.

Ибрагим меж тем до поздней ночи ходил из избы в избу, искал проводника. Но ни один человек плыть не соглашался:

— Какая неволя? Лучше дома умереть, чем на прямую погибель ехать.

Ибрагим давал сто рублей, давал двести, но все упорно отвечали:—Нет.

Ибрагим изрядно приуныл.

Ночевали на земской, а шитик караулил нанятый за стакан вина пьющий мужик. На дворе по-осеннему холодно, ветер завывал в трубе, и стекла от кипящего самовара сразу запотели. Путникам приятно было сидеть в теплой избе, укрывшись от непогоды.

— Может, последнюю ночку так,—грустно сказал Прохор.

Ибрагим молча, сосредоточенно пил чай и вытирал потную лысину грязной тряпицей.

— Ты, Прошка, не захворал ли?

— Нет,—ответил Прохор,—а так чего-то...

Он вспомнил о доме, о родителях. Захотелось приласкаться к матери,—она так любит его, так бережет, угощает малиновым вареньем... С каким бы удовольствием с'ел он хорошую долю сладкого пирога с густыми, густыми сливками, или тарелки три киселя из облепихи. Так наскучили эти сухари, эта рыба, это оленье мясо, все одно и то же, сегодня, завтра. Разве бросить все к чертям? Нет, взялся за дело—делай.

Ветер толкался в утлые рамы, плохо вмазанные стекла уныло дребезжали и попискивали, как издыхающие комары.

— Ты, Ибрагим, о чем думаешь?

— Ни о чем.

На самом же деле думы Ибрагима были мрачны. Его охватило сомнение. Куда плыть, зачем? Ведь впереди ни одного жилого места, безлюдье, дичь. Кого же Прохор будет там расспрашивать? Это шайтан, а не отец! Зачем он послал сына на такую явную погибель?

Лампа горела тускло. На печи сидел жирный кот, от безделья он умывался и посматривал на незнакомых желтыми, как осенние листья, глазами. Вошел, пошатываясь, босой мужик-хозяин. Черный, лохматый, растрепанный, словно после драки. Он рыгнул, поскреб поясницу, сел на пол и стал что-то говорить. Но во рту будто каша,—мямлил, и выговор он имел странный: скалы называл «школы», «сохатый шол» у него звучало: «шохатый сол». Гнусаво и тягуче рассказывал про медведей, про их повадки, как охотники запи-

рают медведя в берлоге елками, срубят небольшую елку да в берложий лаз и всунут, а медведь сгребет елку да к себе, еще сунут—он опять к себе.

— Вшо к шобе, да вшо к шобе...

— Пошел вон!—желчно крикнул на него черкес.

Мужик поскреб с ожесточением обеими руками лохмы, раскачался, встал и, рыгнув на всю избу, вышел.

Ложась, Прохор сказал:

— Давай загадаем, Ибрагим. Если завтра солнышко будет—поплывем. А нет, назад вернемся.

Ибрагим согласился, но прибавил:

— Ежели назад, зима ждать надо.

Прохор знал, что обратно отсюда нет иной дороги, кроме водного пути, а берегом не проехать даже и «на верших», как здесь называли заседланных коней, потому что многочисленные, быстрые притоки Угрюм-реки не имели паромных переправ, да жители в них и не нуждались. Куда им ездить, что смотреть? Весь мир для них—своя собственная деревня, непроходимая тайга, болото. Кругом простор, и нет простора: ноги крепко вросли в землю, душа без крыл.

«Удивительно живут люди, камни какие-то, пни»,—размышлял Прохор, засыпая. Его юная душа вся в желании жить, видеть, узнавать. Он вдоль и поперек из'ездит всю Сибирь, всю Россию... А может и весь свет. Но когда это, когда?! Он потрогал пробивающиеся усы. «Чорт его знает, только семнадцать лет еще... Мало как...».

Однако, мечтам нет дела, что он юн—влекут его по волшебному пути, усыпают путь цветами: то он мчится на собственном автомобиле в Америку, то правит океанским пароходом, бьет китов, тюленей или—вот потеха!—он Дон-Кихот, Ибрагим—Санчо Пансо, оба, закованные в латы, яро бьются с шайтанами, чертями, со всей таежной нечистью, они освободят красавицу Синильгу от мертвого дьявольского сна и повезут ее, живую, веселую, унизанную скатным бисером в хрустальный свой чертог. А дальше, а дальше? Что же дальше?.. Спальня. Обои в спальне красные. Лампа-молния с красным стеклом. Огонь в лежанке красный. И Синильга, маков цвет, тоже во всем красном. Кровать широкая двуспальная под золотым парчевым красным пологом. Горы краснобархатных подушек и одеяло ярко красное... Прохору душно. Прохору жарко. Красная кровь захлестнула красными волнами душу, душа вспотела, распалилась. Хочется Прохору сорвать одежды с красавицы Синильги, скорей, скорей!.. А что же дальше? Свадьба. Шумный пир. Гости кричат: «горько, горько!». Гости ждут. Прохор наклоняется к Синильге: «Таня!»—«Нет, Синильга! Я шаманка, могу кем угодно быть». Вот грохнула в честь их пушка, потом трескучий барабанный бой.

Прохор открыл глаза и не мог сообразить, где он. Было темно, душно и пахло дрянью. В ногах, к нему мордой, сидел кот, глаза его полыхали. Ибрагим громко, заливчато храпел с каким-то злобным отчаянием.

А сон еще не кончился, сон бушевал в молодой крови. Синильга возле, тут, и полуоткрытые губы ее ждали поцелуя. Вдруг—снова пушка. Прохор захохотал и ткнул Ибрагима в бок:

— Спать мешаешь!

Вспомнив наказ Фаркова, Прохор перекрестил изголовье, сам перекрестился—лег.

— Эй, вштавайте, шамовар вшкипел!

Путники враз вскочили.

— Солнышко!—вскричал Прохор.—Гляди-ка, Ибрагим!.. Значит, едем.

— Верно твоя,—грустно сказал черкес.

— Погодье шамо шладко,—прошепелявил лохматый, обросший мохом лесовик-хозяин,—жнай плыви да плыви.

Путники почаевали и быстро к шитику. Небо безоблачно и тихо. Играл золотом крест на церкви, дрались два петуха—красный с белым—бороды и гребни их расклеваны, капли крови горели под солнцем, как рубины, через дорогу степенно шествовал, мечтательно похрюкивая, боров, он весь заляпан жидкой грязью и блестел, как крытый лаком. Навстречу шла за водой тетка. Жестяные ведра ее сияли и казались сделанными из стекла.

— Нажад паря, нажад!—заорал провожавший путников хозяин,—айда в проулок!

— Почему?—удивился Прохор.

— Ешли баба вштречь—пути ня будя..

Путники повиновались: пусть все благоприятствует их удаче. Хозяин об'яснил им, что зловредней бабы никого на свете нет. Вот попробуй-ка встретить ее, когда идешь в тайгу на промысел. Ни с чем вернешься, а то и на зверя «натакашься». Но баба может и помочь. Пусть она станет в дверях да распарашит ноги, а ты с ружем промежду ног-то на карачках и ползи, очень пользительно таким же манером и главную собаку протащить.

Хозяин попробовал улыбнуться, но, вместо того, скривил кислую, шершавую, как старый веник, рожу и чихнул.

У шитика человек с десяток зевак. Пьющий мужик—караульный в шубе, в пимах и шапке с наушниками—терпеливо прел, и рыжая борода его на солнце пламенела.

Шитик круто взял к фарватеру, заскрипели весла, недовольно забрюзжала сонная вода.

— Ну, Прошка... Куда едем? Знаешь, куда?

— Нет.

— И я нэт. Очень хорошо.

Но река здесь глубока, раздольна, за селом их подхватил стрежень, вперед летели без запинки, а солнце напутствовало их ласковым теплом. Лицо Прохора вскоре прояснилось, глаза горели несокрушимой верой в себя, ему уже грезился радостный конец пути, хотя это было всего лишь скрытое неизвестностью начало. Так легковерный пахарь, бросая в землю зерно, обманно чувствует пряный запах свежих караваев, он облизывается, поводит челюстями, глотает слюни, но вот слепая длань природы пошлет на его полоску град, и брюхо пахаря всю зиму пусто.

— Хорошо, Прошка. Ух, как прет!

Взглянув Ибрагиму в лицо, Прохор почуял нутром, что глаза черкеса говорят другое, и ничего ему не ответил.

Над водой курился пар; солнце с утра сосало воду. К полудню солнце было горячее, летнее, видно, сбилось оно со счету в днях, остановило на мгновение бесконечность, попятило раком утлый шар земли, и все это ради них, ради этих двух, плывущих.

Но Ибрагиму достаточно понятен этот полный жестокого коварства замысел.

— Ты помнишь, Прошка, как Фарков на большой муха... Как она? Слепень? Ну, ну... как он карасей ловил? А? Карась, знаешь кто?

— Не знаю.

— Мы. Один да другой.

— А слепень?

— Не знаешь, что ли?—и углы губ Ибрагима полезли вверх.—Во!—ткнул он веслом в солнце.

Прохор недоумевающе хлопал глазами.

— Ишак!—рассердился Ибрагим и фистулой внезапно закричал:—Камень, камень, камень!!

Шитик ударился бортом о подводный валун, над которым чуть взмыривали волны, качнулся вбок и, слегка раненый, поплыл дальше.

— Правь верней, чего зеваешь!—крикнул Прохор.

Но дальше пошло спокойное плесо, зато и шитик стал подвигаться медленно.

— Кто это? Эй, Прошка?—шевельнулся в корме черкес и мотнул головой на дальний берег.

Настигая путников, мчался берегом белый всадник. Он взмахивал руками и что-то кричал. Прохор бросил весла.

— Стой, стой! Пожалуйста погоди-и-и...— смутно доносился голос.

— Давай к берегу,—сказал Прохор.—Может, что забыли, —он ощупал карманы: бумажник, книжка тут.

Прохор в белом всаднике узнал столетнего Никиту Сунгалова. Древний старец кое-как скатился со взмыленной лошади и врастяжку пал на землю.

— Ой, свет из глаз.

Белые порты и рубаха насквозь пропотели и прилипли к телу, лицо красное, словно старик выскочил из жаркой бани, рот жевал, глаза ухнули под лоб. Пока Прохор доставал из сундука спирт, старик поднялся. Глоток спирту оживил его.

— Соколик мой, человек хороший,—сказал он Прохору и вытащил из-за пазухи кожаную мошну.—Было совсем из ума выжил, ох ты, Господи... Ведь мимо монастыря побежишь-то ты... Так, так... Ну, так вот тебе десять рублев, дружок. Закажи там монахам сороковуст. Пусть поминают Микиту... Меня Микитой кликать-то. А фамиль не об'ясняй. Богородица и так знает, что за Микита за такой. Одначе, впрочем говоря, напиши, мол, раб божий старец Микита Сунгалов, из казацкого роду. На всяк случай чтобы... А то в Оськиной тоже Микита недавно помер, в годе меня-- старый пень.

Путники с умильным удивлением смотрели на него:

— Да ведь ты живой!—воскликнул Прохор улыбаясь.

— Горя мало... В Покров умру,—спокойно сказал старик.—Матерь моя приходила за мной: «В Покров, говорит, я тебя, сынок, покрою, приготовься». А просвирку-то купи, малый, самую большую, за пять алтын, либо за двугривенный. Теперича плывите с богом... Ну-ка, подсади меня.

— Что ты, дедушка Никита,—слезливо сказал Прохор, помогая ему взобраться на лошадь.—Еще встретимся с тобой.

— Это верно, что повстречаемся. Только не на земле, браток... Господь тебя благослови, Господь тебя благослови. Плывите, не страшитесь, реку не кляните, она вас выведет. Река—что жизнь.

— Отдохнул бы...

— Я шажком теперича, тихохонько... Плывите, провожу я...

Белый дед долго виднелся на зеленой хвое и крестил широким крестом плывущую ладью.

Еще четыре дня подвигались путники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи—звездные,с крепким инеем; путники стали мерзнуть. Прохор ложился спать не раздеваясь. Ибрагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней.

День стал короток, вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собою все кругом: плыть становилось невозможно, и путники, измученные беспрерывной работой, все-таки принуждены были урывать и сна часы. Они подымались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, не пыльной, не тряской, единственной: все пути земные навек приговождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движеньи, даже мертвецки спящего умчит он на своей груди: почивай, проснешься в океане.

Угрюм-река повернула от Ербохомохли на закат.

На пятые сутки седым глубоким утром путники враз, словно по уговору, оторвались от сна и ахнули: была зима.

Густым ковром лежал повсюду снег, плешивые сопки нахлобучили белые колпаки, и тихое плесо, где стоял шитик, в одну ночь сковало льдом. Над головами клубился холодный туман он плыл неторопливо от таежных дебрей к бледному, еще не закатившемуся месяцу.

— Прошка! Что же это? Цх...

Прохор не сразу пришел в себя. Его ошеломил этот внезапный переход от солнечных, почти летних дней к зиме, и все, что видел он теперь перед собою, представилось ему большим погостом.

— Вот так уха!—присвистнув, протянул он, стряхивая со своей бурки, под которой спал, целые сугробы снега. Развешанная у потухшего костра волглая от вечерней росы одежда была тверда, как кол.

— Есть хочу... Разводи костер,—спокойно сказал Прохор.—Не бойся.—Он зябко вздрогнул, схватил топор и со всех сил принялся рубить смолье. Кровь быстро потекла по жилам, и еще не окрепшая тревога схлынула.

— Как ехать? Лед кругом...—сказал черкес.

— Ерунда! Где наша не пропадала.

Черкес любовно посмотрел на него.

— Молодца, Прошка! Пойдем мордам умывать.

Прохор взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло, стрелами во все стороны сигнули щели, даль отозвалась веселым эхо.

— Давай бороться!—неожиданно вскричал, улыбаясь, Прохор.

И оба, сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гогоча, барахтались в молодых сугробах, облаком вздымая снег.

— Смэрть или живот?!—кричал черкес, брякнув Прохора на обе лопатки.

— Жрать! Каши!

— Вари, а я пойду.—Ибрагим взял наметку и быстро зашагал вдоль берега.

Утро просыпалось. Туман исчез. Месяц истекал последним светом, побледнел. Подслеповато щурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заалел.

— Эге, отлично,—сказал Прохор.—Солнце.

Бодрым треском трещал костер, весело клубился дым, куски сохатиного сала таяли в каше, шел сытный дух. Прохор то и дело бегал от костра на шитик, стребал там снег, стряхивал брезенты, околачивал обледенелые весла и багры.

Огромное, тихое, прикрытое ледяным стеклом плесо стало помаленьку облекаться в багряный цвет: лучи показавшегося солнца плавно скользили по глади льда, еще немного—пар пошел.

— Ерунда,—сам себе улыбаясь, сказал Прохор, солнце играло в его черных молодых глазах.

Каша была вкусная. Жмыхало в ней сало. Круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами.

— Далше чисто! Быстерь!—размахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору черкес.

— Быстро?

— У-у... Валом валит!..

С треском ломая лед, шитик медленно прокладывал себе дорогу. Работа была тяжелая. Руки устали взмахивать грузными баграми, градом струился пот, мозоли на ладонях кровоточили.

Солнце ленилось, лед упорно противостоял его косым лучам. Лохматый мороз прятался в белых куржаках тайги. Мороз, как заговорщик, плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием. День перевалил за половину, а половина плеса была еще далече.

Прохор с сердцем бросил багор, сел на скамью и закурил папиросу. От первой—закурил вторую, от второй—третью. В глазах позеленело.

Ибрагим тоже бросил работу, подбоченился. По локоть голые мускулистые руки его дымились паром, большой крючковатый нос печально повис, как у индюка, углы губ потянулись к ушам, обнажив свирепо стиснутые зубы:

— Цх!

Обменявшись взглядами, они молчаливо поглядели назад, где чернела пробитая во льду траурная дорога и, вздохнув, молча принялись за работу.

Приближался вечер. Страшно хотелось есть, все тело ныло от дьявольских усилий, но медлить некогда, надо заслужить отдых, надо на чистой быстрине праздновать победу.

Солнце уходило на покой, коснувшись остывшим краем темной бахромы лесов. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул.

— Урра!!—закричал, что есть силы, Прохор, когда шитик, порвав последнюю цепь ледяного плеса, быстрым ходом заскользил вперед.

Река шла все еще на запад, лучи солнца ударяли в глаза путникам, мешали верно править: шитик летел вслепую. Река была мелка, ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая с шумом перекатывалась течением. Дно шитика скороталю и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстр, податлив, но опасность грозила ежеминутно.

А вот и остров. Мрачной черной скалой, одетой в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос. Вправо открывалась широкая матерая протока, влево—едва виднелся узенький, поросший кустарником рукав.

Ибрагим повел шитик в матерую. Чрез добрый час, когда уже надвинулись сумерки, шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом. Пришлось на мели заночевать.

Ночи не было, был миг. Проснулись оба, удивились: да полно, спали ль? Как-будто только что легли. Но нет, уже появилось солнце, и снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как и вчера, быстро скользила мимо шитика, впереди играли беляки.

— Сначала найдем, Прошка, ход... Выплывем на глыбь и—к берегу. Тогда горячий чай напьемся... Холодно.

Посиневшие, голодные, оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Иззябшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно: впереди ходу нет, река замыкается сплошной песчаной мелью, чрез которую еле переливает

тонкий слой воды. И так версты на две, на три. Что ж делать? Значит, вчера ошиблись ходом, надо было брать в узенький рукав.

— Леший ее знал... Бэз чалвэка. Прошка, пропадем...

— Пропадем. Дальше все острова виднеются. Без плана трудно. Карты такие большие есть, где все срисовано, называются—планы.

— Понимаю,—сказал Ибрагим.

После торопливого всухомятку завтрака с большим трудом сняли шитик с мели и, со всех сил упираясь баграми, стали тихо подыматься вверх, назад. Только под вечер пришли они к носу острова, который так же злобно, как и в прошлый день, смотрел на них трауром черных и белых пятен.

— Чорт знает, весь вчерашний труд пропал задаром,—закусил дрожавшие губы Прохор и с досадливой тоской взглянул на пробитую в плесе ледяную дорогу: ее вновь сковал мороз.

— Надо стрелой лететь, тогда выйдем... А мы двадцать верстов вперед, пятнадцать назад... Тьфу!—плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки.

— Надо по двести верст в сутки пропрывать. Надо день и ночь плыть, Ибрагим.

— Мало ль чего надо!—крикнул черкес.—Дома надо сидеть!.. Куда чорт понес!.. Не шутка.

— Давай сделаем очаг на шитике, чтоб к берегу не приставать.

— Хоть бы какой шайтан встретить... Ни тунгус, ни чорт нэту. Тьфу!!

Левая протока, куда направили шитик, стала постепенно расширяться, она быстра и глубока.

— Какой хитрый,—сказал Ибрагим, бросив весла: шитик самосплавом ходко подавался вниз.

— Кто хитрый?

— Кто вода!.. Маленький вода, гляди, какой большущий стал, большой вода совсэм вчера дурак. Поди, узнай...

— Гы, чорт... Слышь, опять шумит!

Впереди раздавался глухой рокот.

— Водопад в горах или порог?—тревожно прислушивался Прохор к нараставшему шуму.

Бессильное солнце садилось в тучу, сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь. Где-то близко октавой промычал сохатый—лось.

— Гуси, Прошка, гуси!

Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготаньем низко тянул вдоль реки табун гусей.

— Эх, срэзать бы.—шепнул Ибрагим, захлебываясь древней страстью,—кунак, голубчик... Сюда, сюда!

Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над павшим в воду товарищем и с печальным гоготом помчался дальше, к югу.

— Он раненый! Догоняй!—кричал Прохор.

— Греби, греби!..

— Стреляй! Дай ружье!.. Дай сюда!!

— Греби, греби!!

Подбитый гусь уносился теченьем вниз, шитик настигал его, трещали весла, уключины скорготали, взвизгивали.

— К берегу, Прошка, к берегу!!—вдруг неистово завопил черкес. Порог!.. Алла! Алла!!..

Увлекшиеся путники, не слыша и не видя ничего кругом, нежданно очутились среди бушующих валов, в преддверии грозного порога.

— К берегу!!

— Пропали... Ой!

— Наляг, наляг!!.

С треском хрустнуло весло и—к чорту.

— Пропали!

— Новое, где новое?!!

Прохор вскочил и, схватив багор, сильными толчками в камни опружи-вал нос к берегу. В корме, стиснув зубы и весь побелев от напряженья, пыхтел черкес. Волны хлестали в борты лодки—вот вот опрокинут. Впереди, как сто зверей, люто ревел порог.

— Еще-еще-еще! Наддай!!.

Второе весло—хрясь! и—к чорту. Но бой кончился: шитик вошел в тихую заводь и, весь пропитанный духом борьбы, передавшейся ему от живых существ, победоносно пробивался к берегу.

— Фу-у-у...—протянул взмокший, дрожащий Прохор. А Ибраим только посвистал и крепко с плеча выругал и уплывшего гуся, и порог.

В них обоих еще горел момент борьбы, момент прилива сил, глаза полыхали, быстрым бегом била во всем теле кровь. Но когда все внутри их стало затихать, Ибраим и Прохор с трепетом подумали о только что минувшей схватке с Угрюм-рекой и ужаснулись.

— Прошка, а если бы перевернуло нас?.. Что бы? А?

— Выплыли бы.

— Это худо. Надо утонуть. Что жрать стали бы? Где сухари, где все? Ой-ой, Прошка.

— Да-а-а,—протянул в тупом раздумьи Прохор и после короткого роздыха сказал:

— Обедать надо... Два дня не ели как следует

— Никакой ни обед... К свиньям обед!.. Плыть надо... Тут сдохнешь . Пойдем порог смотреть.

Прохор умоляющее взглянул на Ибраима, тот, сдвинув брови, зло сопел. Прохор понял, что надо подчиниться.

Огромные валуны на берегу покрыты снегом, скользки. Прохор провалился меж камнями, упал, едва не сломав ногу. А вот и начало порога. Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода сверкающей гладкой, без взмыров массой. Образовав саженный водопад, она с грохотом мчалась дальше, сразу поседевшая, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчавшие из воды камни. Вода кипела, злилась, грохот и рев стояли неописуемый. Прохор кричал Ибраиму, Ибраим Прохору, но ни тот, ни другой не могли расслышать даже своего собственного голоса.

— Вот тот камень самый страшный! На самом бою! Надо испытать!—кричал Прохор, показывая на зеленый каминище: раз'яренная вода скатывалась с него седыми кольцами, как с огромной, приподнявшейся над бурлящим потоком башки чудовища.

— Прошка! Тот камень—смэрть!!—беззвучно кричал и Ибраим, швыряя булыжником в тот же камень.—Не миновать его.

Он взял обрубок дерева и спустил в самый слив. Обрубок быстро заскользил по водяной горе, захлебнулся пеной и с наскоку долбонул торцом в лысый камень.

«Так нельзя, надо левее плыть»,—подумал Ибраим и спустил вторую чурку, полевее. Но и она в водовороте помчалась к камню. Прохор понял опыт Ибраима и тоже стал пускать поплавки. Все струи бешеного течения били в камень: куда бы ни спустили чурку, она неизбежно неслась, как к магниту, к зеленой плеши чудовищной башки.

Обескураженные, печально поплелись к шитику.

— Что ж делать?

— Плыть,—сказал Ибрагим твердо.—Зимовать что ли тут...

Выбора не было—где плыть. Один путь: в широкое хайло смерти. Вопрос, когда совершить самоубийство: немедленно, на пустой желудок, или сначала наесться доотвала и в завершение пуститься в смертный бой. Пусть он будет последней чарой пряного вина, отравленного сильным ядом.

Но когда дух взвинчен и рвется к победе, к гибели, в неизбежный бой—плоть безмолствует: у путников вдруг исчез алчный пред этим аппетит.

— Кончено, едем.

Ибрагим поддерживал в Прохоре возбужденную предстоящей схваткой бодрость, называл его джигитом, отрывочными, нескладными фразами рассказывал о тех опасностях, которым ежеминутно подвергается горный, на Кавказе, житель. А постоянные набеги, стрельба, удар кинжалом в грудь. А знает ли Прошка месть, кровавую месть на Кавказе? О, штука страшная, не этому паршивому порогу чета. Из рода в род.

— Ничего, джигит, нэ робей. Нэ умрем... Целы будэм!

— Я знаю, что не умрем, выплывем.

— Молодца, джигит!.. Всегда так... В бою чалвэк спеет... как... пэрсик. В двадцать лет орлом будышь. Ничего, джигит... Молодца. Кынжал, как закаляют, знаешь? В огонь да в воду—жжих!.. В огонь да в воду... Так и чалвэка надо... Крэпка будышь, сильна будышь!

Прохор глубоко свободно дышал, глаза его все еще горели, и жег щеки молодой задор. Он внимательно любовно слушал Ибрагима и проникался к нему уважением, как к отважному герою.

— Вот только продукты... Мало их у нас. Недели на две, на три,—сказал он.—Может, перенести их за порог? А то вдруг опрокинемся.

— Ерунда,—резко оборвал его черкес.—Нэ надо думать. Будышь думать—утонешь, нэ будышь думать—нэ утонешь. Цх!

Вечер угасал. Кругом неуютно, одиноко, холодно. Порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга.

От неумолчного шума и гуденья у Прохора кружилась голова, замирало сердце. Но опьяненная душа его—на крыльях.

Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился. С шитика, все более и более увлекавшегося течением, буруны волн казались огромными, страшными. Как могилы на заклятом погосте, они росли, проваливались, вырастали вновь.

Заря была холодная, желтая. И кругом было жутко: холодный погост, холодные могилы, смерть. Шитик от страху закрыл глаза, незряче мчал вперед.

— Простимся, Ибрагим... На всякий случай... Прощай, Ибрагим...

— Зачэм прощай!.. Здравствуй!

— Прощай, Ибрагим!

— Джигит!..

И все потонуло в грохоте. Ярко вспыхнула заря на небесах. Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая закувыркалась, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле.

— Греби, греби!!

— Ух-хх!

— Молись Богу!

— Право держи!!

Крики, грохот, гул. Конец.

ГЛАВА XII.

ПОЧЕМУ ВДРУГ ЗАНЫЛО У АНФИСЫ СЕРДЦЕ? МОХНОРЫЛЫЙ МИСТИК. «ЗЕРКАЛЬНАЯ» ПРИМЕТА. ОТЕЦ ИПАТ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ. «РРАЗУВАЙ!».

Кажется, время было бы Прохору и весточку о себе подать, ведь на санях уехал, чуть весна обозначаться в небе стала, а теперича белые мухи закружились, вот-вот Покров придет. Время бы Прохору до Крайска-города добраться, а там, сказывают, по струне стафет во все концы сигает, стало быть, и в здешний городишко можно бы стафет прислать. Ездил в город за стафетом приказчик Илья Сохатых, ни с чем вернулся: лишь красного сафьяна на сапоги себе привез да маскарадных, к святкам, харь.

Так думала о судьбе своего сына робкая, забитая Марья Кирилловна, скучало ее материнское сердце, и сны она видела недобрые. Кусок не лезет в горло, похудела, вот все бы сидела да и думала о нем, о ненаглядном Прохоре: где-то он, где-то бедная его головушка, в этакую страсть поехать, да еще с каким-то черкесом неумытым.

А отец, Петр Данилыч Громов, что ему?.. Гулеванит себе во здоровье с Анфиской подлой, сорит деньгами. В открытую теперича пошел.

Две раны в сердце Марьи Кирилловны:

— И как тебе не стыдно, Петр Данилыч?.. До седых волос дожил, а сам... Обидно ведь...

Но другая рана горше—день и ночь огнем горит:

— Сын, Прошенька... Жив ли?

— Ты вот сладкой наливкой меня чествуешь, а что в сердце моем—не примечаешь,—говорил Петр Данилыч темным сентябрьским вечером, попивая чаек в накладку у любезницы своей Анфисы Петровны Козыревой.

— Твое сердце с перцем,—играючи, погрозила Анфиса своим мизинчиком и засмеялась.—Хитер ты больно, впустую хочешь со мной сыграть. Смотри, не из таковских я. Ни с чем от'едешь.

— Пригожа ты, а ум у тебя, как у кошки у слепой. Я про сына речь веду. Понимаешь, нет?

— Как не понять, не понимаю. Хи-хи-хи...—и вдруг вся изменилась, кольнуло ей что-то в сердце, помимо воли, так, налетело неведомо откуда, вдруг.—Ты про сына речь ведешь? Да уж сын ли он тебе? Да, полно, не подкидыш ли?

— Чего такое?

— Неужто своего сына кровного послал бы на погибель? Ведь на погибель, а, Петруша?

— Молчи,—утрюмо сказал Петр Данилыч, глядя на ее губы, на ее беспечальные, внезапно загрустившие глаза.

И оба пили чай молча, наливку пили молча, ни слова больше, трудно говорить.

Домой ушел Петр Данилыч не простившись. Ночь была. Под ногами, как тонкое стеколышко, болюче потрескивал новорожденный ледок на лужах, и сердцу отцовскому становилось больно.

Анфиса же долго мучилась бессонницей. Всю ночь сама себя спрашивала и не могла ясный ответ сыскать: почему вдруг заныло ее сердце, почему милый мальчик на мысли всплыл неведомо откуда, так вот, вдруг?

И запомнила она этот вечер, эту ночь странную, и не хотела бы запоминать, но помимо ее воли, не спросясь ее, велел кто-то запомнить на всю ее, Анфисину, неспокойную жизнь.

— Жив ли?

Ночевал в эту глухую ночь в доме Громовых какой-то вшивый бродяга Иван Непомнящий. Пожалуй, и не пустила бы к себе за порог такого гостя Марья Кирилловна, да приказчик Илья Сохатых с купеческой кухаркой, краснощекой Варварушкой упросили—пусти да пусти, может, он в самых тех краях слонялся.

Бродяга, что монах, сытно поесть на дармовщинку любит. Бражничал на дармовщинку бродяга бородатый за поздним ночным столом, чавкал жареную на бараньем сале картошку, мамонил пшеничный каравай и хриплым, пропитым голосом повествовал сидевшей на лавке, в грустной позе, Марье Кирилловне:

— Как же мне, барыня-сударыня, не знать? Я все знаю до тонкости. И тунгусишек знаю. Тунгус, что зверь... Орда, и больше никаких. Он смирный-смирный, а тут нападет на него блажной стих, возьмет да и пристрелит.

Марья Кирилловна испуганно качает головой.

— Неужели ты в самых тех местах был, на Угрюм-реке?

— В тех не в тех, а около. Кха-кха!

— Не подавись, нажрешься... Куда спешишь?—засмеялся пришедший на беседу из своей маленькой комнатки веснущатый Илья Сохатых.

— Кабы бражки чуток,—прохрипел бродяга,—рассказал бы я вам один случай... Кха!

Сходила Марья Кирилловна в свои покои, поставила пред бродягою стакан вина.

— Лет пять тому,—начал Иван Непомнящий, жадно проглотив огненную жижу,—вот в роде, как твой сын, поехал купец с товаром в тайгу и подручного прихватил с собой. Дело. Уехал, как в воду канул, и теперича все ездит. В третьем годе проходил я в тех местах, слышал—нашли будто охотники костер, а в костре два шкелета. Дело. Надо полагать, это торговые и есть. Вот тут как... Кха!

— Царство небесное,—перекрестилась набожная хозяйка.—Как же это их, за что же?

— За горло, мать, барыня-сударыня... За машинку! Сперва одного в костер башкой, а тут и другого тем же побытом...

Марья Кирилловна скорбно посмотрела с мольбой на потемневшую икону, а Илья Сохатых крикнул:

— Брехун ты, братец мой, бестия!.. Я сам из тайги. Поболе твоих тунгусов знаю. Только людей зря пугаешь, мохнорылый.

Бродяга в горячем споре клялся и божился, лез целовать икону и в такой азарт вошел, что начал явную нелепицу нести: чуть ли не сам он помогал тунгусам купцов в костер кидать.

Варварушка хохотала, Илья кричал:

— Вот ужо хозяин приедет, он те, бестия, накостыляет! Мистик какой, дьявол...

Однако, мохнорылому этому бестии Марья Кирилловна поверила нутром и всю ночь не могла отделаться от нервного беспокойства, охватившего ее: всю ночь стоял пред нею, в мыслях, Прохор, сын, и говорил ей: «молись, матушка, молись, мне тяжко».

В своей спальне, невеликой комнатке, пропахшей ладаном, богородской травой и водкой,—проспиртовавшийся Петр Данилыч, по случаю холодов, перекочевал с террасы на покой сюда,—Марья Кирилловна зажгла лампадку пред богатым, уставленным серебряными иконами киотом и усердно, в больших слезах молилась Богородице и апостолу Прохору—да сохранят во здравии страждущего и путешествующего:

— Эй, Господи, помоги, услышь!

А в кухне троица, бродяга с Ильей Сохатых да стряпуха, лишь заперлась на всю ночь Марья Кирилловна, стали бражничать: чай да наливка, у Варвары в печке купецкий пирог стоит, сам-то вряд ли будет есть, поди сам-то на карачках от своей крали приползет, тьфу, тьфу!

Показывает приказчик запретные карточки; хохочет бродяга, Варварушка голосисто заливается. Илья Сохатых анекдотец забористый расскажет, бродяга пуще загнет—уши вянут—шум, хохот, наливка к концу идет.

А чрез стену Марья Кирилловна шепчет не переставая:

— Богородица, сохрани... Заступница, избавь...—и ноет-ноет ее сердце.

Утром в столовой ни с того ни с сего настенное зеркало пополам треснуло. Пила в это время Марья Кирилловна чай, самовар пары пускал. Но и вчера, и целый год самовар пары пускал на зеркало, а вот сегодня:

— Умер!! Батюшки мои...—побелела Марья Кирилловна да скорей на кухню:—Варварушка, матушка... Знать-то с Прошенькой неладно... Зеркало треснуло напополам... Боже мой, Боже!

У стряпухи с наливки голову разносит. Не разобрав, в чем дело, завыла стряпуха в голос:

— Уж ни стафет ли черный сиганул к тебе в окно... Ой-ти мнешеньки...

— Зеркало напополам... Поди-ка, взгляни скорей.

— Ой-ти мнешеньки!.. И чего же мне глядеться-то?.. Только по рюмочке и выпила... Я за компанство... Уж извините... Бродяжка все...

Посмотрела на нее в упор сквозь слезы Марья Кирилловна, принюхалась к винному угару и, махнув рукой, в печали вышла. Накинула турецкий полушалок да к отцу Ипату, священнику.

Отец Ипат вставал до свету, он уже позавтракал тертой редькой с квасом и теперь, рыгая и посвистывая на веселый лад, мастерил под навесом ульи. В работящих руках пила визжала, белая крупа опилок падала на валеные сапоги, на отвердевшую под утренником землю.

— Зело борзо,—кратко заключил отец Ипат тревожную речь купчихи.—Что ж, можно и обедню... Отчего ж нельзя? А панихиду ты брось. Ни к чему это... О здравии надо.

Потом, наклонясь к самому ее уху, хотя возле никого не было, отец Ипат, улыбаясь живыми глазами, тихо заговорил:

— Вьюнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой... Не ладно чего-то... Уж очень он яро принялся. Соблазн.

Марья Кирилловна вынула платок и засморкалась.

— Знаешь что?—продолжал отец Ипат.—Только ты ни гу-гу. С-глазу-на-глаз с тобой мы. Жаль мне тебя, Кирилловна.

— А что же, батюшка?

— Ведь сам-то,—совсем тихо стал говорить отец Ипат,—сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди... Не плачь, ради Христа... Ну, да это ему не удастся... Врет! Законы у нас на этот счет крутые: «Аще Бог сочетал, человек да не разлучает». А все-таки упреждаю. Ухо востро держи.

Не старые, совсем еще не старые ноги Марьи Кирилловны,—ей всего тридцать шестая осень шла,—подгибались по-старушечьи, когда брела она домой от отца Ипата. В душе копилась злоба, но душа ее подобна решету, вся злоба иссякала тут же, вместе со слезами, лишь горе оседало на донышко, капелька по капельке росло, росло.

Подошла к дому, смотрит: два мужика ведут в крыльцо под руки пьяного Петра Данилыча.

— Господи, ни свет, ни заря!—всплеснула Марья Кирилловна руками.

— Это со вчерашнего,—улыбаясь рыжей бородищей, пробасил Силантий, растреклятой Анфисы сосед-шабёр.

— Эх, Петр Данилыч, Петр Данилыч,—укорчиво начала Марья Кирилловна, когда вдвоем осталась с мужем.

— Ну! Заныла зубная боль.

— В доме зеркало треснуло, погляди-ка... Примета самая худая... Прошенька-то наш, Господи...

— Молчать!—крикнул Петр Данилыч, покачиваясь среди комнаты.—Не в Прошеньке тут дело... Вот ты-то когда сдохнешь, зубная боль, ты-то?!

— А что я тебе, поперек дороги?

— Да! Прочь с моей дороги! Ух, ты!—он замахнулся грузным стулом под чехлом, Марья Кирилловна выбежала вон, и купец со всего маху пустил стул в зеркало:

— Нна!! Вот тебе твоя примета!

И под звон посыпавшихся осколков крикнул:

— Водки! Огурцов! Эй, Илюха!

Приказчик, как из-под земли, вынырнул из коридора и, услужливо лебезя пред хозяином, повел его.

— Ты куда меня, в спальню?

— Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых, как в благородных воспитанных домах.

— Хе-хе-хе... Ну, ладно, Илюха... Ты молодец у меня. Ты признаешь во мне полного комерсанта? А?

— Господи, с такими капиталами?! Как же иначе может быть? Вы и в нашем городу были бы без малого первым... Пардон...

Купец, самодовольно оглаживая бороду и прикрякивая, сел на кровать:

— Раззувай!..

Приказчик подобрал манжеты и с брезгливой миной, которую он старался скрыть в масляной улыбке, стал стаскивать измазанные свежим навозом салоги.

— Ишь ты, кудряш какой. Ты, Илюха, счастливый... Кудрявым, говорят, везет.

— Вполне ясно, Петр Данилыч... Ужасно мне везет. Пардон.

— Та-ак. С Покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой антирес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить! Понял?

— Мирси. А в чем же ваш интерес будет состоять?

Хозяин поднял на него припухшие глаза и хрипло засмеялся:

— Так я тебе, дураку, и сказал. Не маленький, поди. Можешь сам догадаться. Эх, ты, раскудрявая твоя башка со вшами.

— Мирси,—ухмыльнулся Илья, вытирая о ковер испачканные руки.—Больше ничего не изволите вторично приказать?—и пошел к двери.

— Стой, погоди! Вот что: слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразись ученым манером, что так, мол, и так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что мол о сыне скучает... Нет, этого не надо... А что, мол, желает ей покойной ночи... Понял? Ну, как ты это все сопоставишь, а?

— А очень просто,—откашлялся Илья.—Его степенство, господин коммерсант такой-то, шлет...

— Т.-е. как: такой-то?.. Ах ты, сволочь...

— Дак это же, Петр Данилыч, только так говорится... Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться, осмеливаюсь доложить? Приказываете ска-

зать госпоже Козыревой покойной ночи, а теперича у нас самое настоящее утро, и снежок идет... Пардон...

— То-есть как утро? Что ты мелешь!

— Полный факт.

— Давай в таком разе сапоги... Надо магазин отворять.

— Что вы!.. Ложитесь спать... Вам требуется освежить все мозги сонным положением. А я, как Бог Саваоф, сейчас спущу шторы, и будет ночь.

— Хы, чорт какой... Ну, действуй, коли так.

Только приказчик за дверь:

— Стой, вернись!—вскричал купец каким-то поглупевшим, улыбающимся голосом.

— А что, Илюха, тебе моя баба нравится?

Тот вспыхнул и наморщил лоб.

— То-есть которая, Петр Данилыч?

— Дурак какой ты, Илюха. А? Ну, ступай теперя... И ежели апетит есть, ничего, действуй... Соблюдешь мой антирес, озолочу. А каков этот самый антирес, кумекай сам.

Оставшись один, Петр Данилыч то вздыхал, то улыбался. Взгляд его скользнул по образу, где помигивал в белой полутьме огонек лампадки, и купец вдруг засопел:

— Прошка, голубь!.. Спаси тебя Христос.—Чрез все его лицо катились слезы.

ГЛАВА XIII.

ВЕТЕР. «ПЛОХО, ПРОШКА». ПЛЕННИК. САМЫЙ ТЕМНЫЙ УГОЛ ШИТИКА.

В два ясных дня согнало с берегов весь снег, и Угрюм-река синела под солнцем холодным блеском.

Путники все еще не могли изжить того острого ощущения, что, словно ножом, полоснуло их при спуске чрез порог.

— Жжжи!—и нету,—улыбался Ибрагим.

Все еще в ушах мерещился рев диких волн, и неостывшие души путников были под обаяньем чуда.

— Напролом пойдешь, всегда цел будешь. Забоишься—пропал твоя...—поучал черкес.

Солнце и торопливая быстрина реки делали свое дело. Вера в успех была очевидна. Что ж, еще каких-нибудь недели три и—город Крайск. Чорт возьми, как все-таки хорошо, как радостно жить на свете!

— Хватит ли нам припасов, Ибрагим? Пороху, дроби совсем пустяки.

— Хватит...

Тихим вечером закат был красный с желтыми закрайками.

— Ветер будет,—сказал Ибрагим.—Примечай.

Действительно, с полночи разыгрался ветер. Пришлось причалить шитик крепко-накрепко: волны с плеском ударяли в его борта, и тайга по берегам шумела.

Продрогшие путники пробудились рано. На песчаных отмелях крутил песок, словно зимней порой вьюга, и вся река—в свирепых беляках.

— Встречный!.. Вот это—дрянь,—сказал Прохор.

— Проплывем плесо, может, повернет река.

Небо было безоблачно, Угрюм-река мощна.

Шитик взял на самую средину. Ветер бил прямо в нос. Течение под ветром как-будто остановилось, путники еле подавались вниз.

После сильной часовой работы Прохор взглянул назад: сизый дым от костра совсем близко. Черкес сошел с кормы и тоже сел в греби. Шитик пошел ходчее. Но вот миновали шиверу с торчавшими камнями, и дальше началось тихое плесо. Шитик почти остановился. Ветер, бушуя, рвал сналету. Мачта дрожала, хлестал и трепался на ней краснобелый флаг. Было нестерпимо холодно, ветер с шумом врывался в рукава и хозяйничал под одеждой, охлаждая тело.

По прибрежным кустам путники заметили, что шитик гонит встречтечения.

— Взад идем! Налегай, Прошка!—Но нехватало сил, шитик настойчиво влекло обратно.

— Попробуем бечевой.

В лямку впрягся Ибрагим и, падая на ветер, побуровил шитик.

Прохор пытался разжечь сделанный в носу очаг, чтоб согреть онемевшие руки, но тщетно: ветер задувал огонь.

С приплеска несло песок, больно стегало в лицо, ослепляя воспаленные глаза. Защурившись и низко опустив голову, Ибрагим напряг всю силу, дышал, как конь, но шитик подавался туго.

— Ну-ка ты, Прошка!.. Устал.—Он бросил лямку и, шатаясь от изнеможения, пошел к шитику. Его одежду полосовал ветер, и концы белого башлыка, как две седые косы, стлались по воздуху горизонтально.

До самого вечера без толку бились на одном и том же месте. На другой день то же: солнце, ураганный ветер, беляки. И тайга шумела угрожающе. В путь не выходили, напрасный труд.

На третий день то же.

Вместе с остатками сухарей, крупы и пороха уверенность в успехе пропадала, на яву стал сниться нехороший сон...

В пятом дне пробовали вывести шитик на средину. Трещали крепкие весла, скорготали, как нежить, холодные уключины. За шесты взялись, со всех сил упирались в дно, шесты гнулись в дугу, но вода была густа, как тесто, и упруга. У черкеса с треском обломился шест, и он плашмя упал в ледяную воду. Этим закончилась попытка. Снова костер на берегу, злоба в сердце и пробудившееся тайное отчаяние.

Подбадривали друг друга:

— Ничего... Вот кончится ветер, полетим стрелой.

— Нычего. Нэ робей...

Но глаза откровенней языка. Прохор спрашивал черкеса глазами и получал немой ответ:

— «Плохо, Прошка».

Мучительная неделя кончилась. И, как садиться солнцу,—ветер стих.

И радость за радостью—сон на веселое пошел: вдруг увидали оба: стоит у воды, возле залома, в меховой парке тунгус.

— Бойе, милый, здравствуй!—чуть не плача от радости, вскричал Прохор.

— Здраста, твоя моя...

Тунгус пожилой, безусый, сзади болталась черная косичка, глаза удивленно-испуганно щурились на подошедших.

— Ты реку хорошо знаешь?

— Знай... Наскрозь знай... Да-алеко... Конец знай...

— Когда мы выплывем?—спросил Прохор и, затаив дыханье, ждал.

— Не выплывешь. Вот маленько, и все заморозится... Кирепко.

— Как же нам быть?—робкий, безнадежный задал Прохор вопрос.

— Вылазь... Перезимуешь. Пойдем тайгам... Эге...

— Мы плыть хотим!—крикнул Прохор.

— Сдохнешь,—спокойно сказал тунгус, и стал усиленно раскуривать трубку.

— Ведь, недалеко.

— Да-а-леко. Мозор ужо, синильга. Пурга... Эге... Самый смерть.

— Проводи нас до Крайска. Сколько хочешь, дам.

— Нет... Моя не хочет... Мало-мало дожидай весна, тогда можно... Вода большой живет, бистерь... Пять дней допрет. Крайск—на другой реке стоит.

— Бойе, голубчик, ну, милый,—нежно заговорил Прохор, взял тунгуса за рукав, ласково по-детски смотрит в его узкие, прищуренные глаза.—Бойе, мать у меня там, на родине... Отец... Мать умрет, подумает, что пропал я. Ради Бога, бойе, проводи нас.

— Нет, моя не хочет...

— Зарр-эжу!!—вдруг гаркнул черкес и, схватив тунгуса за шиворот, взмахнул кинжалом.

Тунгус сразу на землю и, обороняясь, заслонился вскинутой рукой.

— Иди!

— Куда тащишь?

— Иди!!

За ужином ничего не говорили, на душе у двоих был праздник, у третьего зачинался нежданный страшный сон. Тунгус не притронулся к пище.

— Нэ скучай, Прошка,—тихо ворчал Ибрагим, подталкивая юношу в бок.—Доведет... Реку знает. Приказать будэм.

Тунгус свирепо на них посматривал, озирался на утонувшую во мраке тайгу, посвистывал тайным призывным посвистом и что-то зло бубнил. Прохор пробовал заговорить с ним, но тот тряс головой.—Моя не понимает,—и упорно молчал.

Черкес уложил тунгуса спать, он крепко скрутил назад его руки веревками и привязал к стоявшему у самого костра дереву:

— Попробуй, убеги теперича.—И вновь погрозил кинжалом:—Эва!. Цх!..

Темнобронзовое лицо тунгуса плаксиво морщилось, он пофыркивал носом и говорил сердито, отрывисто:

— Пошто злой?.. Худо злой... Пошто мучишь! Эге...

— Эва!—грозил черкес кинжалом.

— Доплывем, бойе, до Крайска, всего тебе дам: чаю, сахару, пороху...

— Дурак!!—крикнул тунгус и весь ощетинился, как рысь.—Дурак!! Как моя назад попадиль будет?! Как бабу бросать будет?! Баба здесь, олени здесь, все здесь... Пожальста отпускай, пошто крепко путал? Тьфу!

Он рвался, грыз зубами веревки, и, в бессильной злобе, горько завыл на всю тайгу.

— А это видышь?—сказал Ибрагим плутоватым голосом и, прищелкивая языком, стал наливать спирт в синий пузатенький стаканчик.

Тунгус вдруг смолк, глаза заблестели и,—словно сбросил маску,—заплаканное скорбное его лицо во всю ширь заулыбалось:

— Эге! Винка! Винка! Дай скорей! Дай твоя моя.... Само слядко.—Он весь, как горький пьяница, дрожал, пуская слюни.

— А поведешь нас?

— Поведешь! Как не поведешь. Твоя-моя... Само слядко. Давай еще скорей!..

Как не поведет, конечно, поведет... Вот только утром он сходит в свое стойбище, захватит с собой припас, захватит ружье, велит бабе одной кочевать, велит ей белку, сохатого бить... Поди, он тоже человек, он понимает...

Как это можно людей бросить наобум: тайга, боронй Бог! Неминучая смерть придет: никуда отсюда не выйдешь, смерть. А в Крайске ему все знакомо купцы знакомы, чиновник знаком, еще самый главный начальник знаком, Степка Иваныч... у него пуговицы ясны, усищи во какие, сбоку ножик во, до самой до земли!.. Очень хорошо знаком ему Степка Иваныч, главный, имал, хватал, пьяного за ноги в тюрьму волок, по мордам бил.

Ибрагим улыбался. Прохор хмурил лоб и, разглядывая болтливого тунгуса, был неспокоен. Ибрагим угощал тунгуса спиртом, сам пил; угощал его чаем, кашей, сам ел. Подвыпивший тунгус сюсюкал, хохотал: он очень богат, все это место—его, и еще двадцать дней идн во все стороны,—все его... Оленей у него больше, чем в горсти песчинок... Он князь, он в тайге—самый большущий человек...

Но все-таки на ночь его еще крепче прикрутили к дереву и завалились спать у пылавшего костра.

— Ну, теперь нам не страшно, Ибрагим. Трое... Тунгус знает реку. Да ежели и зазимуем где, ему известно тут все. Ибрагим, дорогой мой, милый!..

— Ничего, кунак, ничего. Теперича хорошо.

— Матушка... Эх, матушка!.. Как она обрадуется. Вот-то заживем, Ибрагим!..

— Заживем, джигит...

— Окрепну годами—буду богатый, знатный... Буду честно жить.

— Знаю, богатый будышь, знатный будышь... Честный—трудно, Прошка.

— Буду!.. А приедем в Крайск, пирожных купим... Сто штук, Ибрагим... Очень я люблю пирожные...

— Шашлык будым делать. Чурэк печь. Пилав любым. Чеснок класть будым, кышмышь.

Сон черкеса крепкий, непробудный. Прохор слышал во сне звуки: пели, спорили, бранились и вновь пели стройно, безликие, звали куда-то Прохора, и сладко-сладко было слушать ему девьи голоса.

— Шайтан!!

Прохор вскочил и осмотрелся. День. Костер горит во-всю.

— Убежал, шайтан!—зубы Ибрагима скрипели, рука яростно хваталась за кинжал.

Прохор взглянул на крепкие болтавшиеся на дереве веревки и вдруг невыносимую ощутил в сердце боль. Он больше ничего пред собой не видел. Он еще не знал, что зимний нешуточный мороз сковал в ночь реку, и шитик, единственная надежда путников, до весны вмерз в толщу льда.

Прохор встал с земли и, молча, нога за ногу поплелся на утлый свой корабль. Он не почувствовал, как его, разогретого палящим теплом костра, вдруг охватил мороз. Юноша, словно лунатик или умирающая кошка, бессознательно залез под крышу, в самый темный утол шитика, уткнулся головой в мешок, где леденели жалкие остатки сухарей, и горько, взахлеб заплакал.

ГЛАВА XIV.

СУГРОБЫ. «ДАВАЙ, ПРОШКА, УМИРАТЬ...» СЫТНЫЙ УЖИН. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА. СЕМЬ ВОЛКОВ. ЧЕРКЕС ТОЧИЛ КИНЖАЛ... БУРЯ. «А НУ »— ВЗМАХНУЛ КИНЖАЛ... В ЭТУ БУЙНУЮ БУРНУЮ НОЧЬ...

Весь день Ибрагим рыскал по тайге. Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища: коварный тунгус—как в воду.

Тайга была безжизненна и молчалива, даже белок не видать. Мороз крепчал, щипало уши Ибрагим туто завязал башлык. Как дикий олень, не

зная отдыха, он перемахивал огромные валежины, продирался сквозь непролазные заросли: тайга пуста. Ибрагим пал духом. Ниоткуда не ждал он теперь спасения: пороху нет, спичек нет, пища на исходе. Как быть? Назад итти, в Ербохомохлю?—добрых полтыщи верст—дурак пойдет. Вперед?—неведомо куда. Сидеть на месте—дожидаться тунгусов? Но беглец со страху, наверное, увел их всех на край света.

Измученный черкес вышел на берег. Желтели и краснели по берегам осенние кусты, с осин тихо сыпалось золото листьев, и, словно летом, зеленела кругом тайга. Но шумная Утрюм-река скована морозом, ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны.

Ибрагим с высокого яра сильно кинул в реку грузный камень. Лед от ушиба побелел, но не сломался, и камень, крутясь, заскользил, как по маслу, по ледяной коре.

— Цх! Плохо...

Белки его глаз окрасились желтым, щеки втянулись, неестественный оскал зубов придавал лицу выражение крайней растерянности.

Да, пожалуй, все кончено. Но ни слова, ни намека Прохору. Черкес знает, что с ним делать. Сначала Прохор, потом и он.

Ибрагим любовно и трепетно, с мистическим религиозным чувством взглянул на рукоятку своего неизменного товарища—кинжала и быстрой, легкой походкой пошел лоснящимся льдом к шитику.

Весь вечер, всю ночь, весь следующий день валил хлопьями снег, и земля на аршин покрылась сплошным сугробом. Ночью где-то близко, не переставая, ухал филин, он бормотал студеную зимнюю сказку, наводя жуть на одиноких, ожидавших своей участи существ.

Прохор, с головой укутанный буркой Ибрагима, тихо дремал. Тот несчастный день, когда бросил их тунгус, не прошел для Прохора даром: его трепала лихорадка.

Черкес сердит и мрачен. Чорт! Надо было бы ограбить тунгуса, отнять от него меховую парку. Если б попался он теперь, черкес вместе с паркой содрал бы с него живую кожу. Кровь? Пусть кровь. Вот он, Ибрагим-Оглы, сидит в одном легком бешмете среди снегов. У костра тепло, но как пойти за топливом? Коченеют руки, мороз насквозь режет ножами тело. О, если б встретить тунгуса, сотню тунгусов! Если тайге нужна жертва, всех их уложил бы вот этим кинжалом. Как шапки подсолнуха, полетели бы с плеч косматые головы, только б жив остался его молодой джигит.

Но джигит стонал, и час от часу ему становилось хуже:

— Ибрагим, голубчик... Дай еще хины... Укрой меня.

Так шли дни за днями, длинные, бесконечные. Сыпал, не переставая, упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отгребал снег широкой лопатой. Вскоре возле их стойбища воздвигся высокий, как крепость, снежный вал. У черкеса—бешмет, более теплой одежды не было. Плотно укутанный башлыком, из-за которого торчал кончик побелевшего носа и острый глаз, черкес, изнемогая от труда, потел. Но крепкие кисти рук зябли и распухали от холода, когда же отогревал их у огня—болезненно ныли.

С большим трудом он оттаял над костром брезент и кое-как смастерил шалаш в роде чума. В этом игрушечном убежище с отверстием вверху костер давал много дыма. Ибрагим плакал и кашлял, Прохор задыхался. Когда же отпахивали полу брезента, чтоб освежить воздух, в чум вползал мороз. Ибрагиму мучительно хотелось есть. Но есть нечего. Остатки крупы он берег для

Прохора, сам сгрызал в день по небольшому сухарю и пил бесконечное количество кирпичного чаю.

— На-ка, джигит, кушай... Каша первый сорт. Ашай больше, крепка будешь!

— А сам-то?

— Сыт... Ешь, нэ жалей... У нас всего много.

Ибрагим украдкой сглатывал слюну, когда же Прохор нырял под его бурку—черкес лязкал зубами, как оголодавший барсук.

А между тем время медленно ползло. Могильный снеговой курган возле палатки быстро рос. Границы между томительными днями стерлись—серая ночь неслышно сменяла серый снежный день.

Прохор поправлялся туго. Дух Ибрагима все гуще погрязал в унынии. Кругом чувствовалась смерть, и ее глухой неотвязный скрежет неуемно глодал живую живучую душу человека. В помутившихся отупелых глазах черкеса застывала смертельная тоска, то вдруг рождалась непреклонная воля жить. Тогда весь он загорался нервным внутренним пламенем, суетливо надевал лыжи, выползал на божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголодавшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить жизни, которую авось подбросит ему судьба. Но темная тайна смерти бросала в его сердце лед: кругом мертво и пусто. Убитый, раздавленный, возвращался черкес домой, залезал под могильный холм и долго, бесконечно долго сидел угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на бредившего во сне Прохора.

Когда вышли все припасы, черкес равнодушно сказал юноше:

— Ну, теперича, давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка.

Прохор недоуменно уставился воспаленным взглядом в костистое неузнаваемое лицо товарища, что-то хотел сказать, язык не повиновался, хотел заплакать, не было слез. Подбородок его неудержимо запрыгал.

— Матушка... Милая моя, матушка...

Он залез под бурку, молча лежал там, скорчившись. Сморкался.

Вдруг черкес вскочил и, как ночная кошка, внезапно скрылся из палатки. Чуть-чуть хрустнуло и вздохнуло вдали. Черкес наострил душу. В небе леденел мутный лунный круг. Бездонная была тишина. Темная, неясная тень виднелась у опушки леса.

С холодным кинжалом в крепко стиснутых зубах черкес кровожадно полз вперед, барахтаясь в сугробах. «Лось, сохатый»,—играло в его мозгу. Задрав вверх большую голову с ветвистыми рогами, лось глодал кору молодых осин. Близко. Глаза черкеса налились кровью, стали остры, как кинжал. И по клинку отпотевшего зажатого в зубах кинжала текла слюна. Дыханье обрывалось. Лось стоял боком к черкесу. Из ноздрей струйками вырывался пар. Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать дух подползавшего врага.

Черкес наметил место пониже левой лопатки и, с диким гиком ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце зверя. Одурелый раскатистый крик на всю тайгу, саженный скачок черной тени вверх, удар копытом, чей-то дьявольский хохот, бубенцы и—все помутилось в глазах черкеса. Вместе с тяжким стоном он едва передохнул и потерял сознание.

Очнувшись, быстро ощупал руки. Они теплы. «Ага, недавно, значит» Кольнуло в правый бок. Черкес шевельнулся и вскричал от боли. Выпирая настывшую, обледенелую ткань бешмета, торчком торчало сломанное ребро. Черкес смелой рукой нажал и вправил его на место. Режущая боль полоснула ножом по нервам, и ребро вновь выскочило вон

«Зверь! Где зверь?»—мгновенно проблеснуло в голове и сразу утолило боль. Луна так же мутна и улыбалась. Черкес поднялся, крепко сдавил ладонью правый бок и, согнувшись, безнадежным шагом пошел по следу. Сугроб глубоко взрыт, и вместе с мохом был рассвырян снег.

— Эге, кровь,—черкес надбавил шагу.

На прогалине, задрав вверх задние ноги, весь изогнувшись в смертных корчах, валялся убитый лось.

— Якши! Якши!!—тихо, жутко, как помешанный, захохотал черкес и поспешил назад, к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко стонал.

— Прошка! Живы будем! Пятнац пуд говядина есть!.. Шашлык есть, сало есть!.. Цх!

Прохор маятно поохивал под буркой, не отвечая.

Грязным полотенцем черкес туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу. Перед утром вернулся с большим куском мяса и пушистой шкурой

Весь день, не угасая, горел огонь, вкусным паром дымился котел с крепким мясным наваром. Прохор вяло глотал горячую пищу, Ибрагим же ел алчно, до одурения. Глаза его стали масляными и, как у об'евшегося зверя, сладко щурились, он громко рыдал.

Сон черкеса крепок, непробуден: поднявшийся в ночи дикий вой и грызня были не в состоянии прервать его. Зато Прохор, выставив из-под бурки отуманенную бредовым сновидением голову, долго прислушивался к странным звукам:—буря ли, черти ли на кулачки бились,—и никак не мог понять, что происходит там, в тайге.

На утро Ибрагим, едва проснувшись, вновь принялся за еду. Изголодавшееся тело ненасытно требовало пищи. Железные челюсти черкеса работали мерно, сосредоточенно. Накормив Прохора крепким супом, он стал выделывать кожу зверя, мял, крутил ее и клинком кинжала скоблил грубую мездру. В боку была нестерпимая боль, от которой сыпались из глаз искры. Но черкес, скрипя зубами, сдерживал стон, чтобы не тревожить Прохора. Он говорил:

— Вот, кунак, будет тэбе шуба... Нытки есть, игла есть. Якши... Теперича, кунак, холод нам—тьфу! Мясо есть. Поправляйся, кунак, да и в путь.. Прамо пойдем, тунгус найдем... А нэ найдем—тьфу!—сами выйдем.

Прохору хотелось крепко-крепко обнять этого горбоносого, с большим лысым черепом и густыми лохматыми бровями, человека.

— Никогда не расстанусь с тобой... Ежели б не ты, смерть бы мне.. Теперь знаю, что такое верный друг.

Сегодня Прохору лучше. Побежденная молодой силой, болезнь уходила под гору. Прохор повеселел. Вот окрепнет, наберет здоровья, и чорт ему не брат. Смастерят с Ибрагимом нарты, нагрузят лосиным мясом и марш-марш вперед.

— Ура, Ибрагим!

Под вечер черкес кончил шубу.

— На-ка, получай бобра... Все равно енот, все равно—лис... Давай бурка мне, ха-ха—теперича мороз—тьфу! Разводи костер, сейчас мяса принесу: лосиный губа будэм варить, почка в сале жарить.—Черкес от удовольствия зажмурился и смачно сплюнул.—Пойду.

Прохор надел сшитый на живульку лосиный длинношерстный тулуп и, как матерый, вставший на дыбы, медведь, выполз из своей маленькой тюрьмы. Он давно не выходил на белый свет и сразу захлебнулся свежим морозным воздухом. Глаза юноши воспалены от дыма. Болезнь глубоко вдавила их

в орбиты, отчего на лице его легла печать какой-то особой, выстраданной душевной чистоты.

Он шагнул за высокий снежный вал и огляделся. На земле и в небесах чужая, холодная зима. Деревья, как нежить,—белы, мохнаты, в инее. Они жались друг к другу и с тайным страхом смотрели из-под белых пуховых ветвей на человека: вот шевельнется человек, вот крикнет, и они распадутся в белый прах. Но человек стоял неподвижно, молча. Он никогда не видал белого серебряного леса, и взор его застыл в благоговейном созерцании. Белый кудрявый лес, белая даль, белесое чуть позеленевшее на западе небо. Белый месяц яснел и серебрился, словно неведомая рука торопливо счищала с него ржавчину. И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, сначала скупо—по две, по три, потом целыми горстями, как пахарь новое зерно.

Когда обманные алмазы замерцали по всему простору и заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода и вновь ушел в палатку к красноязыкому костру.

— Экая благодать, теплю как в шубе-то,—сказал он, раздеваясь, и сердце его наполнилось нежной благодарностью к угрюмому черкесу.—Почему же нет его? Не случилось ли что?—спросил он смолистую чурку и, не получив ответа, бросил ее в пламя.

Рука потянулась к записной книжке. Пальцы перевертывали исписанные страницы, взгляд рассеяно скользил по ним.

«Кажется, конец октября. Число неизвестно»,—низко наклонившись к огню, стал записывать Прохор. «Вот моя болезнь как-будто прошла. Я снова помаленьку оживаю. Может быть, ты, матушка, помолилась обо мне? Не тоскуй, скоро свидимся. Так хочется поскорей обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что, грохай в царь-пушку, не услышишь. Жив я, жив, матушка! Отец, я жив!! Не скучайте. Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам явлюсь во сне. Матушка, почему ты мне не снишься? Ибрагим, друг мой! Ты убил сохатого. Мы умерли бы от голода—я ведь знаю, что запасов нет. Что ты ни говори мне, Ибрагим, голубчик, я знаю, что крупа вся, сухари все. А теперь мы, слава Богу, сыты. Мяса хватит нам на полгода. Матушка, ура! Кричи—ура! Твой мальчонка жив-живехонек. Вот приедем и мы будем пить чай со сдобными пирогами и с вареньем. Покойной ночи, матушка! Кажется, идет мой избавитель, верный друг и слуга».

Действительно, за палаткой послышалось кряхтенье. Отпахнулась пола, вполз Ибрагим. Он сел к костру, обхватил руками колени, сгорбился. Прохор взглянул на него. Глаза черкеса были мутны, блуждали, и вся его сжавшаяся, пришибленная фигура сразу внушила Прохору тревогу.

— Что случилось?—тихо спросил он, путаясь.

Черкес молчал. Размотал башлык, снял мохнатую папаху и сидел перед костром, втянув голову в плечи.

— А где же мясо-то?.. Ужинать бы.

Черкес все еще молчал, растерянно сплевывал в костер, наконец, проговорил глухим, неверным голосом:

— Нэ нашел я лося.

— Как!

— Чего кричишь?!. Нэ нашел, говору... Нэт... Тэмно стало... Завтра.

Прохору очень хотелось есть.

— Свари, Ибрагим, каши.

— Нэт каша!—крикнул Ибрагим с желчью.

— Ну, дай сухарей... Чай скипяти.

— Нэт сухарь! Нэт чай! Ничего нэт. Вот две спички есть, спалим, чего станем делать?

Он говорил, словно ругался, отрывисто, резко и каждую фразу подчеркивал свирепым, с искоса, взглядом в сторону Прохора. Нежное чувство, которое Прохор питал к нему, вдруг покоробилось, и Прохору стало до боли обидно.

— Почему ты сердишься? Ты болен?—тихо, но укорчиво спросил он

— Нэ твое дело!

Костер уныло потрескивал, по стенкам палатки ползли серые бестелесные тени, куча обглоданных костей валялась возле опустошенных сум.

— Спи!—приказал черкес.—Завтра будэм на воле... Завтра все будэт... Сегодня—спи! Крепко спи...—он вздохнул и, закрыв глаза, уперся лбом в колени.

Сердце Прохора захолонуло, охнуло. Мрачное предчувствие вгрызалось в душу. Он не решался выспрашивать Ибрагима до конца. Да и зачем? Спи!.. Как уснуть в этот подлый час? Что будет завтра? Неужели тайга раздавит их?

Прохора стала бить нервная дрожь. Сначала застучали зубы, потом судорога прокатилась от плеч чрез все тело, к ногам, он трясся весь и подпрыгивал, не в силах совладать с собой. Плотно, с головою, он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислятиной и перепрелым мхом. Но дрожь продолжала трепать его с той же силой.

... Нет, не может быть, не может быть. На Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все раз'яснится, завтра они бодро тронутся в путь. Вперед, на запад, к Крайску!

«Фу, ты чорт... Почему так меня всего кострячит? Горячего бы чаю кружку... С ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим!».

Под шубой тепло и глухо...

Плывут над тайгой минуты и часы, заглядывают минуты под шубу, и каждый миг вырастает в час. Бесконечно длинно тянется время. Что-то среднее между сном и бодрствованием, что-то тяжелое, нудное шевелится под шубой, гнет юную голову, сосет испугавшееся сердце. Может быть, утро или еще ночь не кончилась?

«Волки».

Серые, тощие изогнувшиеся втрипогибели, сверкая голодными глазами, воют волки. Семь волков.

— Волки!—вскрикнул Прохор и очнулся. Он чуть приподнял шубу, замер. Заливчато заводил дикий, одинокий волчий голос, потом, отрывисто тявкнув, подхватывала вся свора. Где-то близко, совсем близко. Они сожрут коня. Они сожрут всех коров, овец, телят. Что ж думает отец?... Эй, вставайте...

— Волки!—опамятовался Прохор, сбрасывая шубу и озираясь на убогий холст намозолившей глаза палатки.

— Ибрагим... Волки... Они сожрут нашего лося... Эй!

Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в глаза:

— Спи, кунак. Это нэ волки. Волк нэт в тайга... Это ветер. Спи.

— Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие... А?

— Мой нэ плачет. Врешь ты. Мой никогда нэ плачет.

Он засопел, засморкался и вышел наружу.

«Волки»,—твердо решил юноша. «Вот оно что... В тот раз выли, теперь опять... Сожрали мясо. Вот почему такой убитый Ибрагим»...

Волчий вой то отдалялся поднявшимся ветром, то был слышен близко, визгливый, остервенелый. Прохору почудилось, что в звериное завыванье вплетается жуткий человечий стон. Нет, это гудит в ушах, это болезнь в голове ходит, конечно же, Ибрагим не будет так стонать.

Палатку трепануло сильным ветром. Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга. Вошел Ибрагим, твердый, решительный. Две глубоких складки лежали меж разметавшихся бровей, губы плотно сжаты.

— Вьюга. Пурга идет,—отрывисто сказал он.—Ничего, крепись, джигит.—Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо и с трогательной нежностью стал глядеть в глаза его.

— Что, Ибрагим, милый?.. Плохи наши дела?

— Якши...

— Яман?..

— Якши, якши! Бок—яман... Больно... Кость мозжит, рэбро...—Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши:

— Я люблю тебя, Прошка... Люблю...—Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором.—Люблю. .

От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый мудрый лоб черкеса и, против воли, прислушался к себе: вот все в нем сотрясается, мятется. И, как агнец пред занесенным ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает—страшное, неотвратимое,—которое слышится и в доносившемся тявканьи несчастных голодных зверей и в нарастающем злобном гуденьи леса.

— Спи!..—сказал черкес вновь отвердевшим решительным голосом.—Крепко спи, не просыпайся

И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору:

— Прощай, Прошка!.. Прощай, джигит... Прощай!..

«Что значит—прощай? Почему—прощай?»—силился спросить Прохор и не мог.

С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые, как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги роились эти пугающие мысли, в шуме, в визге, в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все эти чувствования, все обрывки неясных полузвуков-полуслов кто-то собирал в крепкую горсть, как разрозненные возжи взбесившейся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал: «есть». Неукротимый сосущий голод.

«Есть!».

Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра?

«Прощай, Прошка... Прощай, джигит».

Черкес точил кинжал.

В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги Прохор чутко слышал: черкес точил кинжал.

Дзинкающий, знакомый звук. Блестящий, холодный, пламенный, красный—этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало, глазом:

«Дзик, здик... Прощай, джигит».

Черкес наточит кинжал, убьет лося... Притащит лося в палатку.. Костер, огонь. Прохор улыбается, грезит сладко и под дзикающий железный звяк падает в сон, в ничто.

Сталь клинка, древняя, как человек, устала жить, устала жить и душа черкеса, такая же древняя, как сталь клинка.

Черкес точил кинжал.

Надо острей. Пробует на волосок: нет, туп кинжал. Надо острей, острей. Воспаленный взор, мозг, душа—все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая, с желто-синим отливом по краям, сталь живая, премудрая, сталь верная в могущественной, убивающей, любя, руке. Рукоять Ибрагимова кинжала насковозь пронзила землю, острие касается небесных золотых миров. Резкий режущий взмах—и земля соединится с небом, жизнь с прахом, существование с паки бытием.

— Ой, джигит, джигит...

Капли пота катятся по горбатому носу в черную, густо запущенную бороду. И когда Ибрагим с надсадой переводит дух, тугая пружина его души раскручивается, шагнувший за пределы воспаленный мозг охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать.

Губы шепчут:

— Тебе легко будет, Прошка... А мне как? Ой, ой, Ибрагим-Оглы!.. Где твой Кавказ, где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-Алла...

Он поводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бок, где ноет-мозжит разбитое ребро

— Кто наслал тайга волков? Будь проклят! Кто нас бросил тут околевать? Будь проклят! Да еще, да еще. Трижды проклят! Цх!!

Он уставился много видящими в этот час зоркими глазами на костер, на последний огонь в тайге, последнюю искру жизни. И вся его личная жизнь развернулась пред ним белым захватанным сажей свитком. Нищий мальчишка-пастух чужих отар, там, у себя, в горах Кавказа. Молодой, сильный джигит, первый из всех окрестных аулов наездник и стрелок. Бурная, как кипящая кровь, его любовь к черкешенке: он выкрал с джигитами из-под двадцати замков и, под свист разящих пуль, приручал ее в свою нищую саклю, усыпанную цветами с гор.

Но вот белый свиток его жизни кружится, крутится, как на огне береста; черная сажа густо покрывает белизну, и жизнь черкеса становится холодной, серой, как пепел остывшего на могиле костра. Священная месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, повенчался железным венцом—кандалами—с каторгой на целых десять лет. О, будь ты проклят час рожденья. За что? Где ты, жена? Где ты, старуха-мать? Голод, холод, плети, кандалы, мрачные горы Акатуя. Где ты, зеленый виноград, розы, горячее солнце, густые чинары, песни, пляски у костров при звоне кинжалов? Где ты, синяя лазурь и молнии, и грохот грома в родных горах? Эх! Все прошло, как сон.

Грузная от дум голова черкеса никнет к сонному костру, трубка выпадает из разжавшихся зубов. Черкес хватается за сердце, стонет.

А за ледяной палаткой вторит ему лютым плачем ледяная вьюга, швыряет в костер острые снеговые иглы. Холодно, костер потухает, спичек нет.

— Прощай, джигит... Прости меня, джигит... Спи крепко...

Черкес вскидывает голову, берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух:

— Цх! Так, верно...

Целует холодное лезвие и опускает в ножны. И вместе с кинжалом опускается в холодные потемки вся душа его.

Спасенья нет. Тайге нет краю. Угрюм-река больше не подхватит их быстрый струг.

— Прощай, джигит.

Вдруг грозно и резко завыло все кругом: буря рванула с необычайной силой. Убогую палатку, как надувшийся мыльный пузырь, подхватило напором ветра и, яро хлопнув полотнищем, отшвырнуло прочь. Вихрь враз засыпал костер снегом, и стала тьма.

Лишь слышно было, как скрежетала зубами пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила на земь. Рявкали медведи, взлаивали лисицы, черный чорт свистал свою любимую, и седобородый мороз кряхтел, выпрастывая краснорожую башку из-под корневища:

«Ужо-ко... ужо... У-ууу...».

Могильный снеговой курган то ровняло с землей, то вновь натроможлало гору, нескончаемые бешеные вьюны крутились по всему миру, буря обламывала огромные ветви и птицей гнала их через пространство. Все смешалось в пьяной бесконечной кутерьме.

Черкес закашлялся, замотал головой—душила вьюга. Едва переводя дыханье, он нащупал кинжал и с отчаянной последней решимостью сбросил шубу с непробудно спящего джигита:

— А ну!—сверкнул кинжал.

В эту буйную, бурную ночь встала из своей надземной темницы Синильга. Словно облаком, охваченная лютым пламенем черного огня, мчалась сквозь мороз, сквозь ночь на волшебном своем шаманьем бубне-сердце туда, к нему, милому, далекому.

«Эй, стой, не умирай, бойе!..».

Ей не надо итти по-человечьи: высоко лежала в колоде, над землей, и путь свой держит над тайгою, над косматой бурей. Вся в скатном бисере,—красном, желтом, голубом,—вся в соболиных мехах,—губы ее алы, брови черны, бледное лицо в улыбке странной, и печальные глаза, навек закрытые.

В лунном царстве, в лунных голубых просторах мчится быстролетная Синильга к нему, милому, опасному.

Не умирай, бойе.., Еще минутку. Гой!».

Громче бьет Синильга в бубен—грохочут бубенцы—кличет шайтанов, шиликунов, шишиг, зовет гагару-птицу заклятую, посвистывает:

«Гой, гой... фють!».

И ледяное ее сердце тает, и ледяное лицо алым цветом кроется, и мертвая кровь, замерзшая в жилах, как вода в ручьях, вдруг стала отходить да к сердцу, к сердцу. Ударило сердце и раз, и два, открыла глаза Синильга, огляделась. Лунное голубое царство голубею пред ее прекрасными глазами, желтый месяц набекренил золотую каску, подмигнул Синильге, приветливо полыхнул золотым пред Синильгой светом.

...— А ну!—взмахнул кинжал...

...Из голубого, озлащенного простора, ринулась Синильга вниз, сквозь ураган, сквозь бурю и меж блеснувшим, разящим, любя, кинжалом и доверчивым сердцем милого с разлету бросила свой шаманий бубен.

«Гой! Притупись, кинжал!!..».

Словно воск, изогнулась в бараний рог закаленная сталь клинка, словно воск, обмякло любящее, ожесточившееся сердце.

Зашептала Синильга в два уха, в два сердца, в два помысла:

«Чу, чу! Бубенцы идут».

И шепчет милому,—а над милым смерть—склонила смерть костистую мудрую, мудреную голову,—шепчет Синильга тихо:

«Ты мой, ты мой... Вместе в гробу лежать будем, погоди... Вижу жизнь твою длинную, короткую... Занесется голова твоя за облака, а сердце—в вечном гробу, в червях. Вспомни тогда, бойе, Синильгу. Как блеск молнии, как скачок обожженного стрелой оленя, промчится жизнь твоя, хоть сто лет живи—скок!—и нету жизни... Где ж жизнь? Не было жизни, сон был, тягучий краткий сон. Возле тебя хожу с бубном вошебным, ой, длинна жизнь твоя, человече. Стою, стою,—устану, сяду... А живешь. Сижу, сижу—устану, лягу—все еще живешь, бойе, и не видно краю твоей жизни... А вот взлечу далеко, на солнце, на звезду,—глядь,—и нету жизни... Родился, вырос, мертв. Коротка жизнь жизни человечьей».

Слушал юноша этот сонный шопот, уста его улыбались, но черные брови дрожали от холодного страха. Проснуться бы. Погреться бы. Поесть бы.

— Матушка! Ибрагим...

«Не зови, не стони, не охай... Я—Синильга, темная судьба твоя, по пятам пойду, след в след, и не заметишь. Размотаю весь клубок, длинный-длинный, с узелками, а порвется нитка—я тут как тут. Я судьба твоя, темная, немая... Я кручусь, кручусь, кручусь... Гой, гой, веселее! В бубен, в бубен!! Хохочу и плачу. Ой, горько хохочу над тобою, милый... Громче в бубен, веселей крутись, Синильга, плачь Синильга, плачь!».

И чует юноша: от бешено крутящейся шаманки ураганом бьет в лицо:

— Ой, холодно! Ибрагим...

«Я давно тебя, бойе, любила, всегда любила, всегда знала о тебе. Вспомни скорей, чего не было с тобой, а будет, будет... Я—Анфиса».

Застонал Прохор, заметался в тяжелом, кусающим до сердца бреде.

«Прощай, бойе! . Прощай... Бубенцы гремят... Олени скачут... Приехали-и-и-и-и!..».

Буря корежила деревья и, как траву сухую, с шумом, с воем мчала через реку их жалкие обломки. Бушующим ураганом пригибало к земле тайгу, все крутом осатанело. Горе слабому, горе сильному, живому, кого застигла эта отчаянная ночь.

А как же люди, двое? Угрюм-река, спаси, укрой!

...Нет...

Изначала дней положен предел Угрюм-реке, заповеданы законы. Равнодушная, суровая, слепая—сама в себе и для себя,—и никто не укротит, не обуздает ее бег под льдом и при солнце лета.

И было так. И будет так.

ПРИИРТЫШСКИЕ СТАНИЦЫ

Желтые пески, зеленые воды,
Да гусями белыми—пароходы.

Да в низинных травах жирные птицы,
Да сытные и вольные казачьи станицы.

Да к гармоням звонким новые припевки,
Да золотокожие жар-малина девки.

Степи, камни, острова-лески да озера
От Тобольских мест к Усть-Каменогору.

Крой гармони пестры, крой гармони звонки;
Понравился я ноне хорошенькой девчонке.

— Щок, щок, щибачок,
Ты що ето, паря?
Курщавеньки казащек
За мною ударил.

— Что за нова власть така, раздела и разула...
Еще живы пока в станицах есаулы.
Ты скажи-ка, паря, мне, по какому праву
Окаянно киргизье косит наши травы?

— Со щего, гришь, со щего
Ходит батько волком?
Мой миленок коммунист,
А я комсомолка.

Эх, зелен некошен лут,
Травушка росиста!...
Мой миленок по станице
Первым гармонистом.

Дегтем мазал сапоги,
Ноне мажу ваксой.
Ездил с милой в город я—
Расписался в ЗАГС'е.

Клуб отворенным стоит,
С красным флагом вышка.
Старику—корявому,
Видно, нынче крышка!

...Желтые пески, зеленые воды,
Да гусями белыми—пароходы.
Сторонушка степная, речная да овражья,
Прииртышские станицы—Черлак да Лебяжье.
Прииртышские станицы—золото закатное
Вокруг Омска, Павлодара, вокруг Семипалатного!

Павел Васильев.

Из альбома Морской Научной Экспедиции Комсеверопути 1926 г.

КАРАВАН КАРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БЛИЗ ТУРУХАНСКА

НОВЫЙ ТУРУХАНСК

Фот. В. Итин

Грохочут белые ливни
И кто-то у юрты сник,
И крикнул: «Бросайте бивни!»
Сквозь громы пурги старик.

И лед и в груди, и в горле,
И бреда тяжелая медь...
Но снегом тела оттерли
И не дали умереть.

3. В городе.

Весь город шумит... Разговоры
Звончей серебра монет,
И скупщики в дебрях конторы
Немедленный держат ответ.

И кто-то с прямым пробором
Начальнику говорит:
— Я вас не считаю вором,
А только ставлю на вид.

Он гордо погладил края:
— Ведь это не пустяки,
Представьте акты, бумаги—
Тогда мы «спишем» клыки.

4. Великий голос.

На море качается торос...
Пургой опушив виски,
Послушать великий голос
К радистам идут юраки.

И слово последней вести
Встревожило их сердца.
— Ведь бивни лежат на месте,
Клянемся хвостом песца!

Мы их нашли среди тундры,
И груз не тронут совсем,
Пусть голос великий и мудрый
Расскажет об этом всем!

5. В суде.

Шуршат протоколы допроса,
И речь говорит прокурор,
И главный скупщик раскосо
К земле опускает взор.

Но это не от испуга...
Вдруг...

— Новый свидетель есть!
Из-за полярного круга
Получена быстрая весть!

И долго молчали судьи.
И выпрямился старик...
Вот он—немого безлюдья
Победный и громкий крик!

Зеленый качается торос
И в заливе великой реки.
Сегодня великий голос
Сумели воспеть юраки.

А в зале, где стены неровны,
И сцену венчает звезда,
Три слова:

— Они не виновны!—
Сказал председатель суда.

Сергей Марков.

СЕВЕРНЫЙ ПРОБЕГ.

Мой путь с Полярною звездой;
Винтовка на плечах.
Висит, как бубен золотой,
Луна в седых волнах.

Причудлив здесь хребтов излом.
Беззвучен лыжный ход.
Сквозь ветви кажется дуплом
Далекий небосвод.

Чем дальше бег—тем шире взмах,
Тем тверже скользкий наст.
Куржак на шапке и усах.
Собаки зорок глаз.

Зеленой щетью в облака
Ударил лес густой.
И вправо, влево, по бокам
Зверей тоскливый вой.

Еще вперед и над хребтом
Узоры звезд горят,
Бегу и пью открытым ртом,
Смолистый аромат.

Бегу, бегу—шумит тайга.
И нов мне каждый миг.
По сторонам—в пяти шагах
Совиный перекликк.

В потемках гор немой оскал,
Маячит в сосняках.
Собака чует: там привал,
У чума на мехах.

Трещат леса. Навстречу мне
Дрожит иссохший лист.
И чутко слышу в тишине
И шорохи, и свист.

Но и во тьме раздельный след
Ловлю я на снегу.
Топор, огниво и кисет,
Винтовка на-чеку.

Еще вперед—мелькнула тень.
Ружья удар могуч,
И предо мной лежит олень,
В глазах разливы туч...

Но вот и чум. Замедлен ход
Над стойбищем туман.
То гонит вьюжный хоровод
Невидимый шайтан.

И любо мне без лишних дум
Вдыхать сосновый чад.
Теплее бани дымный чум,
Милей раскосый взгляд.

Мой сон под шкурой меховой.
Затих тунгусский стан.
И вот, камлая, надо мной,
Стоит седой шаман.

И гулкий бубен до зари,
Шайтана гонит прочь.
Хрустят под боком сухари,
Длинна, трескуча ночь.

А утром новый перегон.
Мой компас—ветра вой.
Луна повисла в небосклон,
Как бубен золотой.

П. Петров.

НА ГОРНОМ ПУТИ.

Раскачивай тело на этой земле,
Зарницей гори за работой,
Чтоб грузные будни кочующих лет
Звенели утра позолотой.

Малиновый луч на лохматых плечах
От холода звонок и светел,
А утренний месяц в дороге зачах...
И сыпятся звезды, как пепел.

Шатаются ветки... И золото луж
Иссечено ветра кругами...
Но наше призванье: зеленую глушь
Проветрить иными ветрами.

Ни в песне полуденным зноем грустить,
Над тропами голову свесив,
А хвойные глуби на горном пути
Измерить на ощупь и взвесить.

Цветные увалы—затишья предел
Осветим электро-кострами,
Чтоб было обидно вечерней звезде
За бледность свою перед нами.

Сияя на солнце загаром лица,
Смотри через бор за туманы,
Зеленым просторам не видно конца,
Встают за курганом курганы...

Раскачивай тело на этой земле,
Зарницей гори за работой,
Чтоб грузные будни кочующих лет
Звенели утра позолотой.

Илья Мухачев.

ТРАКТ.

Бугра горбатая короста.
Развеяна седая старь.
Среди деревьев низкорослых
Везет нас удалой бланкарь.

Коней упитанные крупы,
Тугие с ленточкой хвосты.
Столбов подгнивших реже трупы:
Там лечат плотники мосты.

Когда-то в зной и в непогоду
Вели великих каторжан,
Нагайкой гнали за свободу,
И проедала раны ржа.

И шли по траурному тракту
Мученьем стражу веселя...
Теперь ползет упрямо трактор
В золотоносные поля.

И колокольчик без умолку
Звенит в приволье: звень да звень,
И воздух вкусом свежей смолки
Вливает радостную лень.

И я ликую золотому,
Ласкает взоры гладь полей.
И ветерок жует солому
Хороших солнечных лучей.

И радость, и тоска во взгляде
Прикосновенье ветерка,
Неповторимо робкою гладит
Такая нежная рука.

У тракта золотится глина.
Протянут тени вечера...
Раскрыла синяя долина
Нам неожиданный мираж.

Там плещется шумливо море,
Там пена в острых зубьях скал.
В безбрежном голубом просторе
Волнуется, гремит Байкал.

И медленно свернув к востоку,
Плывут, курчавясь, облака...
И дразнит эхо звонкий топот,
И шелково шумит река.

Когда же киноварь заката
(Когда расплавится заря)—
Польется вольно и крылато
Лихая песня бланкаря.

Былую удаль, пыл отваги,
Я выслушать в приволье рад...
И чародеем скорбной саги—
Во мгле проснется Братский тракт.

И. Молчанов.

ВИВИАН ИТИН

Сценарий

I.

У нас не принято печатать сценариев. Если спросить, почему, ответят, что это «сухой материал», который никто не будет читать и т. п.... И. Бабель доказал, что сценарий увлекательнее драмы и расходится лучше романов в желтой обложке. «Блуждающие звезды»—И. Бабеля—единственный, если не ошибаюсь, сценарий, который был издан, как самостоятельное литературное произведение.

На Украине по сценарию Бабеля была сделана «кино-картина». Трагедия превратилась в «салонное» варево для мещан... Если бы сценарий не был напечатан, автора сочли бы соучастником. Подобные факты (отнюдь не единичные) несомненно удерживают писателей от работы в кино. Между тем, во время последней дискуссии о кино, руководитель Совкино т. Шведчиков заявил, что недостаток в нужных сценариях является основным тормазом в работе. Присылаются тысячи рукописей, а выбрать нечего.

В будущем кино-сценарий займет такое же место в литературе, как пьеса, написанная для драматического театра. Все выдающиеся произведения этого нового вида искусства будут издаваться до постановки. Только таким путем можно создать настоящий общественный контроль в кино. Идеологические установки станут достоянием критики до, а не после основных затрат на производство*).

В области всякого искусства художник более всего учится по образцам. Режиссер может учиться в каждом кино-театре; но кто знает, как написан сценарий «Броненосца Потемкина», «Конца Санкт-Петербурга», «Крыльев Холопа» и т. д.? Если не будет постоянного живого влияния в области идеологии, конструкции и технических приемов сценария, это новое искусство не сдвинется с места.

Здесь, учитывая, так сказать, дискуссионный характер печатания кино-сценариев, я предлагаю лишь короткие отрывки из моих сценариев, по которым в настоящее время производится съемка Совкино и Киносибирью. Надеюсь, меня не обвинят в стремлении преподнести их в качество учебника для начинающих. Эти отрывки, конечно, не лишены недостатков, но после образования у нас акционерного о-ва «Киносибирь», очень нуждающегося в сценариях, каждая попытка обменяться опытом разговора на кино-языке является, по-моему, современной.

---

*) Между прочим, § 5 типового договора Совкино с авторами в настоящее время средактирован так: «До момента разрешения заказанного по сему договору сценария правлением Совкино, автор не в праве ни лично, ни через посредство третьих лиц знакомить со сценарием, его содержанием и либретто кого бы то ни было, кроме членов правления «Совкино» и лиц, уполномоченных им на просмотр сценария».

II.

КААН-КЭРЭДЭ*).

Часть первая.

1. Большой горизонт. Над океаном летит трехмоторный металлический самолет. Заходит солнце. Крылья. Облака. Лучи.

2. Часть крыла и фюзеляжа самолета, покачивающегося на воздушных волнах. В центре—пилотская кабинка. Твердый волевой профиль пилота.

3. ЭЦ—НАЧАЛЬНИК ГЕРМАНСКОЙ КРУГОСВЕТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

Плечо и профиль пилота. Вдоль борта, закрывающего Эца, надпись — «Warnemünde». На голове Эца наушники радиопеленгатора. Эц вычисляет. На втором плане видны аэронавигационные приборы, рычаги двойного управления и силуэт борт-механика, держащего рычаги рулей. Эц говорит,—руки борт-механика слегка поворачивают штурвал. Эц берет карту.

4. Карта. Палец Эца двигается, отмечая путь полета: Берлин, Лондон, Антлантический океан, Нью-Йорк... Палец вдруг останавливается.

5. Лицо Эца. Задумался. Снисходительная улыбка. Вспоминает:

6. А ВСЕГО 20 ЛЕТ НАЗАД...

7. Аэродром. Аэроплан довоенного типа (Вуазен). Эц (молодой офицер), волнуясь, садится за рули. Жмет друзьям руки. Молодая красивая женщина плачет.

8. Аэроплан медленно катится, поднимается, летит невысоко над землей:

9. «ЛЕТАЮЩАЯ ЭТАЖЕРКА».

10. Аэроплан перелетает речку и снижается. Восторженная толпа бежит навстречу.

11. Эца несут на руках. Улыбающееся лицо Эца приближается к зрителю. Наплыв.

12. Лицо Эца в кабине «Warnemünde». Улыбка веселее.

13. Палец снова движется по карте: Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Тихий океан... Палец останавливается, отмечает ногтем положение самолета над океаном.

14. СМЕНА.

15. В кабину входят по очереди: помощник Эца и 2-й борт-механик, садятся на места. Эц и механик уходят в узкую дверь, ведущую в пассажирскую каюту.

16. Пассажирская каюта «Warnemünde» (обстановка: см. «Высокий Путь», стр. 92). Эц идет, опираясь на трость, садится на койку, вытягивая правую ногу. Достает из выдвижного ящика под койкой банку самонагревающихся консерв. Ужинает.

17. Эц начинает раздеваться. Отстегнул одеяло. Курит.

18. Приподнятые брюки на вытянутой ноге показывают протезу.

19. Лицо Эца. Он морщится от усилий и боли. Наплыв.

---

*) В основу сценария положен, главным образом, материал повести «Каан-Кэрэдэ»: современная авиация, агитполеты в Сибири и алтайский эпос. Основное задание автора: противопоставить большим спортивным достижениям буржуазной авиации менее громкие, но более ценные достижения советских летчиков, производящих своими полетами переворот в сознании масс; противопоставить развлекающимся, скучающим буржуазным «пассажирам»—«пассажиров» советских агитполетов, крестьян, алтайцев, для которых полет новое «крещение», «воздушные октябрины»; противопоставить призрачному миру Эрлика, экстатическим полетам шамана – реальную борьбу и победу человека над стихией.

Сценарий написан для ленинградской госкинофабрики Совкино.

20. Облака. Стремительно и беспорядочно падает самолет. Наплыв.

21. Лицо Эца. Волевое движение. Быстро отмахивается от воспоминаний. Берет карту.

22. Палец двигается от прежней отметки ногтем через океан. Пекин. Калган. Монголия. Алтай—вдоль Катуни.

23. ЭЦ РЕШИЛ ЛЕТЕТЬ ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ, ПРЕДПОЧИТАЯ СТЕПИ СИБИРСКОЙ ТАЙГЕ.

24. Палец останавливается на карте Алтая. Наплыв.

25. Проясняется горный пейзаж. Вдали трехгранная Белуха. Кам (шаман) Кунь-Коргэн всматривается вдаль. Лицо кама тревожно.

26. СТРАННЫЕ СЛУХИ ИДУТ ПО АЛТАЮ. НАРОД ГОВОРИТ, ЧТО СКОРО ПОЯВИТСЯ ЦАРЬ-ПТИЦА, КААН-КЭРЭДЭ...

27. В небе летит чудовищная птица.

28. Ужас на лице кама.

29. Повторение кадра 27. Наплыв.

30. Это всего лишь горный орел.

31. Кам очнулся. Молится.

32. «ОТЕЦ МОЙ, ЯСНЫЙ УЛЬГЕНЬ,
ВОЗНЕСШИЙ ГОРЯЧИЙ ОГОНЬ СВОЙ,
ПОСТАВИВШИЙ ТРИ ОЧАГА,—
ДАЙ ЗОЛОТОЕ РЕШЕНИЕ!
СЕДЕЮЩУЮ ГОЛОВУ МОЮ СДЕЛАЙ СПОКОЙНОЙ»...

33. «Юнкерс» летит над тайгой. Бескрайный лес. Вдали, как застывшие волны, снежные горы.

34. Тайга сверху: буреломы, болота...

35. Часть «юнкерса» (снимок с крыла). Пилот склонил голову за борт, ветер треплет фуражку. Пилот курит, пряча папиросу в ладонь. это беззаботный и смелый человек...

36. ПИЛОТ—ЧАНЦЕВ.

37. Лицо Чанцева: щурится, всматривается вперед. Ветер. Диафрагма.

38. Громоздятся грозовые тучи. Молния.

39. БОРТ-МЕХАНИК—ЕЛТЫШЕВ.

40. Спокойнейшая физиономия. Елтышев в кепке, в круглых очках, в промасленном брезентовом костюме. Правая рука Елтышева держит штурвал. Рука все время движется—вверх, вниз (рычаг эйлеронов). Рука грязная.

41. Конец крыла «юнкерса». Непрерывно двигается эйлерон. Крыло качается. Внизу, под крылом, разорванные облака.

42. Спокойное лицо Елтышева. Он жует. Левая рука его просунута в окошечко, соединяющее пилотскую кабинку с пассажирской. Через секунду Елтышев вынимает руку с кружкой пива, пьет. Снова, не глядя, просовывает руку в окошечко...

43. Часть пассажирской кабины. Передние сиденья завалены полушубками, плащами, амортизацией и пр. На заднем сиденьи сидит тучный рыжебородый человек, жует. В одной руке бутылка, в другой—сандвич...

44. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОСОАВИАХИМА—БОЧАРОВ.

45. Пассажирская кабина. Рука Елтышева просовывается с пустой (жестяной) кружкой. Бочаров, болтаясь от качки, берет кружку, сует в руку Елтышева сандвич, рука исчезает. Бочаров выливает остатки пива в кружку, пустую бутылку выбрасывает в окно.

46. Пивная бутылка падает, исчезает в облаке.

47. Подножие огромной сосны. На траве играют зайчата.

48. Коряга. Падает бутылка, разлетаясь вдребезги.

49. Зайчата удирают изо всех сил.

50. Бочаров кончил есть. Берет несколько листовок из большой пачки, лежащей рядом, на соседнем сиденьи, вытирает руки, рот, выбрасывает в окно.

51. Таежная полянка. Стог сена. Старик и старуха нещадно ругаются. Старик поднял к небу двуперстный крест, призывает в свидетели всех святых. Скомканная бумажка падает, затыкает рот. Старик и старуха от изумления и испуга садятся в траву.

52. ПОСЛАНИЕ С НЕБА.

53. Старик благоговейно развертывает бумажку, крестится, читает.

54. Изображение листовки. Ясно виден заголовок: «Переходите на многополье».

55. Лицо старухи. Крестится. Говорит:

56. ИШЬ, ЧЕРТИ БОЛЬШЕВИКИ, ДАЖЕ АНДЕЛОВ С'АГИТИРОВАЛИ.

57. Часть кабинки «юнкерса». Бочаров выглянул из окна.

58. Внизу маленькая таежная деревушка, похожая на лесную кочку.

59. Бочаров хватает пачку листовок и выбрасывает в окно.

60. Листовки в струе ветра.

61. Улица деревушки. Падают листовки. Крестьяне бросают свои дела, бегут за листовками.

62. ЛЕТЧИКАМ ОСОАВИАХИМА ПРИХОДИТСЯ ПРОЛЕТАТЬ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ НАД НЕПРОХОДИМОЙ ТАЙГОЙ, ЧТОБЫ В САМЫЕ ГЛУХИЕ ДЕРЕВУШКИ БРОСИТЬ ИДЕИ ОСОАВИАХИМА.

63. Тайга сверху. Столетние ели. Бурелом. Зыбуны.

64. Тучи сгущаются. Молния.

65. Кабинка пилотов. Аэроплан сильно качает. Чанцев напряженно всматривается. Твердым ребром ладони показывает Елтышеву новое направление. Аэроплан влетает в дождь.

66. Струи дождя летят горизонтально, бьют в лицо Чанцева. Он прячется за целлюлоидный козырек, как за блиндаж от пулеметных пуль.

67. Край крыла. По желобкам гофрированного дюраллюминия стекают струйки и, отрываясь, вытягиваются горизонтально.

68. Крыло резко раскачивается порывами бури. Порывисто движется эйлерон.

69. Внутренность кабинки. Бочаров болтается во все стороны. Его мутит. Он выхватывает записную книжку, пишет, кричит. В окошечке появляется рука пилота, книжка исчезает.

70. Изображение записки «Выбирай-ка, милок, жилое место да садись».

71. В окошечке появляется профиль Чанцева. С козырька фуражки капает вода. Чанцев смеется и кивает.

72. Аэроплан летит в кольце радуги. Радуга мчится вместе с аэропланом. Диафрагма.

73. «Юнкерс» идет на посадку. На заднем плане, внизу, видно село. Выделяется белая церковка.

74. Часть сельской церкви у «царских врат». Поп кружится, машет кадилом во все стороны, задирая бороденку кверху, чадит.

75. Наплыв. Вместо попа—шаман, Кунь-Коргэн, вместо дыма ладана -дым костра, вместо кадила—шаманская колотушка. Кунь-Коргэн кружится, бьет в бубен.

76. Наплыв. Вместо бубна—колокол. Звонарь бьет в колокол.

77. Внутренность избы. Пожилой крестьянин Артамон Михалыч, его жена Марья, мать—Федосеевна, дочери, взрослый сын собираются в церковь.

78. АРТАМОН МИХАЛЫЧ С СЕМЕЙСТВОМ СОБИРАЕТСЯ К ВЕЧЕРНЕ.

79. Сапог. Рука жирно мажет дегтем.

80. Женщины—наряжаются.

81. Младший сын Артамона Михалыча—Степка—мальчик лет 10, притулился у окна, читает книжку.

82. Арт. Мих. заметил Степку, подходит.

83. ПОП-ТА ТЕБЯ ЖДАТЬ БУДЕТ?

84. Степка показывает отцу книжку.

85. Головы Степки и Артамона Михалыча над книжкой. Видны изображения самолетов. Артамон Михалыч заинтересовался.

86. Звонарь бьет в колокол.

87. Арт. Мих. спохватился, бросил книжку, сгреб Степку, дал тумака. Плюется и крестится.

88. Вход в церковь. Церковь полна. Арт. Мих. с семьей запоздал, остановился почти у входа (кресты, поклоны и т. п.).

89. Поп кадит (кадр № 74).

90. Прихожане молятся.

91. Степка зевает:

92. А ХОРОШО СЕЙЧАС НА РЕЧКЕ.

93. Степка «клюет носом». Затемнение.

94. Из затемнения: Степка сидит на песке у воды, удит рыбу. Таскает рыбу за рыбой. Вокруг Степкиной головы летают оводы (пауты), жужжат. Степка отмахивается. Оводы нападают все назойливее... Наплыв.

95. Церковь. Степка дремлет, отмахивается от паутов. Корявая старушонка заметила, ткнула Степку клюкой. Степка очнулся, оглядывается и прислушивается:

96. ПАУТОВ НЕТУ, А ЖУЖЖИТ!

97. Степка незаметно, осторожно пододвигается к выходу, выглядывает и вдруг бросается на паперть, машет руками.

98. Лицо Степки, поднятое вверх. Удивление, испуг, радость.

99. «Юнкерс» летит невысоко над селом, снижаясь.

100. Степка, забыв последний страх, бежит в церковь, кричит в открытую дверь.

101. Лицо Степки,—кричит:

102. ЕРОПЛАНТ! К НАМ В ПОЛЕ!

103. Переполох в церкви. Мальчики выбегают первыми, кричат. За ними —парни, девушки. Взрослые стараются сохранить степенность, крестятся, грозят ребятам и вдруг, взглянув вверх, сами начинают кричать.

104. Лицо Арт. Мих.—смотрит кверху.

105. «Юнкерс» снижается.

106. Арт. Мих. разводит руками:

107. ВЕРНО, ВИТЬ, ПЕСИЙ СЫН!

108. В церкви остались старухи; но, смешно ковыляя, крестясь, они одна за другой, пробираются к выходу.

109. Поп остался один. Подумал, подобрал рясу и побежал тоже.

110. Пустая церковь. На подсвечнике, у иконы, качается оставленное попом кадило.

111. Плачевный «лик святого». Воск трехконечной свечки наплывает, капает восковыми слезами.

112. По деревенской улице бежит толпа: впереди молодежь, потом бородачи, бабы, старушонки и поп...

III.

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ.

ПРОЛОГ*).

1. Тайга. Упавшая сосна на скале. Осторожно пробирается соболь. Соболь остановился, его шкурка блестит на солнце.

2. БОГАТСТВА СИБИРИ ИЗДРЕВЛЕ ПРИВЛЕКАЛИ ЕВРОПЕЙЦЕВ.

3. На носу парусника стоят, покачиваясь, несколько крепко сложенных человек.

4. В СТРАНУ, ГДЕ ЗВЕРИ РОДЯТСЯ РЕКОМИИ СОБОЛЬ.

5. Седая борода стоящего впереди развевается по ветру. Старик смотрит вперед, подставив к глазам руку в грубой кожаной рукавице.

6. ПЕРВЫМИ ПРОНИКЛИ В СИБИРЬ РУССКИЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ ИЗ ПОМОРОВ И НОВГОРОДЦЕВ. ОНИ ПРИШЛИ В СИБИРЬ СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ.

7. Карта западной части Северного Морского Пути.

8. Движущаяся черта показывает путь новгородцев до полуострова Ямала и пересекает полуостров.

9. НОВГОРОДЦЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ РЕКАМИ МУТНОЙ И ЗЕЛЕНОЙ, ПЕРЕСЕКАЛИ ЯМАЛ. ОТ РЕКИ ДО РЕКИ ОНИ ТЯНУЛИ СВОИ СУДА ВОЛОКОМ. ОДНО ИЗ ОЗЕР НА ЭТОМ ПУТИ ДО СИХ ПОР НАЗЫВАЕТСЯ НА САМОЕДСКОМ ЯЗЫКЕ: «ЛУЦЕ-ХАВЕ-ТО», ЧТО ЗНАЧИТ—«РУССКИХ УМЕРШИХ ОЗЕРО» И ПОЧИТАЕТСЯ У САМОЕДОВ СВЯЩЕННЫМ.

10. Ровная тундра Ямала. Вдали, на фоне неба, силуэты богатырей, тянущих свои ладьи по земле *(контр-жур)*. Диафрагма.

11. Линия на карте продолжается до города Мангазеи.

12. ВПОСЛЕДСТВИИ ИНОСТРАННЫЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ ВНОВЬ «ОТКРЫЛИ» СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ. ДЕЛАЛИСЬ ПОПЫТКИ УСТАНОВИТЬ ТОРГОВУЮ СВЯЗЬ С СИБИРЬЮ ЭТИМ ПУТЕМ, НО ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ БЫЛО НЕВЕЛИКО. ДЛЯ РУССКОГО ТОРГОВОГО КАПИТАЛА, СМОТРЕВШЕГО НА СИБИРЬ, КАК НА КОЛОНИЮ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД СИБИРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ БЫЛ НЕВЫГОДЕН.

13. Лицо московского купца. Рука поглаживает бороду. Под бородой медаль на цепи.

14. Кабинет царского сановника. Купец кланяется просит, искусно дает взятку. Сановник подписывает «бумагу», купец потирает руки.

15. Сановник откинулся на спинку кресла. Разглаживает бакенбарды. Наплыв.

16. Вместо бакенбард—клыки моржа. Голова моржа высовывается из воды над льдиной. Море, покрытое льдом.

17. БЮРОКРАТИЗМ ДЛЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ОКАЗАЛСЯ СТРАШНЕЕ ЛЬДОВ КАРСКОГО МОРЯ.

18. Памятник Александру III в Ленинграде.

19. ХОЗЯИН.

20. Голова памятника.

21. Надпись на памятнике: Строителю Великого Сибирского и т. д.

22. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НЕ РАЗРЕШИЛА ПРОБЛЕМУ ВЫВОЗА ОСНОВНЫХ БОГАТСТВ СИБИРИ. СИБИРСКАЯ ТАЙГА ПОПРЕЖНЕМУ ОСТАВАЛАСЬ НЕТРОНУТОЙ.

23. Тайга. Стволы строевого леса. Внизу бурелом, коряги, непроходимая завалы бесполезно гниющих деревьев.

---

*) К производственному и научно-хроникальному сценарию, по заказу «Киносибири».

24. Ручей в тайге. Вода течет через упавший ствол. К ручью выходит большой медведь.

25. ХОЗЯИН.

26. Медведь пьет. Поднял голову. Спокойно смотрит на зрителя.

27. Енисей (между Красноярском и Енисейском). На фоне реки—корабельный лес.

28. Карта Сибири. Лесные массивы быстро заштриховываются, возникают надписи: лес, лес...

29. ЛЕСНОЙ ФОНД СИБИРИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ В 257 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ.

30. Таежная горная речка. Песчаная отмель. Шивера. В песке копаются старатели.

31. Лоток старателя на первом плане. В лотке блестит золотой песок.

32. ЗОЛОТО.

33. Горные породы с крупными кристаллами слюды.

34. Большой кристалл слюды на первом плане.

35. СЛЮДЯНЫЕ ГОРЫ.

36. Пласты графита.

37. Карта Туруханского края. Штрихуются месторождения графита.

38. КУРЕЙСКИЙ ГРАФИТ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ.

39. Пласты каменного угля.

40. Образцы высоких сортов угля на первом плане.

41. СИБИРЬ РАСПОЛАГАЕТ 80% ЗАПАСОВ КАМЕННОГО УГЛЯ СССР.

42. Железная руда.

43. ЖЕЛЕЗО.

44. Кусок железной руды и кусок угля рядом.

45. Карта месторождений каменного угля и железа в Кузнецком бассейне.

46. ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ В СИБИРИ ЗАЛЕГАЮТ РЯДОМ С МОЩНЫМИ ПЛАСТАМИ ПРЕВОСХОДНОГО КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ, ЧТО ОБУСЛОВЛИВАЕТ В БУДУЩЕМ РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

47. Казачинский порог на Енисее.

48. СИБИРЬ —ПЕРВАЯ СТРАНА В МИРЕ ПО ЗАПАСАМ ВОДНОЙ ЭНЕРГИИ (БЕЛОГО УГЛЯ).

49. Один из водопадов на Катуни.

50. БОГАТСТВА СИБИРИ НЕИСЧЕРПАЕМЫ. ИХ НАДО ВЫЗВАТЬ К ЖИЗНИ.

51. Из пароходного гудка вырывается пар.

52. Палуба теплохода «Фрумкин» (Иртыш). У лебедки работает машинист. Сзади развевается советский флаг. Рабочий выпрямился, вытирает пакле руки.

53. Лебедка в действии.

54. Тяжелый груз, поднятый на стрелу, передвигается в воздухе.

55. Флаг развевается в воздухе.

56. Рабочий—на первом плане—наблюдает за грузом.

57. Лицо рабочего, смотрящего вверх.

58. ХОЗЯИН.

59. С палубы: общий вид Оби у Новосибирска.

60. Карта Сибири.

61. РЕКИ СИБИРИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕВОСХОДНЫМИ ПУТЯМИ СООБЩЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮЩИМИ ВСЮ СТРАНУ.

62. Карта Сибири и Северного Морского Пути. Движущиеся линии последовательно отмечают Северный Путь.

63. Под'ездные пути Красноярской ж.-д. станции. Товарные платформы нагружаются вручную круглым лесом.

64. Здание станции.

65. Надпись на здании: Красноярск.

66. Сибирская железная дорога. На под'ем медленно ползет товарный поезд. Платформы нагружены лесом.

67. Надпись на платформе: Ленинград.

68. Нижняя часть паровоза. Медленно вращаются колеса. Резко, с большими промежутками, вырывается пар. Вдруг колеса начинают вращаться быстро: паровоз буксует.

69. Машинист и кочегар соскакивают с тендера, бросают под колеса песок. Поезд медленно трогается.

70. Плоты идут вниз по Енисею. Большие стволы на первом плане.

71. С плота: пристань и город.

72. Пристань на первом плане.

73. Спасательный круг у борта. Надпись: Красноярск.

74. Погрузка леса на морской пароход (с воды) на Енисее. Быстро работают мощные лебедки.

75. Морской пароход, нагруженный стандартами леса, идет по Енисею.

76. Штабеля лесоматериалов, поднимающиеся высоко над палубой.

77. Ватер—линия. Сверкает вода. Цифра близ подводной части показывает глубокую осадку.

78. Волна у форштевня.

79. Судовые машины в действии.

80. Кочегары бросают каменный уголь в топки.

81. Дым поднимается из трубы (контр-жур).

82. Дым рассеивается.—Прямой плес Енисея (ниже Туруханска).

83. ЕНИСЕЙ ВЕЛИКИЙ.

84. Морской пароход удаляется посредине великой реки.

85. Надпись на корме парохода (порт приписки):— London.

86. Экран разделяется. На одной половине—тот же товарный поезд, на другой — тот же морской пароход. Впереди на первом плане, слева и справа возникают столбики обычных диаграмм. Выше—надписи: фрахт стандарта леса по железной дороге, фрахт стандарта леса Северным Морским Путем. Фрахт Северным Морским Путем значительно ниже железнодорожного.

87. СИБИРСКИЙ ЛЕС ВОЗМОЖНО ВЫВОЗИТЬ ТОЛЬКО СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ. НА ЭТОТ ПУТЬ, НАХОДИВШИЙСЯ В ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ, ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО. СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, В СМЫСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ЭТИМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

. .

МИХ. НИКИТИН

Кадры

В КАБИНЕТЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

Я сижу в кабинете «Петра Великого». На моем столе лежат штабельки препаратов. Как у всякого старшекурсника, у меня хрост из нескольких зачетов, оставшихся от первого курса. Сейчас я освобождаюсь от неприятного релья застарелой практики.

Время мне не благоприятствует. Утром в кабинет Петра Великого был внесен пузатый ящик, подлоясанный надписью «осторожно». Событие было исключительное. Ящик проделал многоверстное путешествие в трюме одного из карских лихтеров, чтобы поступить в ВУЗ'овский кабинет под именем заграничного лабораторного оборудования.

Мои друзья советовали мне отложить зачет.

— Профессор принимает оборудование,—говорили они,—будет торопить, безусловно всплывешь.

Не послушавшись голоса благоразумия, я ловлю теперь в об'ектив микроскопа конидиеносцев ржавчинных грибков.

Петр Великий склонился над заграничным ящиком. Через плечо он перебросил мохнатое полотенце. Руки его, большие и быстрые, освобождают от курчавых стружек стаканчик за стаканчиком.

У окна сидит белокурая ассистентка. Насколько я успел заметить, она читает сказ про блоху. Я охотно променял бы ржавчинные грибы на Лескова.

Но микроскоп не ждет. Я повертываю микрометренный винт. Черные звезды спор наполняют белый круг об'ектива. Это напоминает астрономическую карту.

Как тихо в кабинете! В окно виден балкон. Я знаю, что до него долетает дыхание марта. Кроме того, стоя на балконе, можно видеть город. Наш город прекрасен весной, когда он плавает в синей дымке дня.

Ассистентка поднимает голову.

— Профессор, знаете, как Лесков называет микроскоп?

Розовый пальчик ассистентки ложится на книжный петит. Не дожидаясь ответа профессора, она роняет:

— Мелкоскоп.

Петр Великий, огромный и темнолицый, приятно пропахший табаком, подходит к тому столу, на котором поставлен сушильный шкаф, и начинает накачивать в бартель воздух. Спичка, поднесенная к горелке, вспыхивает синим пламенем. Густой газовый шум наполняет комнату. Профессор должен повысить голос, чтобы быть услышанным:

— Мелкоскоп,—это остроумно. Остроумнее мокроступов. Лесков прекрасно знал язык, но дело не в этом...

Профессор подходит к своему столу. От быстрого движения полотенце всплескивается, как крыло. Профессор выдвигает верхний ящик. Беллетристика! Я замираю от изумления. Ящик набит беллетристикой. Я вижу корешки книг. Это не оставляет никаких сомнений.

— Здесь пятьсот томов,—говорит профессор,—исключительно переводные романы и при том послевоенные. Я прочел все это и, знаете, к какому пришел выводу?

Профессор захлопывает ящик, полотенце сползает с плеча.

— Вывод такой,—говорит медленно профессор,—что за время войны человечество постарело на сотни лет. Кроме того, в военные годы сформировалось новое поколение с совершенно особенной психологией...

...Легкий треск стекла прерывает профессора. Я машинально свертел винт, об'ектив опустился очень низко.

— Как вам не стыдно!—говорит профессор, возвращаясь к своим стаканчикам.

Я молчу. Могу ли я сказать, что библиотека послевоенных романов заинтересовала меня больше, нежели обманчивые звезды об'ектива?

АЛЬБОМ БЕССОННИЦ.

— Альбом бессонниц!—Такая строчка есть у одного поэта. Я понимаю ее значение.

Два часа ночи. Иззябшая луна заглядывает в окно. Лунный свет не дробится на паркете. Площадь паркета заставлена кроватями. Наш интернат огромен. Он вмещает восемьдесят человек. Дневной его шум напоминает о вокзале. Мы привыкли к шуму настолько, что комнатная тишина нас гнетет. Что же сказать о ночной тишине, когда останавливается время?

Через два месяца я кончу ВУЗ. Я сдам последний зачет и сбегу по лестнице, ведущей к выходным дверям, с такой поспешностью, которая испугает нашего швейцара. В ожидании этого дня я томлюсь, как лошадь, запертая в конюшню. О чем мне сегодня думать?

Буду думать о недавнем споре. Желтая Опасность, когда мы стояли в курилке, задал нам вопрос: есть ли в нашем ВУЗ'е те явления, которые показаны в «Ржавчине»? Мы загорелись, как сухие сучья.

— Есть!—сказали одни.

— Нет!—сказали другие.

Кто был прав? Правы были все. Надо иметь крепкие сети. Тогда можно выловить рыбку истины в озере взволнованного спора. Надо знать тот материал, из которого сработана молодежь. Вокруг меня спят мои товарищи. На соседней койке спит Желтая Опасность, дальше—Мумия, еще дальше—Громкоговоритель. Я слышу их дыхание. Я знаю, из какого материала они сработаны.

Желтая Опасность вырос в Листвянничном, в большом селе на берегу Байкала. Один счастливый случай научил его грамоте, другой —привел в лесничество. В пятнадцатилетнем возрасте он стал десятником на лесозаготовках. Однажды лесничий призвал его.

— Вася,—сказал лесничий,—ты поедешь в Петроград.

Лесничий дал Васе две сотни рублей и две клетки. В клетках сидели голубые лисицы. Вася должен был их свезти петроградскому профессору. С лисицами он поехал в Иркутск. Год начинался семнадцатый. Вагоны захлебывались людскими множествами. Но Васю быстро впустили в теплушку,

так как он был забавен со своими лисицами. Лисицы дорогой затосковали. Вася сторожил их очень зорко. Но где-то под Челябинском он заснул сном мальчика. Кто-то из пассажиров украл лисиц. Вася не заплакал. Он сошел с поезда и разослал по линиям десятки телеграмм. После этого начал метаться по вокзалам. Он поехал в Челябинск, из Челябинска—в Екатеринбург, из Екатеринбурга—в Казань, из Казани—в Москву, из Москвы—в Самару. На больших станциях он сходил с поезда, чтобы спросить жандармов о пропавших лисицах.

Но вдруг жандармы исчезли. Над вокзалами взвились красные флаги. Вася узнал, что царя свергли. Это не помешало ему продолжать розыски. Он метался два месяца в путанице магистралей. Голубые лисицы стали его судьбой. Маршрут его был неопределенен, как маршрут России, судьбой которой стала революция.

Лисицы пропали бесследно. Вася вынужден был в конце-концов вернуться в Иркутск и в лесничество. Но лесничества уже не было. Лесничий сбежал.

Вася поехал к родителям. В Листвениичном к тому времени организовалась читальня. Вася стал сторожем читальни и читателем книг. Потом революция дотронулась до его плеча и призвала его в Красную армию. Вася прошел через всю страну, охваченную пожарищем войны.

В 1923 году, после демобилизации, он поступил в школу взрослых повышенного типа. Тогда-то ему попалась книжка о Мартине Идэн. По примеру Мартина Идэн, Вася перекрестил жилплощадь своей комнаты двумя веревками. Получилось так, что, не вставая из-за стола, Вася мог доставать книги и тетради, развешенные на веревках. Жилплощадь комнаты была небольшая.

Любовь не требует добавочной жилплощади. В школе взрослых училась веселая хохлушка. Она часто приходила к Васе, чтобы вместе учить уроки. Не удивительно, что на жилплощади сибирского Идэна завелась любовь. Вася и хохлушка поженились и поступили в ВУЗ. С тех пор он живет на моих глазах под именем Желтой Опасности.

Он сделал поразительно много за эти три года. Три года работал в газете, три года был одним из руководителей студенческой организации, три года тянул ВУЗ'овскую лямку. Теперь он дошел до третьего курса, но этим не исчерпываются его достижения. Он написал пять-шесть рассказов. Потом у него родилась дочка.

Этот желтоволосый парень расходует свою энергию с царственной щедростью. Но нельзя сказать, чтобы энергия его разматывалась бессмысленно. Он обладает редким у нас умением культурно работать. Его день тщательно расписан в изящные клеточки хронокарт.

Громкоговоритель—столь же великолепно работающая машина, как и Желтая Опасность. Этот человек ликвидировал свою неграмотность лишь в 19 году. Тогда ему было восемнадцать лет. Теперь он кончает ВУЗ, пишет квалификационную работу, изучает немецкий язык и... русскую грамматику. Это, конечно, плохо, что юноша, кончающий ВУЗ, должен учить грамматику. Но винить здесь некого. Громкоговоритель не имел возможности просиживать штаны в гимназиях. Революция послала его в ВУЗ, не считаясь с тем, что он не знает придаточных предложений. Революция не ошиблась. Громкоговоритель сформировался в превосходного работника. Постороннего наблюдателя он поражает небычайной деятельностью. Занимаясь квалификационной работой, немецким языком и грамматикой, он находит время учиться рисованию, играть на любительской сцене и делать анализы корья.

О корье надо сказать особо. Громкоговоритель родился в России. В нежном возрасте он бегал по лугам, разыскивая ивы и сдирая с них кору. Корье притаскивалось домой, и отец продавал его специальным скупщикам. Скупщики отправляли корье на кожевенные заводы.

В прошлом году в Сибири заговорили о бадане, как об источнике таннидов. Громкоговоритель вспомнил про корье. Из воспоминаний детства возникла практическая мысль, нельзя ли для получения таннидов использовать сибирское корье? Решить этот вопрос может химия. Громкоговоритель сделал анализы корья сибирских ив и определил содержание таннидов в корье—8 проц. Этот блестящий процент держит Громкоговорителя в постоянном волнении. Очень возможно, что ивовое корье вытеснит не только квербахо, но и бадан.

Желтая Опасность и Громкоговоритель похожи на двигатели внутреннего сгорания. До них не дотронется ржавчина. Значит ли это, что ржавчины нет? Среди нас есть люди, подобные Громкоговорителю. Рядом с ними уживаются их прямые противоположности.

Через три койки от меня спит Никита. Я знаю, что он проснется поздно и опоздает к завтраку. Умывшись, он купит в Церабкоопе вазелин и леденцы. Вазелином он смажет свое морщинистое лицо, а леденцы будет грызть, когда ляжет в постель. Он пролежит до обеда, а потом будет слоняться по коридорам, скрипя ботинками. Вечером он лениво перелистает газеты и, кончая бесполезный день, снова ляжет в постель.

В зоотехнической лаборатории работает девушка. Я вижу ее каждый вечер, когда она выходит из лабораторного полуподвала. У нее лимонно-желтое лицо. Я знаю, что в результате двух обманов она воспитывает двух детей. Отцы детей ушли в сторонку. Девушка почернела от горя. Разве ее не тронула ржавчина?

НОЧНОЙ РАЗГОВОР.

Вторая бессонная ночь. Часы прохрипели два. Луна по-вчерашнему заглядывает в окно. Все спят. После двенадцати ночи разговоры запрещены. Но на моей койке сидит ночной гость.

Черный Коля известен у нас под именем Могикана. Последний Могикан, он представляет у нас редкий теперь тип вечного студента. Он учится в институте седьмой год. Его обязали кончить весной этого года. Могикан недоволен. Последние месяцы он вынужден заниматься и днем, и ночью. Это делает его грустным.

— Живем мы паршиво,—шепчет мне Коля.—Раньше было голодно, но зато весело. Эх, если б ты знал, как мы жили в Томске!

В Колином кармане шебаршит спичечный коробок. Коля достает спичку. Вспыхивая, она выхватывает из темноты его хмурое лицо и начинает тлеть огоньком папироски. Я слышу сквозь дрему:

— В двадцатом жили мы так: зачеты зубрили, как черти. А как сдадим, сходимся в какую-нибудь квартиру, и начинается ералаш. Эх, что тут было! Плясали, пели, спорили напролет. Потом усаживались в картишки. Наша компания из бывших состояла. Были мы и у Колчака, и у красных, все старые студенты, демобилизованные по приказу Реввоенсовета. Играли мы, понятно, на вещи, а еще на продукты. Каждый приходил с корзинкой, а в корзинке—всякое барахло: штаны, кофточка, заготовки, рукавицы, мука, соль, сахар. Был у нас специальный оценщик. Цены здорово знал. Посмотрит на вещь:

— Пятьсот рублей.—Сейчас же пишет купон на пятьсот; купон отдает хозяину вещи, а вещь берет себе. На купоны и играли. В конце разбираемся—у кого купоны, тот и забирает вещи. Раз пришел к нам парень из технологки:

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Играете?
— Играем.
— Пимы принимаете?
— Принимаем.

Осмотрели пимы, дали купон. Но выдержал он недолго. Через полчаса проигрался в дым.

— До свиданья!
— До свиданья!

Ушел. Нам стало смешно. Решили мы его вернуть. Вернули.

— Хороший, говорим ему, ты парень. Давай выпьем с нами.

Решили выпить. Денег, конечно, не было. Мы тогда вещи с игры конфисковали и продали одному барахольщику. Потом достали самогонки и закатили пируху. Ох, славная была пируха!

Уголек папироски гаснет. Коля притягивает колени к животу и, охватив их руками, начинает раскачиваться, как заклинатель змей.

— Рассохлась наша компания по причине чистки. Выперли нас добрую половину. Пришлось притихнуть. К тому же смерти начались. Двое из наших умерли от туберкулеза, человек пяток бросили учиться, а остальные раз'ехались по разным ВУЗ'ам. Я вот попал в Сибаку*). Вначале было и здесь подходяще. Образовалась у нас тут Запорожская Сечь, жили не скучно, разгружали разные баржи, а на отопление вырубили полрощи. Потом началась та же волынка: минимум, зубрежка, сроки и все такое.

Мгновенное молчание.

— Пойду зубрить!

Вздохнув, Коля поднимается с постели и идет к дверям. Высокий и худой, он похож на тень Дон-Кихота.

Я с облегчением думаю, что у меня есть занятие для этих ночных часов. Я достану тетрадь, все спят, никто не запротестует, если над моей кроватью вспыхнет зеленоватый глаз ночника. Я запишу Колин рассказ, потом буду писать о смене поколений...

...В 1920 году в ВУЗ пришли «бывшие студенты»,—молодые интеллигенты, сменившие российские университеты на казармы учредиловской армии, побывавшие затем в частях Колчака и оказавшиеся, наконец, в частях Красной армии.

В 1920 году ВУЗ'ы возникали, как грибы. Их надо было укомплектовывать учащимися.

«Бывшие студенты» были направлены в эти ВУЗ'ы в порядке мобилизации. Они пришли в английских мундирах со следами российского спорого погона. Эти люди не были расположены к занятиям. У них была большая привычка к картам, выработанная в армии. Очко и преферанс позволяли им отсиживаться от тех ветров, которые ворвались в ВУЗ вместе с новыми студентами, пришедшими по мандатам революции.

Этим было не до карточной игры. Многие из них не знали арифметики. Но они были обязаны вместе со всеми одолевать высшую математику. Это

*) Сибака—растпространенное в Омске сокращение: Сибирский Сельско-Хозяйственный Институт.

было героическое время. Студенты жили в интернатах, плохо согреваемых «буржуйками». Паек был невыразимо мал. Надо было ухитриться не погибнуть с голоду. На разгрузках барж студентам давали хлеб, а иногда и спирт. Возвращаясь в институт, студенты спиливали в роще два-три дерева. Дрова получались сырые. Их надо было поливать керосином, чтобы они вспыхнули. Потом надо было замешивать муку и печь на железе «буржуек» портянкообразные лепешки.

Я не застал этого времени. Я поступил в институт в 24 году, когда не было ни железных печей, ни обуглившихся лепешек. Тогда заработало уже паровое отопление. На кухне, в подвале института, начали варить щи. ВУЗ наполнился рабфаковцами и молодежью из школ 2 ступени. Государство предоставило студентам пятнадцатирублевые стипендии и установило академические минимумы.

Как мы жили в 1924 году? Конечно, иначе, чем в 1928. Книг почти не имели. Лаборатории были плохо оборудованы. Кабинеты представляли из себя комнаты, отгороженные от коридоров дощатой перегородкой. Когда мы шли на обед, нам раздавали глиняные чашки. Мы выстраивались в очередь у котла. Татарин Бурхан, исторический повар Сибаки, наливал в наши чашки мутные щи.

Теперь у нас новая столовая. В столовой—вилки, ножи, тарелки и ежедневно меняющееся меню. Мы спим не на деревянных топчанах, а на железных койках. Клопы нас не трогают. Недостатка в книгах почти нет. Лаборатории оборудованы заново приборами, доставленными Карской экспедицией.

«В общем и целом» жизнь нашего ВУЗ'а стала нормальной. «Тем не менее» в теперешних наших днях меньше жизненного полнокровия, чем в 24 году. В тот день, в который я впервые вошел в институт, все лестницы были завалены сосенками. Студенты плели гирлянды. Институт готовился ко «Дню Урожая». Домовая церковь, превращенная в актовый зал, была наполнена студентами и студентками. В открытые окна врывался ветер. Стоя на лестницах, студентки мыли стены. Два студента взгромоздились под самый потолок. Ведра, запачканные краской, были привязаны к их поясам. Студенты замазывали следы икон. Потом они запели:

— Как на том мосту провались доска,
На мово-то на милого навались тоска...

Я помню также постановку «Мистерии Буфф»—Маяковского. Эта постановка, построенная из двух десятков здоровых глоток и из нескольких кусков картона, не имела бы в настоящее время успеха Я знаю это твердо. Теперь студенты склоняются к «вечерам интимных настроений». Какой бурный успех имел исполнитель интимных песенок, выступивший на студенческом недавнем вечере! Он пел дискантом гермафродита и заслужил громовые аплодисменты. На другой день весь институт напевал его песенку:

— Бледный мальчик в трико светло-палевом...

Кто-то пробовал возмущаться. Протестантам говорили, что они не понимают красоты.

Так ли это,—не знаю. Я знаю, что студенты, поступившие в последние года, сильно отличаются от студентов прежних лет поступления. Студенты 24 года—это рабфаковцы, а также люди, побывавшие в армии, поработавшие в производстве и прошедшие известную жизненную школу. Теперь в ВУЗ поступают рабфаковцы и второступенцы. Второступенцы добросовестно сдают зачеты. Но, мне кажется, что у них нет избирательной способ-

ности по отношению к дисциплинам. Они одинаково добросовестно зубрят и химию, и экономические науки, и математику.

Меня смущает также их рассудительность. Она принимает иногда смешные формы. Мне запомнилась история первокурсника Б. Он приехал в Омск осенью прошлого года. С вокзала пришлось ехать ночью. Очутившись в поле, отделившем вокзал от города, Б. испугался. Действия извозчика, который его вез, показались ему подозрительными. Б. украдкой записал в блок-нот:

— В смерти моей виноват извозчик.

Сунув блок-нот в карман, Б. стал дожидаться смерти. Извозчик его, разумеется, не тронул. Мы много смеялись над Б. Но потом я подумал не без грусти, что расчетливая юность не полнокровна.

Любопытно еще отметить, что новые студенты приезжают в ВУЗ не только с запасами белья, но и с банками варенья.

УНИЧТОЖЕННЫЙ РАССКАЗ.

Я перечел ночные записи. Из них надо сделать очерки. Это я решил твердо. Эпистолярная непосредственность записей дает мне иллюзию откровенного разговора с читателем, великолепную иллюзию, которой я не смог добиться ни в одном из своих рассказов.

Сегодня после двенадцати ночи я прошел через весь полуподвальный этаж. Он был пуст. Войдя в столовую, скупо освещенную луной, я услышал прерывистый шопот:

— Коля, я больше не могу!..

На одном из подоконников, чуть приподнятом над асфальтом пола, сидели две фигуры.

— Обыкновенная история!—подумал я, вспомнив, что из столовой давно вынесены столы и что она превращена в «нейтральную зону», служащую для ночных встреч. Один из моих приятелей предлагал прибить здесь вывеску:

— Прохожий, сними шапку: здесь начинается горестная любовь!

Да, горестная любовь. Вернувшись в интернат, я достал свою тетрадь с надписью «Звездные кони». Это неоконченный рассказ. Сейчас мне не нужны рассказы. Материал рассказа разместится в моих очерках. Поэтому я пишу в новой тетради: «Обыкновенная любовь».

...Назовем героев условно: Эсфирь Клейн и Коля Нечет. Свадьба Эсфири Клейн и Коли Нечет была устроена в анатомическом кабинете посреди препараторских столов и коровьих скелетов. Нас было восемь человек. Когда мы с'ели двенадцать арбузов, жених и невеста начали перебрасываться арбузными корками. Эсфирь выбила Колю из его спокойного кресла, похищенного на время из профессорского кабинета. Коля вскочил и уронил коровий скелет. После этого Эсфирь Клейн и Коля Нечет, бывший комбриг, уехали в колонию женатых.

«Однажды осенью», как пишут в старых романах, я вспомнил об этой свадьбе и решил навестить молодоженов. Колония женатых помещалась в то время на кирпичном заводе. Завод не работал. Необозримое бурьянное поле отделяло его от института.

Мне запомнился этот вечер. За Иртышом догорала заря. Огромное поле серебрилось полынью, над полынным разливом стыли заводские трубы.

Я подошел к заводу. Ворота были раскрыты. Я увидел двор, заваленный битым кирпичом. К красным корпусам приткнулся деревянный домик. Его выбитые окна были забраны тряпьем.

В мертвой тишине вечера послышался всплеск воды. Я обогнул дом и увидел Эсфирь Клейн. Она стояла у березки, к которой был прибит жестяной умывальник. Желтое, тряпье березы распласталось над чертополошьем. Острый ветер трепал полотенце, брошенное на ветку. Плечи Эсфирь были зябко подняты.

— Эсфирь, здравствуй!—сказал я.

Она вздрогнула. Я увидел ее мокрое лицо, посиневшее от ветра.

— Ты совсем нас забыл,—сказала Эсфирь, снимая полотенце.—Как это ты собрался?

Я нашел Эсфирь изменившейся. Пухлые ее щеки опали, глаза ввалились.

— Коля дома?—спросил я, осматривая украдкой колонию.

— Работает на разгрузке,—ответила Эсфирь, повесив на плечо полотенце.—Пойдем в комнату.

В покосившихся сенцах нас охватил запах пеленок. За дверью была детская. Посредине комнаты стояла огромная корзина, над ней торчали детские головы.

— Это наше изобретение,—сказала Эсфирь.—У нас, как ты знаешь, четыре матери, они смотрят за детьми по очереди, а для удобства ребят усаживают в бельевую корзину.

Я огляделся. Вокруг круглой печки развешаны пеленки. Корыто с грязной водой стояло на лавке. Младенцы сидели смирно Над ними хлопотала круглая старушка.

— Это Наташина мама,—сказала Эсфирь, когда мы вышли в коридор.—Она явилась из города, наши матери подкинули ей выводок, а сами сбежали в институт.

Мы прошли мимо ряда комнат. Они были похожи на пароходные каюты. В комнате Эсфири стоял стол и две кровати. Над одной из кроватей висел вытертый коврик. Еще была самодельная полка, уставленная книгами, и два расшатанных табурета.

— Садись, рассказывай,—сказала Эсфирь.

Я приготовился рассказывать, но за перегородкой заплакали младенцы, потом зашлепали туфли, старушечий голос заворковал.

— Надоел мне этот выводок!—сказала Эсфирь. Ее круглый подбородок передернулся.

Младенцы не унимались.

— Пойдем к озеру,—предложил я. Эсфирь кивнула головой.

Подойдя к вешалке, она сняла пальто и оделась.

— Двинулись!—сказала Эсфирь, нахлобучивая кепи.

Мы вышли на крыльцо. Закат угасал. В потемневшем небе показались первые звезды. Мы пошли по тропинке, затерянной в бурьяне. Потом бурьян кончился. В просвете двух корпусов блеснуло озеро. Туда уводили тусклые рельсы узкоколейки, казавшиеся игрушечными.

— Расскажи о себе, Эсфирь,—сказал я.—Расскажи, как вы тут устроились?

— Наверное, видишь, как,—ответила Эсфирь.—Хорошего мало, дом дырявый, печи дырявые, отовсюду дует. К тому же ребятишки. А если б ты знал, что за люди эти студентки-матери! Сплошь больные и малокровные истерички. Из четырех здорова только одна.

Брови Эсфирь сошлись над переносьем.

— Знаешь,—сказала она, чуть помолчав,—я боюсь подумать, что у меня будет ребенок. Мне кажется, мы тогда погибнем.

Рельсы кончились. Мы вышли к озеру. Ступеньки полуистлевшей лестницы вели к мосткам, отошедшим от берега сажени на полторы. Гнилые доски качались, как трясина. Мы встали на краю мостков. Эсфирь дотянуась до ближней тростинки, и, наклонив ее, быстро переломила.

— Помнишь,—сказала Эсфирь, расщепывая тростинку,—я высказалась на дискуссии против аборта. Теперь вижу, что была неправа. Студентка, когда она выходит замуж за студента, должна сделать выбор: или уход из ВУЗ'а, или аборт, или потеря здоровья. Невозможно иметь ребенка при нашем бюджете. Говорят, хорошо устроился Коля Мопр: получает стипендию ВСНХ, служит в кабинете, жена тоже получает стипендию. Но я говорила с Петей. Мы высчитали, сколько уходит на ребенка. В результате оказывается, на них вместе с нянькой остается тридцать рублей в месяц.

Излияния Эсфирь грозили затянуться.

— Послушаем, как звенит тростник!—сказал я.

В озере отражалось звездное небо. Ковш Большой Медведицы опрокинулся у мостков. Им можно было вычерпать всю воду озера.

Я начал рассказывать киргизские легенды. Я рассказал о Семи Ворах Большой Медведицы. Потом перешел к Полярной звезде. Я сказал, что к ее железному приколу прикованы небесные кони.

Эсфирь перебила меня:

— Пойдем! Коля, вероятно, вернулся.

Мы встретили Колю у самого дома. Он вышел из пролета корпусов. Я распрощался с Эсфирью. Коля пошел меня провожать. Мы зашагали по бурьянному полю. Сначала шли молча, потом Коля заговорил. Он начал с воспоминания о страшном отступлении с Дона, когда его полк отбивался от казачьей бригады. Сначала у него было восемьсот сабель. Потом осталось двести. Красногвардейскому полку пришлось проходить враждебными станицами. Разразилась метель. Кони и люди выбились из сил. Коля знал тогда, что надо делать. Измученные люди сваливались в снег, мгновенно засыпая. Он поднимал их ударами нагайки и руганью. Так он вывел сто двадцать всадников.

Теперь пришло другое время. Бывший комбриг, шагая рядом со мной, потерянно спрашивает:

— Как мне поступить?

О «НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЛЮБВИ».

Прочитал в газетах: «В Москве прошла очередная дискуссия «О половой проблеме в художественной литературе».

Ругали Малашкина. Малашкин заявил, что в повести о «Луне с правой стороны» он хотел возможно острее поставить перед молодежью проблему пола, чтобы этим оказать ей, молодежи, посильную помощь.

Малашкину заметили, что группа московских комсомольцев, прочитавшая его повесть, стала устраивать афинские ночи, о которых раньше она не имела никакого представления.

Я хотел бы быть на этой дискуссии. Я сказал бы Малашкину: вам надо видеть, как Эсфирь и Коля открыли ночью дверь чужого дома с надписью на эмалированной доске: «Акушерство и женские болезни».

В самом деле, если б вы видели, как строго блеснули очки женщины, встретившей их в приемной, и как тяжелая портьера упала за спиной Эсфири! Если б вы видели, как перелистывал Коля, сидя в приемной докторши, потрепанные юмористические журналы! Если б вы знали, как слушал он, доносившуюся из докторской гостиной, трогательную песенку о Сюзанне,

у которой синие глаза, да, синие глаза и розовый рот,—если б вы знали все это, вам стало бы понятно, что дни наши насыщены не запахом антоновских яблок, а запахами сулемы, иода и еще полыни.

Тогда вы отказались бы от преследования скандальной славы и, может быть, изобразили бы с беспощадной правдивостью обыкновенную студенческую любовь, распинаемую на Голгофе гинекологического кресла.

ДИСКУССИЯ О «РЖАВЧИНЕ».

Состоялась дискуссия о «Ржавчине». Коля Мопр, наш прославленный скорописец, сделал почти стенографическую запись прений. Привожу их в сокращенном виде, заменяя фамилии ораторов условными псевдонимами.

Студент-активист.—Товарищи, вы, конечно, помните, в «Ржавчине» выведен нэпман, спаивающий студентов. Мне вспомнился один случай из моей практики. Я работал летом на агроучастке. В моем районе жил-был один весьма предприимчивый кулак. Не думайте, что это был мужик в жилетке и в сапогах бутылками. Этот кулак происходил из гвардейских офицеров. Он держался очень тонко. Спаивал весь РИК. Пили все, и я в том числе (голос с места:—«Исповедь!»).

— Этот факт достаточно показывает, мы не имеем иммунитета по отношению к чуждым нам влияниям.

— Вам не надо напоминать тех сцен пьесы, где студент Петр пытается повеситься. Здесь возникает такой вопрос. Петр жил в общежитии. Все видели, что незадолго до попытки к самоубийству он мучился и тосковал. Но никто не захотел ему помочь. Вот эта безучастность, мне кажется, характерна для нашей среды. У нас, по-моему, нет крепкой товарищеской спайки. К товарищу, попавшему в беду, мы относимся весьма прохладно. Необходимо это прохладное отношение изжить. С особенным вниманием мы должны относиться к тем из нас, которые, вследствие перехода от напряженной довузовской деятельности к вузовской жизни, идущей на малых скоростях, так или иначе становятся упадочниками. Нужна товарищеская круговая порука. Это самое главное.

Секретарь комсомольской ячейки.—Я согласен с предыдущим оратором. Мы очень плохие товарищи. У нас нередко случается: провалит парень зачет, товарищи поднимают его насмех. В конце-концов парень уходит из ВУЗ'а. Такие случаи были. В «Ржавчине» много говорится о новой половой морали. У нас, конечно, нет таких типов, как Терехин или, точнее, Кореньков, выведенный в пьесе под именем Терехина. Но элемент кореньковщины в нашем быту, конечно, есть. Расскажу вам один случай. В городское общежитие студентов № 2 часто захаживала одна студентка, довольно несдержанная в известном отношении. И вот худпромовцы заспорили с ветеринарами насчет того, что они уговорят, студентку раздеться при всех. Пошли на пари. Когда эта студентка явилась, они ей говорят:—«Нинка, слабо тебе раздеться!» Она говорит:—«Нет не слабо!».—Спорили-спорили и уговорили ее раздеться за сто рублей. Она разделась. Над ней посмеялись, а сто рублей не отдали. Здесь, конечно, важно не то, что не отдали сто рублей. Важно то, что студенты довели своего товарища до такого состояния. Это—во-первых. А, во-вторых, самая возможность такого пари в студенческой среде есть величайшее безобразие. Вы знаете, товарищи, что ветеринары ввели у себя в институте моду на целование ручек у студенток. Пусть они оставят эту моду. Но пусть не устраивают таких отвратительных, унижающих женщину, пари.

Студент, пишущий рассказ.—Мы не литературоведы. Я не хотел бы говорить о «Ржавчине». Я хотел бы говорить о фактах, в окружении которых мы живем. Но я боюсь, что председатель прервет меня, сказав, что я говорю не на тему. Поэтому, сначала, о «Ржавчине». Студентка-Нина в «Ржавчине» говорит, что за короткий период она сделала четыре аборта. Это признание нашло бы соответствие и в нашей действительности. Наши студентки, если они желают учиться, не могут быть матерями. Вам это известно. Аборт, как средство предупреждения деторождения, занимает видное место. В «Сибирском Медицинском Журнале» напечатана работа доктора Никитина—«Аборты в Омском округе». Там есть интересные цифры. О студентках мединститута говорится, например, что количество абортирующих у них достигает солидной цифры в 3 проц. Срок пребывания в мединституте—пятилетний. Теоретически за время обучения в ВУЗ'е пятнадцать студенток из каждой сотни должны иметь аборт. Я думаю, это соответствует действительности. Правильность моих теоретических расчетов мог бы засвидетельствовать наш ученый статистик проф. Нагнибеда (смех на местах). Не смейтесь, товарищи, это очень грустная статистика. Если мы задумали уничтожить ржавчину, то надо в первую очередь уничтожить аборты (Голос с места: «Как?»).

— Я не знаю как. Только надо это сделать. Может быть, придется устроить ясли. Надо это обсудить.

Студент, исключенный из комсомола.—Я хочу сказать насчет коллектива. У нас, ребята, коллектива нет. Наше студенчество разбито на отдельные группочки. В одной группочке не желают знать, что делается в другой. Возьмем, к примеру, комсомольскую ячейку. Она живет обособленно от всей массы студенчества. Внутри же ячейки актив держится обособленно от рядовых членов. Ежели какой-нибудь парень свихнется, никто не заботится о том, чтобы его выправить. Наоборот, все поднимают скулеж. В конце-концов парня выбрасывают из коллектива.

Студент-комсомолец.—Иннокентий (показывает на студента, исключенного из комсомола) сильно преувеличивает. Вы, разумеется, поняли, что Иннокентий говорил о себе. Конечно, к нему коллектив отнесся довольно жестоко. В чем провинился Иннокентий? Напился пьян, набуянил, словом, немножко, свихнулся. Ячейка его исключила. Конечно, это очень жесткий шаг. Иннокентий озлобился, отсюда идут его настроения. Мне все-таки кажется, что коллектив может делать ошибку по отношению к тому или иному члену, но бить по голове своих отдельных членов коллектив намерения все же не имеет.

— Разобщенность у нас, конечно, существует. Это очень вредно для дела, поэтому нам надо построить здоровый коллектив.

Студентка-комсомолка.—У нас в ВУЗ'е число замужних студенток дошло до десяти процентов. Это сравнительно высокий процент. Нам надо присмотреться к тем бытовым условиям, которые окружают замужнюю студентку. Замужество студентки начинается с того, что коллектив от нее отвертывается: раз вышла замуж, значит, потеряна для общественной работы. Так у нас считают. После этого наступает второе несчастье, т.-е. то событие, которое в наших условиях является несчастьем. Я говорю о материнстве. Процент абортов у нас большой. Об этом здесь говорилось. Если студентка решится иметь ребенка, то это значит, что она обрекает себя на отрыв от учебы и от коллектива. В каких условиях живут наши матери? Комната, рассчитана, например, на три человека. Живет в такой комнате три семьи: три мужа, три жены, три ребенка, а нередко и три няньки. Можно ли сохранить здоровье в такой обстановке? Десять раз нет. Какой же мыслим выход из этого положения? По-моему, надо открыть ясли. Надо производить ежемесячные

отчисления от наших стипендий в пользу яслей. Нас восемьсот человек. Если будем отчислять 1 проц. от нашей двадцатирублевой стипендии, то соберется сумма рублей в полтораста. (Движение на местах. Шум). Я думаю такое отчисление надо установить. (Возглас с места: «коллонтаевщина!»). Может быть, и коллонтаевщина. Но я помню, как нам, четырем матерям, профком выдал по десяти рублей. Деньги, конечно, небольшие. Я смогла купить на них только ванночку. Но тогда это подбодрило меня очень сильно. Теперь я устроена сравнительно прилично и хлопочу, конечно, не о себе, а о молодых матерях. Я настаиваю на своем предложении.

Студентка-активистка.—Мы, студентки, получили равноправие только официальное. Когда составляются группы для практикумов или семинаров, студенты стараются не впускать в свою группу женщин: женщины-де, хуже работают. В некоторых случаях этот взгляд, к сожалению, имеет фактическое основание. Поэтому мы должны добиваться равноправия в работе.

Доцент лесного факультета.—Замужество для студентки—огромное несчастье. Я отсутствовал в Сибаке три года, а когда вернулся, меня поразило теперешнее состояние тех студенток, которых раньше я видел цветущими и здоровыми. Теперь, выйдя замуж, они стали полными старухами. Все это убеждает нас в необходимости оказывать помощь замужним студенткам.

Я хочу коснуться легенды о половой распущенности студенчества. Прежнее студенчество, мне кажется, не отличалось высокой нравственностью. Половое обследование московского студенчества в довоенное время давало высокий процент больных венерическими болезнями. А разве мало уделяла внимания прежняя художественная литература студенту и проститутке? Современное студенчество чрезвычайно редко прибегает к проституции. Одно это обстоятельство—достаточный довод против легенды о половой распущенности. Во всяком случае, если отдельные представители студенчества и придерживались в первые годы нэпа теории «стакана воды», то теперь эта теория начинает терять своих сторонников.

В заключение я хочу сказать о нашем досуге. Мы не умеем организовать отдых. Наши семейные вечеринки скучны и бессодержательны. Необходимо устраивать эти вечеринки такими, чтобы они давали заряд жизнерадостности. Человек хорошо работает тогда, когда он здоров и бодр.

Член бытовой комиссии.—Сообщу вам некоторые результаты обследования студенчества. Выборочное обследование, произведенное нами, обнаружило, что студенты нерационально используют свое время. Это в значительной степени вызвано интернатскими условиями. Трудно организовать время в интернате, где живут восемьдесят человек, но студенты не делают и того, что можно было бы сделать. В тумбочках, где хранятся вещи, мы нашли равноправие сапожных щеток с кусками хлеба, грязного белья с тетрадями, смятых костюмов с книгами. Процветает мат. Однажды у меня в кабинете астрономии сидел один парень. Не думайте, что это был знаменитый Балохонцев. Нет, это был средний студент. Я разговаривал с ним в течение часа, у меня на столе лежала тетрадь, и я после каждого мата ставил палочку. К концу разговора у меня скопилось шестьдесят палочек (Смех).

Художественную литературу читает две трети студенчества. Наиболее распространенные авторы—Максим Горький и Синклэр Льюис. Газеты и журналы читают почти все. Студентки довольно часто входят в категорию не читающих газеты. Даже некоторые комсомолки не берут в руки «Правду». Что касается физкультуры, то в кружок физкультурников вовлечено лишь тридцать процентов студенчества.

КТО ОН?

Часто задают вопрос: кто он?

В самом деле, кто он, сегодняшний студент, на котором писатели зарабатывают гонорар и славу, а устроители диспутов—всяческие неприятности? Если б можно было ответить на этот вопрос, писатели не писали бы романов о студенте, а в стенах политехнического музея не повторялся бы три раза в течение недели диспут на тему «Какова же наша современная молодежь?».

Большинство студентов, с которыми я живу, выросло в исключительных условиях. Формирование их личности началось в те годы, когда миллионы людей и миллиарды вещей были брошены в ненасытные пропасти войны. Один мой сверстник сказал как-то:

— Я не помню мирного времени.

Меня поразило это замечание. Я постарался припомнить свое мирное время. Оказалось, что оно начинается для меня автомобилями, развозящими по госпиталям первых раненых с землисто-белыми лицами. Когда-то было «мирное время». У меня к нему затаенное недоверие. Такое же, как и к учебнику древней истории.

— Мы есть лен на стлище,—сказал загрустивший человек.

Используем эту фразу, практически ее локализуя. Вузовская молодежь—это лен на стлище. Раньше, чем лечь на стлище, лен отцвел нужное время на полях войны. Потом он созрел в воздухе революции. Жизнь изготовит из него свой фабрикат. Мы будем говорить о качествах льна на стлище. Современное студенчество приходит в ВУЗ от земли и фабрик. Оно поступает сначала в предварительную обработку на рабфак. На рабфаке деревенский или рабочий юноша в четырехлетний срок должен сделать ту работу, которую прежний гимназист выполнял в течение восьми лет. По этой причине общеобразовательный уровень современного студенчества понижен сравнительно со студенчеством довоенного времени. Теперешний студент не сможет процитировать:—Доколе ты о, Катилина!—Он не знает также греческой мифологии и никогда не видел учебника философии профессора Челпанова. Это небольшая беда. Наоборот, это большое счастье. Гораздо хуже то, что современный студент враждует с грамматикой и что он не знает новых языков. В самом маленьком заявлении студента вы можете найти две-три ошибки. Незнание языков отгораживает вузовцев от иностранной литературы. По всему по этому некоторые вузовцы учат грамматику. Очень многие начали изучать немецкий и английский языки.

Практицизм—отличительный признак нового студента. Он не любит разговоров на философские темы. Мне кажется, что это не плохое качество. Русская интеллигенция любила философию, любила разговоры, но не любила дела. (Мы думаем, что философия есть род литературы. Нельзя сказать, чтобы это был особенно высокий род). Мы находим, что кропотливая работа в лабораториях полезнее проблемы пола. Опыты с кормлением коров полезнее богоискательства. Практицизм *дела* желателен. Его надо усиливать. Студент еще недостаточно деловит. Он должен узнать тяжелую цену вещей, чтобы использовать их разумно. Он должен овладеть своим временем.

Вузовской молодежи приписывают половую распущенность. Здесь несомненное преувеличение. Я совершенно твердо уверен, что молодежь *провинциального ВУЗ'а*)* должна быть освобождена от упреков в половой распущенности. Самчество, конечно, есть. Но это не новое образование, оно было и у старых студентов. Только тогда оно было тщательно завуалировано всяче-

*) О столичных вузовцах я не говорю, так как их не знаю. А Залкинд утверждает, что столичное студенчество сильно отличается от провинциального.

скими приличиями. Теперешняя молодежь хочет быть естественной. Очень часто естественность переходит в цинизм. Посторонний наблюдатель судит о студентах по внешнему виду, принимая цинизм за распущенность. Так возникает «общественная молва». Писатели подхватывают ее и, изготовляя роман, превращают ВУЗ в притон разврата. В самом деле, где наблюдал афинские ночи Сергей Малашкин? Лавры Малашкина не дают покоя другим авторам. Дорогойченко пошел еще дальше. У него студентка насилует студентку. Что же придумает третий автор?

В Москве дискуссируют о половой жизни студенчества. Ораторы бьют друг друга статистикой: живут половой жизнью столько-то процентов, не живут—столько-то.—Это заставляет вспомнить доктора Зильберштейна, придуманного В. Зазубриным. Он (Зильберштейн) также хотел найти числовые выражения для сложнейших человеческих отношений. Я не хочу походить на доктора Зильберштейна. Но убеждают цифрами. Я произвел выборочное обследование студенчества по всем правилам статистики, преподанным профессором Натнибедой. Оно дает мне право заявить, что той распущенности, о которой пишут Малашкин, Гумилевский и Дорогойченко, в вузовской среде нет.

Теперь о самом главном. Есть ли у студентов добрая воля к участию в строительстве хозяйства? Та добрая воля, которую студенческий публицист определяет, как право на получение паспорта красного специалиста?

Раньше молодые люди кончали высшую школу, чтобы получить «положение». Теперь, конечно, также встречаются юноши, которые учатся в ВУЗ'е, чтобы «получить профессию». Но таких немного. В большинстве же случаев молодежь поступает в ВУЗ с сознательным желанием занять свое место в строительстве хозяйства. ВУЗ выпускает, несомненно, доброкачественную молодежь. Лен на стлище хорошо вылеживается.

Я хотел бы только, чтобы у нашей молодежи была не только деловитость, но и энтузиазм дела. Я помню, как поражены были мои друзья, когда я рассказал им содержание книги Бориса Кушнера «103 дня на Западе». Мы воочию убедились в том, что наша промышленность чудовищно отстала от промышленности Запада. Мы единогласно порешили: нам надо выработать семимильный шаг американизма, помноженный на революционный энтузиазм, чтобы нагнать Запад.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.

Авторы, печатающиеся в отделе «Быт», чрезвычайно любят блеклые цветы раздумья, покрытые лирической пыльцой. В двух предыдущих главах автор старался быть особенно сухим и деловитым. Добродетель должна быть награждаема. Автор надеется, что ему будет позволено лирическое отступление.

Итак, отступление. Мне кажется теперь, что последний мой зачет не заставит меня сбежать по лестнице с поспешностью, путающей швейцара. Я сойду спокойно в окружении моих друзей. Это будет весенним вечером. Мы устроимся на веранде нашей столовой, чтобы смотреть на серебряный от луны Иртыш и на далекие огни города. Мы выпьем несколько бутылок пива, разговаривая о наших встречах.

Да, о встречах. Мы встретимся так, как встречаются в тайге изыскательские партии. Вероятно, это произойдет в летний вечер. Мы устроим общий привал и разожжем костры, чтобы высушить мокрые бродни и сварить свой ужин. Наши костры будут гореть до самого рассвета. Мы будем говорить о веселой работе, вспоминая Сибаку и споря о будущей Сибири.

К очерку «Кадры»

В ЛАБОРАТОРИИ

МОТОРНЫЙ ПЛУГ

ЭКСПЕДИЦИЯ НА АЛТАЕ

СЕМЬЯ ОХОТНИКА

Фот. Коровников

А. КОПТЕЛОВ

Горными тропами

I. ГОЛУБОЕ СЕРЕБРО.

Были жаркие июльские дни. Я торопился в Уймонскую долину, чтобы там догнать экспедицию и проехать с ней по Центральному Алтаю, перевалить через Катунский хребет, побывать на Белухе и горячих Рахмановских ключах. Крепкие маленькие лошади отмахивали по сотне верст в день. Рядом со мной в черемуховом коробке сидел заведующий Алтайской конторой Госторга. Он ехал на Уймон, чтобы ознакомиться с заготовкой маральих рогов. Под нами—два мешка с серебром. Заготовка рогов началась—серебро необходимо. Кержаки, напуганные слухами о войне, продают рога за серебро. Если услышат они, что за рога дадут бумажные деньги—поворачиваются и уходят.

— Нет, денежки-то могут уплыть, а рога—они... пускай висят.

Еще недавно мужики отказывались от серебра:

— Зачем много даешь? Куда я его дену? Мешка у меня с собой нет...

А теперь раз'ездной агент Госторга Петелин рассказывает нам, что Усть-Коксинский аймакисполком с почталионами кольцевой почты послал извещение гончарам: не делать много корчаг, а то кержаки серебро в них прячут.

Маральи рога—голубое серебро, серебро, которое идет в Китай. Они расцениваются по 500 руб. за пуд. Тысяча рублей в полтинниках весит один пуд. Мы везем звонкое серебро для обмена на другое серебро—голубое. Пуд серебра—два пуда рогов, снятых с 10-12 маралов!

За Абаем начались маральники. Петелин говорил о заготовках.

— Здесь рога будут... только прежде всего надо у Полиекта Никоновича купить. Когда Полиект продаст—все мараловоды нам повезут рога.

— А много у него рогов?—интересуюсь я.

— Тысячи на три.

— А маралов сколько?

— Этого он не скажет. Десятый раз приезжай к нему, знакомый уже, а спросишь о числе маралов—отвечает: «немножко». Они считают, что говорить правильно о маралах нельзя: «зверь*) портиться будет».

---

*) Мараловоды—марала называют «зверем».

II. НА ЗАИМКЕ ПОЛИЕКТА.

Утром мы направляемся к Полиекту. Заимка его далеко от сел. Лугами, полями, лесами пользуется один Полиект на несколько верст в окружности. Усадьба его растянулась на полверсты: домики, избушки, амбары, амбарчики, клетушки, пригоны. От усадьбы подымается в гору густой хвойный лес. Там—обширный маральник Полиекта. У ручья—три табуна уток. Около ворот громким погавиванием встретили гуси. Из-за широких амбаров выскочили две собаки,—громкий лай их нарушил тишину таежную. Вскоре показался хозяин. Он, утирая руки о черные полы кафтана, шел к воротам. Из-под кошемной шляпы его выбились седые пряди под кружок подстриженных волос. Серая, пророческая, вечно нечесаная, борода свилась в плотные пряди. Из-под густых бровей смотрят хитрые глазки коренного алтайского кержака. Полиект Никонович—мой знакомый, я был у него прошлое лето. Теперь он протягивает мне руку и говорит:

— Здорово живешь. Не забыл нас. Приехал. Милости просим.

Поворотился к крыльцу старого, по-амбарному крытого дома с маленькими окошечками, блещущими цветными старинными стеклами, и, махнув рукой, крикнул толстой зобастой старухе:

— А ну-ко, старуха, собери там...

Широкий подол черного сарафана скрылся за дверью, на которой неумелой рукой был нарисован уродливый лев и вокруг него десяток странных цветочков. Петелин заговаривает о рогах:

— Деньги привезли, Полиект Никонович. За рогами приехали. Будешь продавать-то?

— Дак как поди... продам же потом. Посмотрю вот, кака последняя цена будет,—он погладил бороду и поцарапал около уха.

Мне пришлось убеждать Полиекта в том, что приехал главный начальник, что рога за границу вывозит Госторг и что дороже никто не даст. Старик не сдавался.

— Куда мне торопиться? В деньгах нужды пока нет.

Старуха показалась в двери. Полиект прервал разговор о рогах и пригласил в избу.

— Откушать пойдемте,—в нос проговорил он и, поклонившись, ушел в дом, что-то рассказывая старухе.

На широкой лавочке у амбара неподвижно сидела девушка и смотрела в одну точку. На коленях ее лежала голова женщины, одетой в пестрый с огромными цветками сарафан, подпоясанный поясом домотканным со словами молитвы. В желтой, точно тело мертвеца, мочке уха висела огромная серебряная серьга с петухом. Золотой луч солнца, лаская теплом, гладил изрытое оспой и мертвенно бледное лицо. Легкая тень от набежавшего на солнце тонкого облачка медленно проплыла по неподвижному лицу, и оно на минуту подернулось землистым цветом. Что-то знакомое видел я в этом лице.

— Кажется, дочь Полиекта?

Я видел ее прошлый год. Мы заехали к ним на заимку в маленький кержацкий праздничек. В маленькой комнате, пол которой был густо усыпан скорлупой свежих кедровых орехов, валялся человек: половина туловища—под широкой лавкой, а скуластое и красное лицо было около самого порога. Хозяин в розовой рубашке, опоясанной тонким ремешком, встретил с туясом, до краев медовухой наполненным. Я видел эту высокую и широкоплечую фигуру второй раз.

— Пей!—крикнул он и качнул туяс; пиво выплеснулось и облило грудь его.

— Сначала накорми, только вкусным. Кержаки на Уймоне заморили на постной пище.

Он повернулся лицом в куть и крикнул:

— Бабенка! котел яиц вари.

В углу около печи сидела по-кержацки слабенькая, женщина в синем сарафане. Она поспешно встала и как-то боязливо, будто под ногами ее дрожали половицы, прошла мимо меня, не подымая глаз.

Человек, валявшийся на полу, приподнял голову и глухо промычал:

— Мяса-а! Какой я гость, коли мясом не кормите.

Подымаясь, он стукнулся головой о лавку. Стоя на четвереньках и покачиваясь, кричал:

— Кержачье постылое! К чорту вас...—С постами-то вас,—и он загнул трехэтажный мат.

Хозяин успокоил его:

— Сейчас,—крикнул он и вывернулся из дома; у пояса его болтался нож. Через минуту он вернулся, сказал: «Пойдемте промышлять»—и, схватив винтовку, выбежал во двор.

Я вышел за хозяином. Женщина шла обратно так осторожно, будто на голове ее стояла чашка, полная воды, и она боялась ее расплескать. Хозяин приложил к плечу винтовку. Звук выстрела раскатился по лесу: в маральнике перевернулся поросенок—пуля пробила живот его.

— Не тот попал,—по-охотничьи проговорил хозяин, подымая поросенка за ножки,—не будешь бегать больше.

В комнате он бросил его к ногам жены и крикнул:

— В два счета чтобы... а то... Бабенка, шевелись!

В углу на кровати сидел двухлетний мальчик, маленькими ручонками разламывал пареную кедровую шишку. Светлые его и мелкие зубы блестели из темноты. Он боялся выйти из своего угла.

Через полтора часа мы с пьяным свояком хозяина ели жареного поросенка. Хозяин даже не попробовал: был пост.

Когда мы уезжали, он, бросив вслед предложенные деньги, крикнул:

— Бабенка! положь поросенка им в коробок,—и немного тише проворчал:

— Мы не такие, чтобы за такую мелочь деньги брать. Завсяко-просто заезжайте, если путь колды случится.

Не подымая глаз, женщина подошла к коробку...

Теперь она так же медленно и еще осторожнее проходила мимо меня. Глаза ее как-то глупо и пусто смотрели вперед и, казалось, не видели ничего. Она шла, как слепая, правой ладонью руки щупая воздух. Сильная боязнь и тихое помешательство было на ее лице, казалось, она считала себя лишней на земле и в то же время боялась сделать шаг вперед.

Возле меня стоял Полиект, качая большой и лохматой головой, говорил:

— Дочь это. Узнал? Несчастье, вот, случилось. За грехи наши Господь нас грешных наказал.

Из завозни, разминая уставшее тело и потягиваясь, вышел маленький человек в милицейской форме. Усталые глаза его блестели от выпитой медовухи, отяжелевшие веки сжимались. Он подошел к нам и сунул горячую руку. Петелин сообщил о нем:

— Блюститель порядка—начальник милиции.

Полиект Никонович снова пригласил «откушать».

— Сейчас придем.

Маленький человек говорил, показывая глазами на дочь Полиекта:

— Сопровождаю преступницу, дочь хозяина. Детей своих задушила она.

— Как?

— Своих детей?

Милиционер криво улыбнулся.

— Да. Ее пятнадцати лет отдали замуж за пожилого вдовца. О желании ее, как водится у кержаков, и не спрашивали. У него была связь со шлюхами. Он продолжал ходить к ним, она ревновала. Скандалы начались. Он зачал ее бить чуть ни каждый день. Свекровке ее захотелось выжить, мужу третью жену вздумалось взять, и вот они стали ее выгонять. Житья не стало бабе. Потом...—рассказчик качнул головой.

— Она нормальна?

— Как произошло-то?

Мы окружили начальника.

— Кто ее знает? Здешний врач признал нормальной,—отвечая на первый вопрос, говорил начальник милиции.—На допросе, сегодня я ее опять допрашивал,—она говорила:—«Маленький-то лежал у меня на коленях,—я грудью кормила его. Поглядела я на него, поглядела и захватила ротик ладонью. Он подергал маленько ножонками, и только. Гляжу: мертвенький. Отложила я его в сторонку, полотенчиком накрыла. Старший-то сидел рядышком, глядел все на меня. Взяла я его и говорю: теперь тебя, сынок, душить буду. Он заплакал. Положила его на колени, как того, одной рукой ноги держу, а другой—рот захватила. Подержала-подержала, отложила. Накрыла другим полотенчиком и пошла...». Вот и все, что она говорит.

Холодные муравьи пробегают по спине от этого рассказа.

— Но почему она не развелась с ним? Ушла бы и все.

— Отец, как крепкий кержак, не принимал, а она не знала, куда деваться ей. Решила уйти и заблудиться, как она говорит, или со скалы упасть. Но пошла не в ту сторону: на заимку соседнюю в тайге набрела, тут ее и поймали. Детей, будто бы, она любила очень и не хотела, чтобы они достались другой женщине.

— А мужа ее арестовали?

— Нет пока,—ответил «блюститель порядка».—Пока сам лично сопровождаю ее.

И опять вспомнился прошлый год, кровать в темном углу и поблескивающие глазенки мальчика.

Мои спутники прошли под крышу, где стояли плуги, сенокосилки, жатки, молотилка и веялка. Осматривали хозяйство Полиекта. Петелин попрежнему говорил о мараловодстве.

— Нам на Бухтарме заготовлять нельзя—там Киргизская республика, так мы устроили склад на Зеленке, на границе. Лежат там у нас приемщики, а к ним рога отовсюду сами мараловоды везут. Мы дороже платим. На Бухтарме за первый сорт платят четыреста восемьдесят, а мы пятьсот двадцать. А много там рога! Я только что вернулся оттуда.

Полиект третий раз приглашает к столу.

Сгибаясь, проходим в низкую дверь. В переднем углу,—как и у всех кержаков,—медные складные иконы и распятие. В углу накрыт стол. Посреди тарелок возвышался синий чайник. Пахло медовым пивом. Старик угощал нас жареным мясом, сушеной маралиной и свежим медом; наливал густое пиво в огромнейшие, как хозяйская пудовка, стаканы. С одного стакана у непривычных к медовухе развязался язык, а в глазах окна и двери начинали двоиться. Начальник милиции клевал носом и сонным голосом продолжал

помогать сговаривать хозяина продать рога. Старик все еще не соглашался. Я показал на глубокие царапины на лавках.

— Продай, Полиект Никонович, безопаснее, а то,—нынче народ всякий есть,—опять, не к слову будь сказано, может случиться такое же несчастье,—вспоминая когда-то хорошо знакомые обороты речи, говорил я.

Года два тому назад ночью обстреляли дом старика из винтовок, открыли амбары и увезли больше двух пудов маральих рогов.

Старуха добавила меда в тарелку и, сложив руки на груди крестообразно, поклонилась нам.

— Кушайте-питайтеся!—отошла в куть и села на лавку.

После обеда Полиекту пообещали пятьсот серебром, и он согласился продать рога.

— Через два дня приеду в Усть-Коксу, рога привезу, а вы уж оставьте мне... Уговор дороже денег,—говорил он, улыбаясь.

Тысячу рублей дали бумажками.

— Расписку я думаю, писать не будем?—говорил заведующий конторой Госторга.

Полиект тряс густой обросшей волосами головой и, улыбаясь, говорил:

— А на што ее? Я человек не такой... Ране, бывало, мне больше без расписок доверяли.

В полдни мы уезжали с Полиектовой заимки. Хозяин проводил нас за дальние ворота, поклонился на прощанье и крикнул мне:

— Приезжай на месяц, парень, на будущее лето. Поживешь у нас. У нас хорошо тутока.

Хорошо у Полиекта Никоновича, тишина его поместья прельщала.

— Тут только повести писать...

Но вспомнилась дочь его, и грусть навалилась на сердце.

— Кержацкое гнездо!

«Гнездо» скрылось за нежнохвойными лиственницами; промелькнули еще зеленые полосы овса. Мы ехали возле скалы, берегом реки. Далеко внизу блестела зеленая поверхность реки Коксу—синей воды. Петелин ехал позади, приподнявшись в коробке, он кричал через лошадь:

— Полиекту доверить можно. А если бы стали расписку просить,—он бы от денег отказался.—И он радостно воскликнул.—Ну, теперь заготовка пойдет, только денег давайте больше... Серебра давайте!

III. «АКТИВНЫЙ НЕБОКОПТИТЕЛЬ».

В Усть-Коксу агентством Госторга заведует Селиванов. Дорогой Петелин жаловался на него:

— Уберите пожалуйста. Мужики смеются над нами по всему району, говорят: «Работнички! купили лошадь двадцати двух лет за двести рублей, когда она больше сотни не стоит». Да и пьянствует он. Авторитетом никаким не пользуется. Дошло до смешного: жена в положении, он ее ревнует к нескольким человекам, спрашивает у нее: «от кого ребенок?», она, конечно, отвечает: «от тебя», но он не верит ей, решил обратиться к врачу. Врач улыбнулся и сказал: «от тебя, конечно». Что ему больше скажешь? Теперь по всему селу об этом говорят. Да я говорить много о Селиванове не буду, сами увидите.

За речками Громотухами горы расступаются, скатертью разноцветной расстилается степь Уймонская, в преддверие ее, по ровной площадке, по берегу зеленоводной Коксу рассыпались серые домики районного села богатого Уймонского района. С маленькой часовенки, что посредине села, сломлен де

ревянный крест, на его месте—древко ветром облизанного побелевшего флага. На площади, точно восковые, новые столбы лиственничные, от них тянется к старой часовенке проволока: этим летом поставили усть-коксинцы радио-приемник. Сейчас тянут к селу вторую проволоку: для телефонной линии уже столбы приготовлены. Рядом с бывшей часовенкой—детский дом. На площади большими окнами улыбается новое школьное здание. Усть-Коксу—культурное село.

Колокольцы замолкли в просторном дворе агентства Госторга. С высокого крыльца, как мяч, поспешно скатился маленький с огромным горбом, босой, одетый в длинный и по фигуре узкий пиджак, человечек, по внешнему виду похожий на канцелярского регистратора какого-либо незначительного учрежденьица захолустного селения. Он часто мигал и совал холодную руку

— Селиванов...

Осторожно спустилась его жена, высокая блондинка с тонкими бровями и улыбающимися маленькими глазками. Она легонько качнула головой и ласково сказала:

— Здравствуйте!—в ее голосе чувствовалась изысканность.

Под крышей рыжая лошадь пережевывала свежее сено. Я иду к ней. Селиванов, не зная, кто я такой, видимо, принимает меня за начальника, бежит рядом и, заглядывая в лицо, сыплет тихие слова:

— Это, знаете, только купили. Ездить приходится, расходы большие.. а на своей лошади лучше.

— А разве для себя купили?

— Нет, нет... казенная, конечно.

— А сколько заплатили?

— Пятнадцать... полтораста.

Служащий агентства, только что подтвердивший слова Петелина, улыбается. Заведующий конторой хмурится в стороне. Селиванов треплет лошадь по холке и, подергивая губами, говорит:

— Зато это лошадь какая! Крепкая... не своротишь с места.

У плотно закрытой двери Селиванов долго машет белым полотенцем, пропускает нас в комнату и быстро захлопывает дверь.

— Мухи, знаете...—жалуется он.—Не люблю мух, а они, проклятые, лезут. Все средства испытал...

— Хлопушкой их,—я еле сдерживаю улыбку.

— Затруднительно. Мы с женой полотенцами их выгоняем и дверь закрываем.

И тогда мне показалось, что в этом человеке есть что-то от гоголевских типов. Мне очень хотелось рекомендовать ему сделать «хлопушку из старого маменькиного башмака», но я подумал, что этот, выражаясь по-переверзевски, «рассудительный небокоптитель» обидится на то, что я отношу его к одному из разрядов гоголевских типов.

На столе шипел самовар. Селиванов сидел на высокой табуретке и, повертываясь то в сторону одного, то другого, тянул скрипучим голоском:

— Скука здесь!—он захватил голову руками, будто в отчаянии с яру упасть собираясь.—Меня сюда в порядке партийной дисциплины послали. Так я бы не поехал. Трущоба! Ой-ой-ой! Некуда время деть. То на берегу Катуни шашлык с товарищами жаришь да в карты дуешься. То на квартире медовуху дуешь и в карты играешь. Бывает, до утра играем. Здесь даже и выпить-то нельзя: по вечерам в окна подсматривают, чем мы занимаемся, узнают. Да кто смотрит-то?—партийцы! Ой-ой-ой!

Селиванов ерзает на стуле, возмущается:

— Я уже заявила им: если еще будете в окно смотреть—стрелять буду!

Нить рассказа его оборвалась. Он окинул нас и комнату быстрым взглядом и показал на полсотни бутылочек с уксусной эссенцией, которыми были заставлены окна.

— Видите, приготовил? Грибы мариновать собираюсь. Здесь, говорят, хорошие грибы бывают. Закусочка замечательная!—Он прищелкнул языком, облизал губы и щелкнул пальцем по длинной шее, на которой, как корчага на колу, держалась гладкая голова.

— Каждый праздник пикники устраиваем,—продолжает он рассказывать о жизни своей.

К столу подошла жена Селиванова, как-то особенно, в нос выговаривая слова, она рассказывала:

— Знаете, в десяти верстах отсюда есть прекраснейшее место. Как Кавказ. Ущелья темные. Речка замечательная. Мы туда всегда ездим. Здесь прелестная природа, но все же скучно. Настоящей интеллигенции мало. Сюда надо приезжать с компанией на неделю, на две, тогда хорошо можно время провести. Я здесь всегда вспоминаю Кавказ!—лицо ее при этом загорелось какой-то внутренней радостью. Она отходит от меня подсаживается к заведующему, что-то рассказывая. Селиванов продолжает жаловаться на судьбу:

— Я работал по большим городам, а тут вот в какую трущобу попал! Культурных людей нет. Время некуда деть, ну, и дуешь медовуху. Тут не хочешь быть преступником, а поневоле придется им сделаться!

Он на минуту замолчал, а потом, как бы тишины испугавшись, воскликнул:

— А медовуха хорошая! Я знаю хороший способ приготовления медовухи...

Жена его, узнав, что один из моих случайных спутников был на Северном Кавказе, спрашивает:

— Скажите, разрушена могила офицеров в Ставрополе, в ограде собора?—на глазах ее появляются слезы.—У меня брат там похоронен. Красные убили их.

Селиванов выпил три стакана медовухи и, как «активный небокоптитель», соскочив с табуретки, говорил о себе:

— Это я был инициатором устройства народного дома в церкви. Я был главным в этом деле. Я крест свернул...

Я припоминаю, что в прошлом году креста на часовне уже не было, флаг был яркокрасным, а Селиванов приехал сюда только зимой.

— А сейчас принимаете участие в культработе?

Селиванов снова заерзал на стуле:

— Нет, знаете. Тут захолустье такое... Сидишь по вечерам на берегу Катуни и шашлык жаришь. Хорошо!

Через час я уезжал. Высокая блондинка, прощаясь, говорила:

— Как жаль, что вы так мало оставались у нас. У нас такая скука! —и, спохватившись, спросила:—вы, говорите, к экспедиции спешите?—Передайте мой привет Рудольфу и другу его. Они так же вот чай пили у нас. Ночевать даже не могли. Как жалко!—и она опять говорила о скуке. Глаза ее блестели томно, цвет их теперь напоминал сухие осенние травы.

За селом на несколько верст раскинулась полоса густой пшеницы. Тут прошлый год чернела тракторная вспашка. День был праздничный. Сквозь звон колокольцев, от гор, из-за полюсы откуда-то, разбивая грустные думы, прорывался барабанный бой. Гулкие звуки катились по розовой поверхности полюсы. В вечернем воздухе мягко звенели детские голоса.

За Катунью по горам проползало облако, солнце освещало его с запада, облако казалось красным, а дождь оранжевым. Алтай хмурился и обещал переменную погоду.

IV. ЧЕРЕЗ СНЕЖНЫЕ ВЕРШИНЫ.

Обогнули Уймонскую долину, хребты снеговые: с юга—Катунский, а с севера—Терехтинский. По горам и лесам нет дорог, только еле заметные тропинки пересекают их. Одной-единственной колесной дорогой связан Уймон со степью.

В Уймоне мы пересели из коробков в седла, вещи и постели повьючили.

В серый, день, когда туманы плотно облепили вершины гор, выезжали в дальний путь. Лесистой долиной Мульты, скатывающейся от ледников, вилась тропа. От деревни были видны ледники Мультинские. Глядя на них, вспомнились слова уймонца, сказанные по поводу восторга одного из моих спутников, любовавшихся «белками» с Кырлыкского (верст 30 от Усть-Кана) перевала. «Это разве «белки»?! Срамота одна!»,—сказал он,—«Вот у нас белки!». Да, здесь «белки» хорошие: все высокие вершины покрыты снегами и льдами, снежные поля широко раскинулись в горах.

Впереди нашего обоза ехал Иван Егорович, широкоплечий старик, с окладистой бородой, в которой запутались седые волоски. Он в первый же день разговорился со мной.

— Я чо-то, парень, стареть стал эти годы. Два раза тифом похворал, и седина стала появляться. А поездил бы я еще с путешественниками! Эти годы опять стали часто учены люди на Алтай приезжать.

— А сколько лет-то тебе, Иван Егорович?

— Семьдесят четыре, парень, уж. Максим-то сын мой, ему уже пятьдесят седьмой.

Максим подгонял вьючных лошадей. Он наклал под себя сум с провизией и одеждой, оттого короткие ноги его еле достают стремена. В русой бороде Максима—ни одного седого волоска, он еще, по-местному, считается молодым.

Жизненный путь Ивана Егоровича длиннее, он больше видел, больше знает, потому я еду позади его. Повернув голову и глядя через плечо, он спрашивал:

– Много ездят на Алтай, богатства изучают, коллекции собирают, а пошто до сих пор завод никакой не поставят тут? Ведь много у нас тутока богатства есть: слюда, асбест,—в одном месте, я знаю, на 25 верст асбест лежит,—железа тоже много, руд разных.

Я говорю Ивану Егоровичу, что богатства здешние трудно разрабатывать, что мешают плохие пути сообщения, но он снова сетует на то, что «ездят только изучают, а пользы государству пока никакой: заводы не ставят».

Меня удивило знакомство старика с такими словами, как «коллекция». Оказалось, что Иван Егорович четыре лета возил по Алтаю профессора Крылова, ездил с Сапожниковым, с петербургскими и московскими инженерами. Он исколесил весь Алтай, знает все еле заметные тропинки.

Третий ямщик наш—«дядя Саша»—тоже из кержаков, но он уже бросил старинку: бороду подстригает, носит, вместо кожана, брезентовый плащ и украдкой от товарищей курит табак.

Был еще в экспедиции проводник теленгит Амыр-сана*). Он ехал позади всех и, не торопясь, курил трубку, а когда выкуривал весь табак и занять бы

*) Амыр-сана—спокойная мысль.

лю не у кого,—останавливался, вынимал чубук, отрезал конец его, крошил в трубку и снова курил. Лицо его лоснилось, а глаза заплывали жиром, редкая черная бороденка также блестела от жира: он утирал об нее руки, выпачканные в бараньем сале. Длиннополый тулуп его раскис от дождя и опустился ниже ног, обутых в сапоги с широкими голенищами. Голову Амыр-саны покрывал мешок, сложенный вдвое. Когда я отстал от обоза, чтобы поправить седло, он под'ехал ко мне и спросил:

— Ты каку школу окончил?

— Я в школе не учился. Самообразованием занимался.

Он не поверил и тотчас же самодовольно сообщил:

— А у меня сын учится в Москве, в технологическом. Он был в Иркутском университете, а теперь в Москве. Дочь—в Томске на медицинском факультете. Докторов-алтайцев нет, а русским плохо верят. Своих докторов надо. Пусть учится и людей потом лечит. Может, скажут мне спасибо после за то, что я детей учу. Третий сын в Улале учится. А в Москве-то трое наших алтайцев...

Алтай уже не тот, что был десяток лет тому назад! Узкоглазые люди алтайских долин берутся за книгу, которую когда-то, как говорит легенда, с'ела корова.

Мульта—первая действительно горная река на нашем пути. По огромным валунам скачет она. Кажется, не вода стремительно рвется вниз, а зеленовато-белые чудовища перекидываются с камня на камень; рев их неугомонный оглушает путника. Мы стоим на мосту, и брызги холодной воды долетают до нас.

За рекой под'ем сделался настолько крут, что лошади с трудом подымались. Амыр-сана командовал:

— Наклоняйся на шею лошади и вот так вот держись за гриву: лошади легче итти. Ездить еще не умеете!

Появились гари.

— Худой народ пошел: лес не бережет. Лес выгорит—богатство уничтожится. Лес для всех полезен. Поджигат лес кто-то. Весной мужиков замаяли: гоняли пожары тушить,—Максим Иванович показывал на бурый лес за рекой.

Возле тропинки на лужайке—серые юрты алтайцев. Дальше аилов нет. Тут решили купить барана.

В юрте валялись пьяные, они спали вокруг костра. Пьяный старик закатился на горячую золу, когда бок ожгло—вскочил, выругался и снова повалился на землю. Голопузые дети испуганно глядели на нас из угла. Амыр-сане только через полчаса удалось разбудить одного алтайца. Он запросил за барана пять рублей, если мы возвратим ему шкуру. Мы давали четыре.

— Нет. Я не нуждаюсь. Пускай баран, бери деньги назад,—алтаец крутил головой.

Вспомнились «Чуйские были»—В. Шишкова, и в записной книжке появились новые строчки:

«Как далеко ушли алтайцы за эти 10-15 лет. Теперь уже нет таких аборигенов Алтая, о каких писал в 1913 году Шишков».

Через десять минут баран был заколот, шкура снята, кишки вымотаны, кровь вылита в котелок, и мы двинулись дальше.

Около палатки поймали маленькую гадюку. Максим Иванович предупредил нас:

— Змей опасаться надо. Поставишь палатку на таком месте, где змеи живут, она, проклятая, ночью в брюхо заползет. У нас у одного мужика в брюхе змея целый год жила. Ничем выжить не могли, и потом лошадиным по-

или, и все. Потом он рассердил ее,—поел такого, что она не принимала,—она его укусила там: умер мужик от этого. Живо его скрутило.

Все захохотали. Максим тряс лохматой головой:

— Верно, верно!—лицо его при этом делалось еще серьезнее, а черты его казались грубее.

Никаким доводам о том, что змея не может в живот пройти и жить там, Максим верить не хотел.

Большой костер разбрасывает в темноте золотые искры. Мы молча лежим вокруг него и слушаем шум реки и шелест веточек, ветром перебираемых. Кто-то поднялся от огня и, направляясь к палатке, громко свистнул. Амыр-сана крикнул на него:

— Не свисти, а то завтра сам себя ругать будешь.

— Почему?

— Горного духа, хозяина здешних мест, рассердишь, он толды и не выпустит нас отсюда—туман напустит.

Он выпил девятый стакан крепкого чая, поколотил трубку о носок сапога и потянулся к кисету.

— В каждой долине, на каждой горе есть свой горный дух,—говорил он.—Вы, ведь, ничего не знаете. Рассказать, однако, вам. Слушайте все.—Амыр-сана прокашлялся и повысил голос.—Он, горный-то дух, не любит, когда свистят. Горный дух управляет всем. Зайцы, медведи, маралы—все в его распоряжении. Случается, что видят его люди в образе младенца, только не все видят,—ворам он не показывается.

— Слушай, Николай Ефимович, ты в такую чертовщину веришь?

Амыр-сана вынул трубку изо рта, долго смотрел на спрашивающего Говорил улыбаясь, и потому нельзя было понять, правду он говорит или шутит.

— Верю. Я же должен в чо-нибудь верить. Как без этого? Как меня воспитали, так я верить должен. Вот сыновья мои и дочь по-новому воспитываются, по-новому и верить будут. Не верить нельзя. Каждый человек должен во что-то верить.—В этих словах вся несложная философия Амыр-саны.

Он приподнялся, заложил руки за шею и, перегнувшись назад, потянулся. Махнул ногой—сапог отлетел в сторону, махнул другой—второй сапог сорвался с ноги. Опустился возле самого огня, грел ноги и рассказывал о том, как он «стал Эрлика на картинах изображать», как совершается жертвоприношение во время камлания, как произошли виды животных.

— Эрлик*) стал просить у бога четверть земли. Бог не дал. После этого Эрлик стал просить разрешить ему в землю палку воткнуть. Бог ему разрешил. Вот он и проткнул землю насквозь. А в дыру-то эту выползли все ползучие: змеи, крокодилы, гадюки. Если бы не разрешил бог палку воткнуть—не было бы ни змей ни гадюк. Сплошал бог-то маленько.

У второго костра ямщики изжарили колбасу из крови. Позвали пробовать. Голос Амыр-саны сюда доносился из темноты:

— Бог создал женщину и кобылу. Пустил их в разные долины. Утром пришел посмотреть и видит, что лошадь с'ела мало травы, а женщина всю траву с'ела. Вот бог и говорит: «Нельзя пускать так женщину—много с'ест. Все с'ест, другим зверям не оставит. Пусть, говорит, человек от своих трудов кормится».

За день устали непривычные к верховой езде. Под тягучий и ровный рассказ Амыр-саны несколько человек задремало у костра. Поздним вечером

*) Эрлик—злой дух.

телентит пел песни «о жене своей любимой, о коне дорогом и о тех, кого он ведет», пел песни «своего сочинения». Мы очень сожалели, что он не мог перевести их на русский язык. Белый туман, опустившись в долину, разносил унылый напев телентита. В голосе его чувствовалось и журчание речки, и шум тайги.

В холодное утро сонные люди неохотно выползали из палатки.

— О-о-о!—тянули они и прятались снова под одеяла.

Туман низко висел над землей. Все вершины гор были скрыты им. Изредка, как островок среди белых волн, показывалась какая-либо ближайшая вершина и тотчас же скрывалась. Густыми клубками туман подымался из узкой долины Мульты и расходился между гор.

Поглаживая перевалившееся через поясок брюшко, Иван Егорович подошел к палатке.

— Сегодня ехать нельзя: перевал туманом закрыт, сбиться с пути можно. Там часто блудят. Вместо вершины Заячьей, приедешь в Собачью, в Сугаш или в Акол, а по Аколу выехать можно только назад в Уймон.

Амыр-сана торжествовал:

— Я говорил: не свистите. Осердили горного духа, теперь упрашивать его придется.

Переваливаясь с ноги на ногу, подошел к огню, взял кусок бараньего мяса и положил на огонь.

— Жертву горному духу надо принести.

Амыр-сана спал целый день, вставал, чтобы поесть жареных кишек и выпить десяток чашек чая, и снова валился на землю.

Вокруг Мультинского озера—густые леса и высокие горы с ледниками. Еле заметная тропинка вела к нему через огромные колодины, встречающиеся на каждом шагу. Седые бороды лишайника висели на мохнатых ветках кедрача. Мелькали кедры, засушенные лишайником, опутавшим все лапочки дерева и задушившим его.

Озеро раскинулось приблизительно на пять верст, темно-зеленая спокойная поверхность его походит на толстое отполированное стекло. С левого берега смотрится в озеро горный лес разноцветный. Кремлевский врач Беньяминсон восхищался богатством красок:

— Вид, достойный кисти Левитана!

Бывает, что не мастерство художника определяют красотой природы, а красоту природы—яркими красками художника. Так было часто во время этой поездки.

За озером видна перемычка, дальше—второе озеро. Еще дальше—ледники. Ямщики говорят, что под самыми ледниками есть еще одно озеро.

По мягким мшистым берегам разостлалась, как ковер, полярная березка. Это говорит за то, что озеро находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.

Возвращаясь, второй раз бродим маленькую речку Проездную. Вода стремительно проносится между ног лошади. В сердце заползает холодок: речка кажется нам страшной. Тогда я подумал:

— Не побывав в Центральном Алтае, нельзя говорить, что знаешь Алтай.

Снова погружаемся в лесную тишину, двухаршинную траву и густые ягодные кустарники. Максим ехал позади меня. Мы говорили о тропе.

— Это—тракт,—он улыбнулся, но улыбка его так же быстро потерялась в бороде, как круги от брошенного в воду камешка.—С Уймонов на Бухтарму тракт.

— А давно он проведен?

— Давно. Никто не помнит. Раньше киргизня тут краденых лошадей водила, воровская дорога была. Теперь больше всего народа проезжает тут весной. К Петрову дню уймонские—на Бухтарму, а бухтарминские к нам в гости ездят. Пива тогда бывает сколь! Свадьбы даже по «тракту» этому проезжают летом. Наши часто невест берут на Бухтарме, а бухтармински—у нас. Дня три-четыре, а в худую погоду и неделю, едет свадьба. Зимой и весной, правда что, тут совершенно нельзя ездить: весной реки не пускают, а зимой снега и бураны. Дороги нет. Нельзя.

Следующий день был ярко-солнечным. Голубое небо висело над нами. Белизной сверкали вечные снега.

Под'ем на главный Катунский хребет становился круче и труднее. Лес остался позади, мы поднялись выше полосы его. Недалеко влево осталась огромная чашина с остатками ледника, из которого вытекает речка Проездная. Серые камни подковами залегли на пути реки. Морены мы встречали почти в каждой долине. Морены здесь—рубежи истории земли, шаги тепла на Алтае, следы былого оледенения.

В полдень мы были на вершине Катунского хребта. Горное плато, раскинувшееся на высоте 2.400 метров над уровнем моря, со всех сторон обставлено невысокими серыми гребнями сопок. Под одной из них, с северной стороны, там, где пролегала тропинка,—маленькое синеватое озерко.

— На такой высоте и—озеро!

Потом мы не удивлялись этому: почти на каждом высоком перевале мы находили озерко.

Вокруг озерка—густая щетина зеленого ковра из полярной березки. Недалеко от снегов обрывается этот интересный ковер. Тут начинается альпийский луг. Синие водосборы густо покрыли луг, кажется, что синей скатертью прикрыт он. Цветут первые цветы. Сотни ручейков, вырывающихся из-под снежной горы, журчат в молодых травах. Весенней прелью дышит только что освободившаяся от снега земля. В воздухе носятся мотыльки. В августе весна здесь в полных правах!

Под ногами похрустывает снег и скрипит по-весеннему. Лицо жжет августовское солнце, а ноги мерзнут от снега. Здесь, на этом снегу сливаются в холодном поцелуе весна с осенью. Сегодня растаяли снега, а завтра покроют они горную вершину былым покрывалом.

По горному плато нет тропинки. Лошади бредут по каменной россыпи. Ямщики ведут караван от камня до камня наугад.

К вечеру спустились к речке Заячьей. Серые зубцы хребта теперь стояли с левой стороны.

Четвертый день в пути.

Перевалы высокие, реки холодные, долины, камнями усыпанные—сколько их осталось позади! Но и впереди еще не мало. Попрежнему тянется слева серый Катунский хребет. Попрежнему спокойно выступает вперед белая лошадка Ивана Егоровича. Спокоен старик и верит в себя и лошадь свою. Порой мне кажется, что лошадь и хозяин ее—одно существо. Внимательно посматривает старик на караван, вьюки взглядом ощупывает и, остановившись, спокойно скажет:

— Максим! Ну-ко, надо вон тамо-ка, у Карька, поправить,—слезет с лошади и первый примется за перевьючку.

Москвичи, при виде красивого каменного «замка» на вершине горы, приходили в восторг.

— Какая прелесть! Иван Егорович!

Старик улыбался, гладил серую бороду правой рукой и говорил:

— Вы смотрите, а я уже видал. Чо мне смотреть-то? Камень и—камень..

Хитренький взгляд его выдавал мысли старика: и чему только удивляются люди! В камне баское*) нашли!

Максим много раз проезжал мимо Белухи на рыбалку и на охоту.

— А у самой не был?—интересовался я.

— Нет. А чо я там буду делать? Белуга она—Белуга и есть, стоит и стоит. Белая гора, и только. Кака мне польза от того, что я ее близко посмотрю?

Меня удивила тупость эстетическая и чисто материальные взгляды. Я не мог найти случая отметить стремление наших ямщиков украсить себя или лошадь. На место красоты они ставили прочность. Суровая борьба за жизнь предков Максима, пришедших в глухой край, железа в то время неимеющий, лишенный связи с миром, вытравила эстетические чувства. Помогла этому и религия. В семье Максима песен не поют, музыки не знают, пляской не занимаются—все это делать грех; зато умеют сами: ковать, слесарить, плотничать, машины ремонтировать, кожи делать, сапоги шить, кошмы катать, охотничать, рыбачить. Ничто не уходит из рук Максима и сыновей его. И все сделанное—крепко, как крепок сам он. Если на каких-либо изделиях и встречается простенький рисунок: несложная резьба на луке седла и деревяшке ножен, например, так исполнение его ставилось на последнее место. Прочность и массивность подавляют резьбу. И эти ничтожные украшения как-то не замечает глаз Максима, как не замечает он красот природы. Ему все это, чем восхищаются люди приезжие, кажется слишком обычным.

Остановившись у спуска в долину, мы любовались синевато-зеленой гладью Тайменьего озера. Максим поторапливал:

— Книзу поедемте, там коней хоть кормить можно. Чо оно! Озеро и—озеро, вода в ем и только. Рыбы, правда, много: прошлый год мы двое за три дня наловили тут пятьдесят пудов рыбы.

За пятнадцать дней я не разу не слышал из уст Максима или еще кого-либо из ямщиков слово—«красиво», его не было в их небогатом лексиконе.

— Тайменье озеро—возле самого Катунского хребта, с которого спускается к озеру ледник. С трех сторон—густые кедрачи, с четвертой—скалы. Оно изумительно по красоте! Это—огромнейший изумруд в серой и темно-зеленой тяжелой оправе.

— Лучше Кавказа! Типичное швейцарское озеро!—вырывается у кого-то.—Только недостает домика с черепичной крышей да красных коров.

Около самого озера бродили. Вода била под седла. Возле самого брода—обрыв, вода с шумом срывается с огромного камня. Дно реки загромождено огромными каменными булками. Когда спускаешься в реку—сердце замирает. А что, если ноги лошади поскользнут?—разобьет о камни и лошадь, и человека. Я, не ощущая страха, подымался в кабинку самолета, спокойно глядел на землю, когда опускались на неизвестное болото, чтобы взять воды в ближайшей проруби, я знал, что машина находится во власти человека. Я чувствовал, что человек побеждает стихию. Здесь, наоборот, стихия как-то

*) Баское—красивое.

сжимает человека в своих холодных челюстях. Я стыдился трусости. Когда спускался в реку—коленки дрожали. Опустил повод: лошадь лучше меня знает, где ей пройти. Вот она на секунду остановилась,—тело ее дрожит,—выбирает место, куда бы можно было поставить ногу, осторожно ставит ее и опять выбирает место. Вот она прошла по скользкой покатой плите, еле удержалась на круглом камне.

По сравнению с этой рекой Проездная—спокойный ручеек.

Но дикие реки были впереди. Мы бродили Кураган, а его не всегда можно бродить. Вода белыми бурунами прыгает на полтора аршина вверх, бешено врывается в Катунь и прыгает еще выше. Не зря алтайцы назвали реку Кураганом—ягненком: клубится вода, курчавится. Как ошалевший от весеннего солнца ягненок, мчится Кураган.

На берегу Курагана Максим рассказывал, как медведь с'ел охотника-алтайца, пошедшего за сурками. Володя, молодой парень из Москвы, только-что окончивший ВУЗ, спросил:

— Кто с'ел человека?

— Сурок,—шутил Беньяминсон.

— Сурок может человека с'есть? Он разве большой?

Члены экспедиции уверяли, что в Москве Володя на хорошем счету среди ученой молодежи, что тех странностей, которые теперь звучат в каждом слове его, за ним не замечалось. Он, выросший в Москве, первый раз попавший в глушь, походил на зайца, загнанного гончими в плотную ограду: он опасливо вертел головой, боязливо осматривая окрестности и не зная, куда ему броситься, путался. Все ему казалось новым и непонятным.

V. ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕКА.

Верст 25 недоезжая до высочайшей вершины Алтая—Белухи, долина Катуни расширяется. Точно спокойная степная река, Катунь извивается среди серых кустов тальника, которым поросло болото. Лошади тонут по колено в топкой грязи. Впереди ничего не видно, кроме двух темных хребтов. Унылое настроение овладевает путниками.

По небу плывут серые облака. Из-за горы огромными клубками выкатывается туман. Иван Егорович показал на север.

— Смотрите, каку трубку закурила Белуга! Это от ее подымается облако такое.—И, помолчав немного, он продолжал; в голосе его чувствовалось сожаление.—Не везет вам. Нельзя будет на Белугу итти: ненастье будет. Раз Белута закурилась—ненасть будет. Это, слышь-ко, почему так делается: когда нет у Белуги людей—тумана нет, а люди прийдут—все облаками затянет, по неделе, по месяцу живут тут, а снять Белугу не могут? Так и уезжают. Только уедут—морок весь уйдет. Вот чудны дела каки!

Черные хребты вплотную подходили к реке. Мы ехали берегом Катуни, огибая небольшой мысок, когда неожиданно даль открылась перед нами так быстро, что, казалось, не горы раздвинулись, а раздернул кто-то тяжелую парчевую занавесь. В долине стало светлее. Из-за ближайших вершин, в черной рамке гор показались белые вершины со снежным седлом посредине. Вечные снега то розовеют, то золотятся—лучи заходящего солнца играют на них. Усталые путники на седьмой день верховой езды машут Белухе фуражками. У кого-то вырывается из груди:

— Чистая работа!... точно по заказу..

— Впечатление чего-то сладкого, особенно, когда гора розовая.

Любовались величественной красавицей Алтайских гор, а она, показав красоту свою, будто стыдясь и заманивая, пряталась за хребты, как платьем прикрывалась. И вдруг крикнул Володя:

— Смотрите, смотрите! на Белухе кто-то был сегодня. Я ясно вижу следы человеческих ног.

Громкий хохот раскатился по долине.

— Володя! еще до подножия Белухи десять верст.

— Нет, я ясно видел,—Володя смутился и, стыдливо, покраснев, закашлял.

Иван Егорович, поцарапывая толстыми пальцами в окладистой бороде, говорил, улыбаясь:

— А меньше на ей снега-то стало, парень. Ране-то, лет пятнадцать тому назад, был я туто-ка с профессорами—мене черных-то мест было.

Глаза Ивана Егоровича зоркие и приметливые. Он определил уменьшение оледенения без всяких приборов, без исследования.

В пяти верстах от Белухи долина Катуни перегораживается высокой грядой из огромнейших глыб, нагроможденных одна на другую. Ясно, что это—работа ледника. Это он отломил камни где-то на вершине горы, принес их сюда и свалил в беспорядке. Значит, когда-то ледник кончался здесь, значит, он был огромнейшей толщины, если сейчас на эту старую морену мы смотрим, как на высокую горку! По эту сторону конца ледника впадала в Катунь речка Кокош-су (синеватая вода). Ледник забрасывал ее камнями, но речка все же пробивала себе путь. Сейчас она кипит в черном и тесном ущелье. От шума ее на берегу не слышно крика человека, едущего позади.

Брод—выше старой морены.

При виде этой бурной реки, лица путников бледнели. В трех саженях от брода вода падала в каменный мешок. С головокружительной быстротой и шумом оглушающим проносится вода. Амыр-сана бродит первый и встает на берегу с арканом в руках. Лицо его полно серьезности и внимания. Вода сбивает лошадь и относит ее к каменной пасти, кажется, вот-вот, удернет ее вместе с седоком. В это время забывается все. Взгляд прикован к шее и груди лошади, рассекающей воду.

Одну лошадь отнесло к водопаду. На берегу кричат:

— Вороти налево! Вороти, а то унесет.

Человек не слышит крика и продолжает безумно дергать поводья. Лошадь высоко подымает голову и не видит, куда ставить ногу.

Когда выбрались все на берег, кто-то крикнул:

— Дикая река!

— В такой же дикой реке лет двадцать тому назад погиб геолог Пец.

На берегу Кокош-су Володя остановил Максима.

— Как ваши лошади ходят по такой холодной воде? У них ноги не мерзнут? Даже у меня руки мерзнут, а они как, у них же на ногах ничего нет?

Максим промолчал, отвернулся от него, будто лошадей подгонять.

До самой Белухи говорили о Кокош-су.

— Терек уступит! Я был на Кавказе, видел его...—говорил Беньяминсон.

Спустились в верхнюю долину. Она выглажена, как огромнейшее стиральное корыто. Это—работа ледника.

Ночь была темная и холодная. Очертания белой горы еле заметны во мраке. Перед утром о палатку започикивали крупные капли дождя. Выходя из палатки, удивленно крутили головами, осматривая окрестные горы. Черные выступы скал Белухи были покрыты свежим снегом. Гора стояла перед нами, как посеребренная. По хребтам, что тянутся по обе стороны Катуни, белыми полосами лежал снег. В летнюю ночь в горах проходил буран.

К десяти часам погода разгулялась, но на седле Белухи попрежнему лежали густые туманы. Собираясь итти на гору, набивали в ботинки швейцарские гвозди. Володя любовался Белухой.

— Главное—туда подняться, а оттуда можно скатиться. На лыжах хорошо! Я люблю на лыжах...

Амыр-сана спал возле потухшего за ночь костра. Наш громкий разговор разбудил его. Он, лениво потягиваясь, поднялся с земли и протер глаза кулаками.

— Мерз всю ночь,—с ленивым восточным спокойствием сообщил он.

— А почему ты постель себе не сделал? Вон брезентов много лежит.

— А не охота было закрыться-то как следует,—он отрезал кусочек курдюка и потер им нос и выдающиеся скулы.—Лучше, рожа не изветреет.

Максим, сидя у костра, вырезывал ложки.

— Пойдем, Максим Иванович! на Белуху посмотришь.

Он рассмеялся:

— Я ведь крестьянин...

За Геблеровой горкой привязали лошадей за ветки стелющегося по земле кедра. Пошли по россыпи огромных камней, переходили высокие гряды старых морен. Если высота морены до 6-8 сажен, то какой же толщины был ледник, когда он кончался здесь?!

От камня, на котором в 1897 году профессор В. В. Сапожников оставил надпись (против этого камня тогда кончался ледник), жерло Катуни еле видно. С 1897 года по 1911 г. ледник отступил на 243 метра.

— Иван Егорович не ошибся.

Ближе к леднику камни становились мельче, кажется, что силы ледника уменьшаются, и он сейчас уже не в состоянии ворочать такие огромнейшие глыбы, из каких сложил он Геблерову горку. На маленьком камне отыскали надпись: «Здесь конец ледника. Грот Катуни на 10 метров выше. 7/VII 1926 г. А. А.». Это писали экскурсанты омской школы. Тут же маленькая, высотой сажени полторы,—каменная гряда—годовая морена, работа ледника. Как ничтожна она по сравнению с серыми грядами около Геблеровой горки! Морены сложены из разноцветных камешков.

— Ледник выносит, будто напоказ, всего понемногу, что есть в горе,—говорит геолог,—ледник нам помогает...

Смеряли расстояние от камня с белой надписью до льда и тут, на трех камнях, с одной стороны еще льдом покрытых, написали красной краской: «Конец ледника в 1927 г. 4/VIII. Грот Катуни на 9 метров выше. Алтайская экспедиция Н. П. Горбунова». Между камнями 24,5 метра.

Из темного жерла, высотою превышающего четыре человеческих роста, как из сводчатых ворот, вырывается Катунь. Белая, как молоко, вода далеко несет куски льда перетирает их о камни.

Перед нами—ледяная гора высотою до 10 сажен. Альпенштоками*) вырубили в отвесной ледяной стене ступеньки и, как по лестнице, захватывая топором альпенштока за верхние ступеньки, поднялись на ледник. Идем друг за другом, позади всех—Амыр-сана в длиннополом тулупе. Он вскоре опустился на камень и остался у конца ледника.

— На то и проводник, чтобы итти позади.

Сотни ручейков звенят во льду. Частенько встречаются колодцы, прорезывающие ледник. Сажеиные трещины пересекают дорогу.

---

*) Альпеншток – альпийская палка с острым наконечником, топором и острым концом с зазубринами.

За полтора часа прошли по льду три версты. Остановились около Раздельного гребня. Круто подымается в гору разорванная голубыми трещинами нижнего ледопада ледяная лента. Седло Белухи было закрыто туманом.

— Там свирепствует буран.

Туман быстро спустился в долину, прикрыл ее. Раздельный гребень отделило от нас белой стеной. Над головами пролетали белые мухи. Мы поспешили обратно.

Поздно вечером вернулись на стан. Максим варил рисовую кашу. Рядом с костром, между палатками была, сделана коновязь из веревок.

— Это зачем?

Максим встали, показывая рукой на пологий склон хребта, разделяющего долины Катунскую и Берельскую*), говорил:

— Киргизишки попакостить ладят. Им тут через горы—рукой подать

— Как?

— Сидим мы у огня, темнеть уже начало, отец и говорит: «Наши едут». Я посмотрел: нет никого. Никто, говорю, не едет. «А табаком пахнет». Я, мол, дак ведь ветер-то вон откуда. Тогда он и спохватился: «Киргизишки, говорит, это». У него случалось так-то: днем подсмотрят, а ночью лошадей уведут Потом еще кое-что заметили...

Вечером мы стреляли в белый свет. Ямщики всю ночь не спали.

Утром на пологом перевале видели помятую траву: свежая тропа уходила к Берели.

Вокруг палатки тонким слоем лежала белая крупа. Белуха блестела, точно вычищенная.

Целый день моросил дождичек. Мы смогли только сползать к водопаду Рассыпному.

Следующее утро также не обрадовало. В дождь мы уходили от Белухи. Иван Егорович кротко и добродушно улыбался.

— Я говорю, что она не показывается людям. Я многих возил, знаю. По месяцу, бывало, живут и снять не могут, только от'едем маленько—она откроется.

VI. НА БЕРЕГУ ГОРНОГО ОЗЕРА.

Далеко внизу, в узкой долине показалась стальная гладь горного озера. Густые темно-зеленые пихтачи, подымаясь по крутому склону горы, отражаются в воде. На маленькой лужайке возле озера рассыпаны серые домики Это—курорт Рахмановские ключи.

Широко в горах знают Рахмановские целебные ключи, в каждом селе расскажут вам об исцелении больного на курорте. Но не спрашивайте, какие болезни лечат—все скажут одно и то же: «а ослодь его знает. От всякой болести помогат водичка». Еще в Уймонах слышали мы имена людей, которых на курорт привозили привязанными к седлу, а через месяц они, совершенно здоровые, уезжали отсюда с песнями. Прошлый год настоятель Верхне-Уймонский, Егор Федорович, говорил мне о ключах:

— Раньше лучше ключи помогали. Эти годы место обнародовалось,— многие народы узнали,—не стало от воды такой пользы. Говорят, где-то под Барнаулом ключи открылись. Хорошо, сказывают, помогают. Обнародуют—тоже хуже будет.

Он имел в виду «святой» ключик в Сорочьем логу.

---

*) Берель вытекает из ледника, который отделен от катунского каменной грядой, Берельский ледник также спускается с Белухи.

Нам кажется, что Рахмановские ключи еще далеко недостаточно «обнародованы», далеко не все, —хотя бы сибиряки,—знают о них. После Сапожникова, как-будто, никто не писал о ключах.

Остановившись на половине спуска с горы, мы рассматривали курорт и окрестности. На дворе курорта остановился человек, к нему подошел второй. Вскоре образовалась толпа Все смотрели на гору.

Мы спускались по узкой тропинке, вьющейся по крутому косогору, а навстречу нам шли все, обладающие способностью передвигаться, во главе с заведующим курортом, хромым завхозом и рябым лесником. Хотя от кухни кто-то кричал завхозу, он, не обращая внимания на крики, ковылял вперед. Здороваясь с нами, маленький старичок в белом пиджаке, шепелявя, проговорил:

— Старший врач курорта.

Оказалось, что мы видели перед собой не просто врача, а директора курорта, старшего врача, младшего врача, фельдшера, лекпома, на руках которого было до 150 человек.

Управление курорта—в маленькой пятистенной избенке, в одной комнате которой помещается кровать, а в передней, где канцелярия и кабинет врача, места только для маленького стола и двух-трех человек.

— Избушка на курьих ножках...

Старый врач осторожно передвигает ноги, как лыжи, будто боясь провалиться и прощупывая твердость земли. Разговор его напоминал бульканье воды в маленьком ручейке. Нам первое время казалось, что он просто забавляется, но трясущаяся губа и почтительный вид говорили о другом.

— Вы сегодня можете поужинать в нашей столовой,—врач остановился у высокого и скрипучего крыльца «избушки на курьих ножках».

— Во сколько?—Беньяминсон посмотрел на часы.

Подымаясь на крыльцо, старичок оглядывался на солнце.

— Не могу сказать. В восемь часов полагается, но часов у нас нет... Когда звонить начнут. Мы здесь время по солнцу определяем. Теперь скоро уже,—он показал рукой на золотую ленту, брошенную солнцем на озеро.

Беньяминсон еле заметно улыбнулся, осматривая комнату:

— Это ваш кабинет?—спросил он.

— Да. Но какой кабинет: кроме трубки, ничего нет. Термометр был—сломали. Медикаментов—никаких, свои привозил, так давно израсходовал.

В низенькое, как в полевой избушке, оконце я вижу часть горы и кладбище, прилепившееся на невысокой площадке около горы. Мимо избушки проходила женщина в желтом тулупе; она уже успела пожаловаться мне:

— Здесь—только водой. Захвораешь—лечить нечем. У дохтура никаких лекарствов нет, да мы и не понимаем, что он говорит, чо же—старик, ведь.

— Температуру ванн часто измеряете?—интересуется Беньяминсон.

— Нет. Нечем. Температура тут постоянная.

— А какая?

— Кажется, от 29 до 33 по Реомюру.

— А какая глубина ванн?

— Неизвестно.

— С какими болезнями приезжают сюда?

— Со всевозможными. Ревматизм, паралич, женские болезни, катар желудка, чесотка, сифилис. Один калмык приезжает каждый год, поживет тут несколько дней, омолодится и уезжает. Да.

— С чесоткой, говорите, но источник же не серный?

— Но, представьте, помогает,—смутившись этим ответом, старый врач закашлял и часто замигал, будто слезы сдерживая.

— Какой процент выздоравливающих?

— Громадный. Учета нет, некогда заниматься этим.

Около кухни звонили в колокольчик. Женщина кричала:

— Ужи-ина-ать.

Высоко в горах эхо гулко повторяло за ней.

Разговор прервался. Мы направились в столовую. Позади меня шел хромой завхоз.

— Мне бы надо поговорить с вами. Я бы много мог интересного о курорте сказать. Я много знаю: круглый год тут живу. Больше меня никто не скажет.

Завхоз рассказал, что озеро в некоторой части газировано, что температура ключей колеблется в зависимости от погоды, что в двенадцати верстах от курорта знает он такие же ключи и что губздрав не дает ему трехсот рублей за открытие.

— Здесь богатства какие!..

За соседним столом женщины уговаривали врача поехать завтра с ними на хрустальную гору. Женщина в черном громко рассказывала, как она удрала на лошади от одного поклонника к другому. Ее хвалили, а молодой человек в углу краснел и дулся. Рядом с нами сидели два молодых человека, один еле переводил дух.

— Ну, парень, я остановку сделаю. Отдохну.

Второй громко смеялся и кричал:

— Ага! силов не хватат. Маня! еще чашечку.

Высокая женщина в желтом платье и красной косынке подошла к нему:

— Вы опять в бегова едите?! Обжоры!—она налила обоим по полной киргизской чашке супу.

Пари на обжорство продолжалось, когда мы уходили из столовой. Здесь за рубль в сутки «больной» может с'есть столько, сколько ему заблагорассудится.

Из низкого барака, прихрамывая на обе ноги, выскочил молодой человек, с тонкими, круто закрученными усиками. Он остановил нас:

— Ну, как?.. как ужин, понравился? Знаете, я, знаете, сам наблюдаю за кухней.

— А вы кто такой?

— Знаете, я, знаете, счетовод.

Старый врач ведет нас к ванным помещениям. Прерванный ужином разговор продолжался.

— Вы больным рекомендуете ту или другую ванну?

— Нет. Один я, времени нехватает. Они сами по себе чувствуют.

— А что содержит вода?

— Кто ее знает? Точного анализа до сих пор не сделано. Помогает...— и врач снова перечисляет болезни.—Два крестьянина,—говорит он в заключение,—увезли в Алтайскую станицу по боченку воды, выпили, и катар желудка прошел. В водосточной канаве собирают водоросли, сушат и потом к ранкам прикладывают—хорошо помогает: на другой же день рана заживает Сам видел...

Из ванны № 5 вышел киргиз, остановился, на луну посмотрел посоловевшими глазами, покрутил головой, поглаживая грудь рукой.

— Что?

— Чижело. Не могу я подолгу в ванне сидеть.

Какой-то интеллигент, показывая на часы, возмущался:

— Я ждал... Он час шесть минут просидел.

Беньяминсон покачал головой.

— При этом, вылечившись от одной болезни, больной может приобрести другую—порок сердца,—говорил он.

Врач пожал плечами:

— Что с ними сделаешь. Я один... семь выходов... за всеми не усмотришь.

Интеллигент подошел ближе и, указательным пальцем рассекая воздух, говорил:

— Он один целый день лучшую ванну занимает. Три раза сегодня ходил он.

Киргиз косо посмотрел на нас и ровной походкой двинулся к бараку.

— Инородцы так делают. Верно,—подтвердил врач.

На дверях ванной комнаты я обнаружил жалобную книгу. Время многое стерло, но все же на желтой кедровой доске я мог прочитать: «...прибыл на курортное лечение, но лечение не использовал в виду кошмарного отношения и недостатка курортных принадлежностей, пришлось приняться за работу... мое лечение окончилось в собственном труде».

Ванна—простой колодец на месте ключа. Из десяти ванн—две под открытым небом, гнилые стенки их обросли толстым слоем слизистых водорослей. Больные садятся прямо на песок. Вода бьет снизу и, подымая песок, щекочет тело. Первое время вода кажется горячей и жжет ноги. Сидя по-шею в воде, я читаю на позеленевшей стенке ванны длинное стихотворение «Только утро любви хорошо». На грудь мою наваливается невидимая тяжесть. Я задыхаюсь. Не могу глубоко сидеть в воде, а когда приподымусь—не вижу корявых строк. Кто-то долго и терпеливо, как тот киргиз, сидел на моем месте и в стихах изливал свою любовь.

Хромой завхоз встретил нас у выхода из ванного помещения-сруба, похожего на амбаришко.

— Ну, как, хорошо? Благодать тут! Я знаю богатства...

Богатств невыявленных много. Пока мимоходом взглянули люди в тугие сундуки старого скопидома Алтая, прячущего богатые запасы под зеленые ковры лесов.

Ключи—лучшая лечебная сокровищница Казакстана—так же не изучены. Возможно, что и вода озера имеет целебные свойства. Ее почему-то не выносит рыба.

Серое утро заглядывает в палатку. Моросит дождичек. В такое утро не хочется вылезать из-под одеяла, глаза невольно десятый раз прикрываются. Меня разбудил громкий разговор алтайцев возле нашей палатки. Выхожу. У палатки стояли три лошади. Старый алтаец поклонился мне.

— Здравствуй, товарищ!

Здравствуй,—ответил я.

— Экспедиция?

— Да.

— Ботаники?

— Есть ботаники, есть и минералоги.

— Минералоги есть? Камни собирают?

Эти вопросы удивили меня. Откуда старик-алтаец знает слова, которыми обозначаются науки? Амыр-сана говорил, показывая на старика:

— Аргамай это.

— Аргамай?!—Неожиданная встреча обрадовала. Вспомнилось слышанное в горах про Аргамая, богача алтайского

Из альбома Морской Научной Экспедиции Комсеверопути 1926 г.

ЮРАКИ ГЫДАНСКОЙ ТУНДРЫ

УПРЯЖКА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Фот. В. Итин

Из альбома Морской Научной Экспедиции Комсеверопути 1926 г.

БЕРЕГ ОСТРОВА ДИКСОНА.

БЕРЕГ ОСТРОВА ДИКСОНА (КОНЕЦ ЛЕТА).

Фот. В. Итин

АЛТАЙСКИЙ КАМ (ШАМАН)

КАМЛАНИЕ

Фот. Коровников

АЛТАЙЦЫ У СВОЕГО ЧУМА

АЛТАЙКА

Фот. Коровников

— Чей скот?—Аргамаев скот. Чьи табуны?—Аргамаевы табуны. Число скота своего не знал Аргамай, косяками считал: загонит в ущелье, если все оно занято лошадьми, значит не уменьшился табун. Золотую трубку курил Аргамай...

Много рассказов ходило про Аргамая. Весь Алтай знает его. Аргамай один в горах.

В полдень мы сидели на берегу Рахмановского озера, доротым изумрудом завалившегося в тесную долину. Тонкие струйки Аргамаева костра лениво тянулись вверх. Медленно рассказывал старик о прошлом:

— Раньше мы были под китайским подданством. Потом перешли к русским. Русские нам бумаги выдали о том, что земля эта—наша собственность. А потом обман получился. Теперь можно говорить об этом, а раньше нет, а то живо в Петропавловскую крепость сошлют. Взяли у нас бумаги и сказали: «Их надо заменить настоящими государственными актами». Актов не дали, а землю об'явили собственностью кабинета. Народ посылал стариков, у которых бумаги раньше хранились, хлопотать, но они не поехали—трусили. Так и умерли старики. В девятьсот десятом году девятнадцать алтайских лючин уполномочили меня ходатайствовать. Приехал я в Томск к губернатору, а губернатора дома не оказалось. Поехал в Петербург. Губернатор там Увидел меня и спрашивает: «Зачем приехал?»—О земле хлопотать.—«Нельзя тебе о земле хлопотать, я сам буду хлопотать». Потом говорит: «Царю тебя покажем, только ты ничего о земле не говори, будешь о земле говорить—на каторгу сошлю». Взял с меня слово. Вот привел меня к царю. Царь спрашивает: «Ты откуда приехал?»—Из Томской губернии.—«А что, в Томской губернии море есть?». Ну, какой же он царь, если своего государства не знает? Царь по географии должен все свое государство знать, по карте должен знать, есть или нет в Томской губернии море, а он спрашивает меня Губернатор сказал, что мы верноподданы, больше ста годов тихо-смирно живем. Царь больше и разговаривать не стал. После этого думаю я: дай губернатора обману. Зашел с другой стороны: подал прошение председателю Государственной думы. Дума разбирала вопрос, но кадеты помешали—их голосов больше было, и землю нам не отдали.

Аргамая не надо расспрашивать, выпытывать, он сам будет без конца рассказывать о себе и своем народе. Закончив об одном, он тотчас же начинает о другом.

— А вот как я стал коннозаводчиком. Долго ходил по Петербургу и вздумал зайти в военное ведомство. Пришел и говорю: я—скотовод, мне надо хороших жеребцов, чтобы на будущее время лошади для армии были.—«Хорошее дело»,—говорят они мне. Дали пропуска. Две недели ходил я на ипподромы, в манежи, лошадей осматривал. Ну, опять обман вышел: жеребцов мне не дали, сказали только: «Ты хозяин некультурный, за чистокровными лошадьми ходить не умеешь, они пропадут у тебя, а мы будем жалеть, плакать». Приехал я домой, взял справку о том, какой я есть скотовод, сколько у меня граблей и косилок, заверил у крестьянского начальника и в губернском управлении. Приехал опять в Петербург.—«Ты зачем?»—спрашивают.—А вот привез все материалы. Посмотрели на бумаги и дали мне четыре жеребца: чистокровного арабского, полукровного английского и два орловских.

Хитро сощурив маленькие глазки, Аргамай окинул нас с ног до головы пытливым взглядом.

— Вот бы опять мне с военным ведомством знакомство установить В Москву ехать не могу—стар стал.

По озеру пробежал ветерок. Мы любовались серебристой чешуей воды. К берегу плыл салик, нам оттуда махали руками. Манило на воду, но не хотелось уходить от Аргамая. А он продолжал:

— Второй маслодельный завод на Алтае я открыл. Было это в 1900 году. Раньше меня только в селе Смоленском завод был поставлен.

Завод Аргамаю вскоре пришлось закрыть: мастера взяли на Японскую войну, кержаки стали говорить, что в сепараторе сидит антихрист, оттого и погода плохая, и скот падает. Алтайцы поверили им и тоже стали ругать Аргамая.

Сварился суп из конины. Аргамай отставил в сторону котел. Разговор не прерывался:

— Бийский исправник да Макарий не любили меня. Приехал как-то ко мне Григорий Миколаевич Потанин, неделю жил и сказки записывал. Только уехал—ко мне полиция: «Чо он делал? Чо говорил? Зачем ты его пускал? Я и говорю: а почем я знаю, какой он человек. Вы бы сказали, что он плохой человек—не принимай, я бы и близко пускать не стал.

Длинны рассказы Аргамая, как длинен летний день. Он рассказал, как приучил алтайцев к бане, как со словарем в руках читал газету, как нагрубил Макарию, когда он говорил проповедь, как остался верным шаманизму.

Алтайцы ближайших юрт и работники Аргамаевы крестились. Как-то после пасхи приехало поповское и полицейское начальство и спросило Аргамая:

— Почему алтайцев к причастию не пускаешь? Почему твои работники на пасхе в церкви не были?

— А я почему знаю, когда у них пасха? Я их не держу, они сами не ходят. Если хочете—я им свою церковь выстрою,—говорил Аргамай.

Благочинный написал заявление от имени Аргамая. Вскоре в Теньгинской долине появилась церковь. Первый год на пасху собрались все крещеные алтайцы, на второй год—пришла половина, а в третью пасху церковь стояла пустая. Аргамай поехал к исправнику:

— Что сейчас делать? Выстроил им церковь, а они не ходят в нее. Может, прикажешь силой погнать? Я погоню.

Двенадцатилетний сын Аргамая Токпо рассмеялся и приподнялся от костра.

— Сейчас еще стоит,—сказал он о церкви.

Токпо четыре зимы учился в улалинской школе. Глядя в его открытые глаза, почему-то кажется, что, когда он вырастет и вернется в родную долину хорошо грамотным человеком, он найдет возможным приспособить для культурных целей церковь, когда-то отцом его язычником выстроенную для крещеных сородичей. Отцовской радостью полны глаза старого Аргамая, когда он говорит о сыне:

— Пусть учится. Хочу доктором сделать. Алтайскому народу надо доктора. Другого сына—в пятой группе учится—надо сделать ученым человеком, чтобы говорил он алтайцам, как за скотом и за конями ходить.

— Агрономом,—помогли мы Аргамаю.

— Вот-вот, агрономом.

После обеда мы уезжали. До брода на Арасанке провожала нас разноцветная толпа курортников. Все махали нам руками и кланялись, как старые друзья. На том берегу, среди темных пихт выделялась желтая шуба Аргамая. Он улыбался беззубым ртом.

С первого перевала, откуда открылся далекий вид на белый Сайлюгемский хребет, мы второй раз увидели Белуху. Она улыбалась своей белизной,

точно смеясь над нами. Окружающие ее черные хребты лежали внизу, покрывалом свалившимся.

Впереди—голубая долина Бухтармы.

VII. В КРАЮ БУХТАРМИНСКОМ.

В Уруле*)—прямые улицы зеленеют от садиков. Возле садиков проведены арыки. Мы остановились в центре поселка у казака Шестакова. В горнице, где мы помещаемся, целый угол занят иконами в тяжелых киотах. На лавочке сидит маленький казачок Андрей Иванович и рассказывает о киргизах.

— У многих киргиз по две жены?—спрашиваю я.

— У богатых-то, вон, есть и по три.—Отвечает он.—Да что киргизы, у казаков, вон, бывает по две бабы. Недавно, такой случай был: У нас, вон, Шестаков держал две бабы—стара баба да молода баба. Очередь была установлена, которую ночь с которой ночевать. Хорошо все шло—не ссорились. А один раз дошло дело до драки. Надо было ложится со старой, а он к молодой ушел. Старая молодой, вон, полезла глаза царапать, а, он, мужик-то, вон, набил ее. До председателя дело дошло. Кузнецов, вон, тогда председателем был. Пришел он на место, разобрался в делах и уложил, вон, его с молодой женой.

— А почему с молодой?

— Я не знаю. Порядок, вон, видно такой.

Сосед его, ямщик Нехорошев, посмеивается.

— Ты бы не рассказывал все-то. Зачем срамить село?—говорил он

— А было это?

— Неужели выдумывать будет, знамо было. Все знают.

В сельсовете у стола сидел человек в зеленом мундире, густо усаженном заплатами, от которых на протершихся локтях остались только лохмотья. Человек не разгибался и не оглядывался. Мы спросили председателя.

— Говорите. В чем дело? Я могу заменить председателя,—покосившись на нас, говорил он.

Мы спросили, не оставили ли нам письмо члены экспедиции, проехавшие на несколько дней раньше нас. Тогда он поднялся, выпрямился во весь свой трехаршинный рост и, посасывая морщинистые щеки, отчеканил огрубевшим голосом:

— Здравствуйте! Я—секретарь здешнего сельсовета.

Брюки секретаря, также оставшиеся от былого времени, были под цвет мундира, дыры на коленях были стянуты нитками. Высокая и стройная фигура, гордо приподнятый подбородок и важный сухой голос выдавали его за военного. Осталась старая выправка, хотя человек был уже не тот: казалось, кто-то приподнял за мундир и вытряхнул из него тело так, что остались под молью из'еденным сукном только кости, а вытянутое вниз лицо высохло и, когда-то мягкая, кожа полных щек, сморщившись и пожелтев, присохла к костям, и теперь он, посасывая щеки, отдирает ее. Он больше походил на ходячий скелет в старом мундире, чем на человека.

— Нет вам писем,—показав на скамью, он сел на свою табуретку.

— Бывший военный,—шепнул я Беньяминсону.

Они говорили на немецком языке. Я зевал от длинного и непочятного разговора.

---

*) Уруль—последний поселок в Алтайской казацкой линии.

— Из бывших,—согласился Беньяминсон после беседы с человеком в мундире,—но не знаю, военный или нет.

Секретарь заговорил по-русски о том, что нет в Уруле овощей, что не достанешь медикаментов, что товары в кооперативе только крестьянские и что жить здесь плохо.

Пришел председатель в старой казацкой фуражке и, порывшись в бумагах, лежащих в шкафу, подал два письма.

Вечером, когда мы ужинали, на квартиру пришел секретарь, он сел недалеко от стола, на котором лежали последние банки с консервами. Он посматривал на них поблекшими, цвета табачного дыма, глазами и все время сосал свои щеки.

— А здесь этого достать невозможно,—указал на банки.—Шоколада тоже ни за какие деньги не достанете.

Его пригласили к столу, он, поблагодарив, отказался и попросил хинина:

— Здесь малярия замучила...

В сумраке вечера костюм его выглядел далеко нестарым, и мне казалось что недостает ему только шпор, погон и шашки.

Утром один из членов экспедиции, латыш, долго беседовавший с секретарем на его родном языке, сообщил нам:

— Бывший полковник. Мечтает о Латвии. Говорит, что не хочется умирать в чужом краю.

В Уруле спросили, на территории какого уезда мы находимся. Нам ответили:

— Семь губ Бухуезда..

В переводе на русский язык это оказывалось: в Семипалатинской губернии, Бухтарминском уезде.

Мы целый месяц не видели газет и теперь поспешили узнать, когда будем в уездном городе.

— Город Больше-Нарымск. Завтра будете там.

Торопились к этому городу—очагу культуры.

Долину можно назвать степью: длина ее больше пятидесяти верст, а ширина—больше тридцати. В этой долине—маленькая деревенька из белых мазанок и деревянных домиков. Это—уездный город Больше-Нарымск. Мы спрашиваем у первого встречного:

— Какая деревня?

— Больше-Нарымская.

У второго спросили:

— Какое село?

— Больше-Нарымское.

Третий сказал, что Больше-Нарымск—город. А когда спросили: это город или село?—нам ответили:

— А мы сами не знаем.

Больше-Нарымск—маленькая деревушка с угнетающей тишиной улочек, со свиньями в грязи и учреждениями, часто без вывесок. В городе говорят

— Если тебе надо финотдел—иди по этой улице, дойдешь до большой лужи—тут тебе и будет финотдел.

Лужа хорошая, не хуже миргородской, улица возле нее широкая, как площадь.

Этот своеобразный город не имеет пивных, оттого в каждом дворе живут «пивовары». О них все знают и все молчат. Главный «пивовар» живет

за пожарным сараем. Потому приезжие часто спрашивают у прохожих, где находится пожарная часть. Женщины больше-нарымские отвечают на этот вопрос:

— Машины пожарные стоят на горе, а где живут чиновники пожарные—не знаю.

Читальни в городе нет, библиотеки тоже. Есть клуб, но он был целый день закрыт. Газет мы не нашли.

На главной улице, хотя не имеющей ярлычков на углах, но, надо полагать, Советской, на маленьком домике—кривая вывеска: «Книжный магазин Бухуика».

— У вас даже частные книжные магазины есть,—говорил один из членов экспедиции заведующему домом крестьянина.

Зав ответил на это:

— Вы не поняли, это значит: книжный магазин Бухтарминского уездного исполнительного комитета. Да, он всегда закрыт бывает, так что...

Тогда мы убедились, что без переводчика путешествовать по Казакстану плохо.

По главной улице с нами шла женщина в черных шароварах и самаркандской тюбетейке, из-под которой выбились коротко подстриженные волосы. На крыше какого-то учреждения (лужи не было и мы не знали, что это за учреждение) сидели два мальчика и пускали мыльные пузыри. В улице стояла женщина с ребенком на руках и любовалась цветистыми пузырями, валившимися на нее сверху и лопавшимися около самого носа. Увидев нас, она повернулась, долго, сначала испуганно, а потом удивленно, смотрела на нашу спутницу, шлепнула рукой по полосатой юбке и, еле удержав ребенка, на всю улицу крикнула:

— Батюшки мои! Кака оказия идет!

На женщину с подстриженными волосами и в шароварах здесь смотрят с таким же любопытством, как на бухарского слона.

Из города приказывают, налоги собирают, а о торговле «чиновники» не заботятся. Кооператив в алтайском Миргороде ничего не достанет. За товаром ездят за шестьсот верст в Семипалатинск.

Вместе с нами ехал председатель Урульской потребиловки. Он жаловался:

— Было на пристани Мало-Красноярской отделение губсоюза. Все товары можно было взять тут. Нынче это отделение закрыли, и теперь приходится ездить за товаром в Семипалатинск. Это называется приближением товаров к потребителю и снижением накладных расходов,—и председатель занялся высчитыванием своих расходов по поездке в Семипалатинск.

Степь светлеет. Мельчают травы. Горы становятся мягче и расходятся, образуя широкие долины. Впереди серой лентой извивается Иртыш и зеленеют вечно шумливые шестиаршинные камыши прииртышские.

Н. ГАЛКИН

Сказки полярной ночи

В 1926 году зимой мне пришлось ехать по чукотской земле.

Стоял декабрь. Солнце уже две недели, как скрылось за горизонтом. День сумеречный, короткий—с воробьиный шаг.

Три нарты, запряженные собаками, тащились одна за другой в мглистой тьме сгустившихся сумерек. Струящийся холодок полз за спину, заставляя то и дело соскакивать с нарты и бежать с собаками. Наконец, с передней нарты закричали: «Яранга чумча» (юрты близко). Собаки, почуяв близость жилья, подхватили, и через несколько минут нарты стояли у одной из яранг небольшого чукотского поселка на крутом берегу Ледовитого моря. Приветливое «етти» хозяина приглашало войти.

— «Ы-ы»,—ответил я и, отряхнув снег, пролез под теплый полог иоронги.

Торбаза, чулки и другие части меховой одежды развешаны хозяйкой под потолком для просушки. Тепло. Горячий чай.

Наружные работы закончены и все обитатели иоронги, сидя вокруг лотка, уничтожают сырую нерпу, запивая чаем. Наконец, трапеза окончена. Все новости сообщены.

Полярному вечеру конца не видно. Кенка, мой спутник, начал говорить сказки. Все придвинулись ближе, и иоронга обратилась в слух...

I.

Пошел мышь на охоту и убил нерпу. Увидел ворон, сидевший на скале, что мышь тащит нерпу и кричит:

— Что ты тащишь?

— Дерево,—отвечает мышь.

— Какое дерево, голова торчит.

— Это сучок.

Не поверил ворон, спустился и, увидев у мыши на спине нерпу, отобрал ее. Пришел мышь домой и давай плакать и жаловаться. А дочери мышиные утешают:—не плачь, пойдем ночью и украдем, когда ворон вытащит ее на мороз студить.—Ворон порезал нерпу на куски и вынес морозить. Мыши пришли и за ночь перетаскали все мясо к себе в ярангу. Утром хватился ворон, а нерпы нет...

— Это, наверное, мыши взяли,—сказала жена.

Ворон решил отобрать мясо и пошел до мышей.

— Я им нагоню холода!

Увидели мыши ворона и закричали:

— Дедушка идет, дедушка идет.

Пришел ворон в ярангу, а мыши и говорят:

— Хочешь, дедушка, каши?

Сварили кашу, накормили его досыта. Ворон заснул, а мыши стали в голове у него искать. Пока ворон спал, мыши нашили ему на глаза красную материю. Выспался ворон и пошел домой. Навстречу дочка. Через красные тряпки ему показалось, что дочка горит, он давай тушить ее, бить палкой и забил насмерть. Вышла старуха из яранги, сняла с глаз тряпки. Осердился ворон и говорит:

— Это мыши все наделали, пойду расправлюсь с ними.—Пошел.

— Дедушка идет, дедушка идет,—закричали мыши. Пришел ворон в ярангу, а они наварили опять каши и давай его потчевать. Наелся опять ворон, забыл, зачем пришел и улегся спать, а мыши искали в голове. Во время сна они взяли уголь и разрисовали ему все лицо. Когда ворон проснулся, мыши сказали:

— Пойдешь через воду, увидишь во льду дыру, посмотри в нее.

Пошел ворон. Дошел до воды, посмотрел в нее и говорит:

— Теперь я стал бабой пестреной*), возьму себя замуж.

Пришел домой и говорит жене:

— Мне тебя не надо, я пестреную бабу возьму за себя.

Собрал все кухляики, «плекет», «памьят» (торбаза, меховые чулки) посуду и пошел к воде. Думает: которая не потонет—возьму с собой. Побросал в воду все вещи—все потонули. Тогда он прыгнул сам и тоже утонул».

Прошел уже час, в который обычно обитатели яранги ложатся спать, а теперь сидят в глубокой тишине и с неослабевающим вниманием слушают. Только хозяйка нарушает тишину, поднимаясь время от времени, чтобы подлить масла в «ээк»**), снять нагар и выровнять фитиль. Кенка начал вторую сказку.

«Жил старик со старухой, у них было два сына, одна дочь. Была у них китовая голова, с которой, вместо ведра, ходили по воду. Сколько дочку ни сватали, она отказывала всем. Осерчал старик и говорит:

— Пусть тебя возьмет китовая голова.

Пошла дочка за водой с китовой головой. А голова ожила, схватила дочку и уплыла. Много прошло дней. Наконец, братья говорят:

— Довольно ей пропадать, надо искать.

Сели в байдару и поплыли. С собой взяли старуху мать и три одежды сестрины. Тремя морями проплыли они. Наконец, увидели две скалы: раскрываются и закрываются их ворота. Раскрылась скала и увидели они сестру, она жила у кита. Сестра поговорила с ними и скоро прыгнула в байдару, и все поплыли домой. Вот проплыли первое море и вдруг увидели, что за ними гонится кит, совсем уж близко. Тогда бросили ему одну одежду—кит отстал. Заплыли во второе море. Опять кит догоняет. Они бросили вторую одежду. Кит опять подумал, что его жена, и не стал догонять. Наконец, зашли в третье море. Кит опять стал нагонять; совсем уж близко. Бросили ему третью одежду, кит разглядел и бросился за байдарой. Но в это время они успели выскочить на берег, только байдару разбил кит.».

Завтра собираемся рано, а потому сказки закончили.

II.

Меня застигла пурга в эскимосском селении Имтух. Семь дней непрерывно свистел ветер, подымая тучи снежной пыли, и не давал никому выехать в тундру. Наружный шатер яранги сплошь устлан телами колечком свернувшихся собак. Спят, как убитые, и только раз в день во время кормежки оживают, блестят глазами, сверкают белизной клыков, вырывают друг у друга мерзлые куски нерпы и, не жуя, проглатывают.

---

*) Пестреный—пестрый. Имеется в виду распространенная у чукчей татуировка женских лиц.

**) Ээк—светильня, наполненная нерпичьим салом, фитиль заменяет тертый мох.

Мы сидим в поронге, пьем чай, жарим на нерпичьем сале прекрасную треску, которую ловят в озере тут же, слушаем рев бури и каждый день наедаемся на выезд.

Нотауе—худощавый эскимос, средних лет, с красивыми черными глазами, симпатичным лицом; он похож тонкими чертами лица, линией носа на римского воина. Несколько раз в день заходит он в ярангу и старается развлечь нас то танцами, то пением или рассказывает сказки.

Сам он и другой пожилой человек, вооружившись бубнами, тонкой палочкой ударяли в такт по его ободьям, сопровождая удары пением в унисон. Под эту музыку и шли танцы. Танцовала дочь и сестра Нотауе. Было жарко, и танцовщицы спустили с плеч меховую одежду, прикрыв грудь камлейкой. Ноги оставались неподвижны, они слегка приседали корпусом и производили руками пластические движения. Лица без какой-либо мимики. Женщин сменили мужчины. Танцовали ребята, парни и взрослые мужчины. Музыканты обливались потом и то и дело промачивали горло снегом, стоящим в чашке перед ними. Танцоры в одних штанах, босые. Танец мужчин интересен, в нем много экспрессии, движения глубже, резче, выразительнее; они изображали охоту, показывая руками в легких намеках отдельные моменты,—стрельбу, ранение, смерть убитого животного. Их танец захватил внимание зрителей, музыканты воодушевились продолжали пение с подбадривающими выкриками до хрипоты. Поддавшись настроению, Нотауе, отложив бубен танцовал сам. Потом было одно пение. Певец пел: «Лети, ворон, в море и посмотри, нет ли на льдинах моржей, я пойду и буду стрелять и колоть гарпуном»:

Сегодня вечер сказок. Рассказчик Нотауе.

«В соседнем селе жил эскимос. Сам он был маленького роста, а жена большого, как два человека, поставленные один на другого. Груди ее были столь велики, что на одну она клала младенца, а другой закрывала. У них было четверо детей. Один сын хорошо владел пращей. Однажды, выйдя на берег, он увидел идущего человека. Тогда он вложил в пращу большой камень и убил человека. Родители были очень недовольны и вместе с другими сыновьями упрекали его. В свое оправдание он сказал, что сам не хотел убивать человека, но сделала это его правая рука. Братья не удовлетворились об'яснением и отвели убийцу к родственникам убитого, чтоб там могли отомстить смертью за смерть их близкого, а сами с ремнями стали ждать, чтоб принять мертвое тело брата и похоронить согласно обычаям. Семья убитого так была напугана случившимся, что все сидели при его приходе, низко опустив голову. И только дочка убитого взяла вилку, что достают оленье вареное мясо, и ткнула убийцу, но она была маленькая и никакого вреда не принесла. Он же вышел из яранги и пошел к братьям. Не раз еще убивал он людей, вызывая упреки и ропот близких. На Чаплинской косе жил один человек, очень сильный. Пришел он в поселок, где жила эта семья и забрал у всех мясо. Пришли люди к своему сильному человеку и говорили: «Ты зря можешь убивать людей, а когда нужно, не можешь защитить». Он пошел, отобрал у того все мясо и роздал пострадавшим. Пришел однажды из тундры олений чукча и, когда увидел, как много мяса у береговых, подумал, что моржи сами выходят на берег, а потому убил всех оленей и пришел жить на берег. Но здесь он узнал, что для охоты надо ходить по подвижному льду, чего он не умел, поэтому совсем переселился на остров св. Лаврентия, куда перенес и свою ярангу. А между тем, отец и мать того человека, у которого сама рука убивала людей, умерли, и он надел женское платье, стал добрым человеком, никого больше не убивал и сделался первым китовым охотником».

Вторая сказка.

«В с. Редкин жила старуха-шаманка. Люди отдавали ей детей на воспитание, а за это с каждой охоты должны были отдавать ей печенку от всех убиваемых зверей—моржей, нерп и др. Наконец людям надоело и когда пришли байдары с охоты, охотники, видя приближающегося посланца старухи, положили печенки на слабый подвижной лед и на вопрос: «Где печенки», сказали: «Вот возьми». Он ступил на льдину и про-

валился в воду. Охотники его убили, а сердце вынули и послали старухе. Она повесила сердце на «ээк» и, когда с него стали падать вши, шаманка догадалась, что сердце было ее посланного. Вскоре в море появилось много моржей. Старуха принялась таскать в ярангу снег. И вот, когда эскимосы поехали в море за моржами, она стала собранный снег выбрасывать, отчего поднялась сильная пурга, и охотники погибли. А шаманка, набрав полные рукавицы камней, ушла из села и высыпала камни за селом. Камни эти и сейчас лежат там. Ступни ее тяжелых ног оставили глубокие следы, сохранившиеся до сих пор, как и вдавленное место на камнях, где она отдыхала. По слухам, старуха пошла в Россию».

По окончании сказки, принимаемой, повидимому, за быль, старик-хозяин спросил: «А что, не слыхать было, не проходила там у вас эта большая женщина?»—Я ответил: «Не слыхать было, думаю, что не проходила».—Слушатели эскимосы выразили удивление:—ведь было это еще не так давно...

Третья сказка.

«Жил эскимос, был он большой обманщик, как и его жена. Как-то увидел он издали, что к нему едет гость—оленевод, и говорит жене: «Поставь скорее вариться мясо». Пока гость ехал, мясо сварилось и было вынесено за полог. Приехавший был голоден, хозяин сказал жене: «Поставь варить мясо».—Гость удивился, что мясо варится где-то в пороиге. А хозяин об'ясняет, что у него есть такая кастрюля, которая сама варит. Гость не поверил и посмотрел, нет ли где в яранге огня. Огня не было, а мясо вареное. Погостив, и, собираясь уезжать, гость начал просить продать кастрюлю. Хозяин упирался сперва, а потом продал в обмен за оленей. Приехал «чаучи» (оленный) домой. Скоро приехали к нему гости, и он велел жене положить мясо в кастрюлю и вынести за полог. Через некоторое время кастрюлю внесли в поронгу, но каково же было удивление, когда мясо оказалось сырым. В другой раз обманщик проделал следующее.

Он взял нерпичий пузырь, наполнил кровью и положил жене под кухлянку. Когда приехали люди, жена стонала, притворившись больной. Муж взял нож и ткнул в пузырь, потекла кровь, жена упала. А он принес палку, обжег один конец и стал водить им по ране; через минуту жена стала здоровой. Гость упросил его продать ему палочку за несколько ценных шкур. По приезде домой, он захотел испытать действие палочки. Приехали люди, жене велел притвориться больной, она стонала, а сам взял нож и ткнул жену в бок. Она застонала, а он успокаивал, говоря, что сейчас вылечит. Однако, палочка не помогла, и жена умерла.

Как-то обманутые встретили обманщика и решили его утопить. Связали ремнями и оставили лежать у проруби, пока сходят за камнями. Мимо шел человек, и связанный попросил развязать его, что тот и сделал. Тогда обманщик связал своего освободителя и положил вместо себя. Те двое пришли с камнями и, как ни убеждал связанный человек, что он не тот, его утопили. А спасшийся обманщик разобрал свою яранту и укочевал в другое место».

Сказки окончены. Поранга готовится ко сну. Ветер тише. Под поднятый полог врываются клубы холодного воздуха, сквозь которые видны мерцающие звезды. Старик обещает хорошую погоду.

СЛОНИМ

Красные строители и „белый грибок"

I.

Всесоюзное об'единение строительных рабочих отпраздновало свой десятилетний юбилей.

Сибирским строительным рабочим, вписавшим яркую и красочную страницу в историю борьбы сибирского пролетариата за власть Советов, не безынтересно оглянуться на пройденный путь и бросить хотя бы беглый взгляд на свое революционное прошлое.

Стройпромышленность Сибири до Февральской революции.

Судьба пролетариата, в частности строительного, тесно связана с промышленностью. Поэтому невольно возникает вопрос, что представляла собой стройпромышленность Сибири до Февральской революции?

Экономическая политика царского правительства долго держала Сибирь на положении экспортно-сырьевой колонии и рынка сбыта для промышленности Европейской России. Развитие в России промышленного капитала, ищущего новых рынков сбыта, приводит к постройке Великого Сибирского рельсового пути. Работы по постройке Сибирской дороги начались в 1892 г. Движение до Иркутска открылось в 1899 году. В разгаре строительства дороги здесь работало до 40 тысяч рабочих, главным образом, привозных из неземледельческих губерний Центральной России.

Прямым следствием проведения Сибирской железной дороги является быстрое развитие промышленности, рост городов, постройка новых фабрик, заводов и экономическое оживление края. Особенно усилился темп и размах строительства в Сибири после русско-японской войны, когда бывшее царское правительство впервые серьезно столкнулось с опасностью потери этой богатейшей страны. В этот период (1906—13 г.) продолжается дальнейшая прокладка железных дорог (Алтайской, Ачинск-Минусинской, Кольчугинской, Колундинской и второй магистрали Южно-Сибирской), которые являются под'ездными путями к Великой Сибирской железной дороге. В связи с формированием в Сибири 4 новых воинских корпусов, царское правительство приступает к строительству «военных городков» (в Томске, Красноярске, Ново-Николаевске, Ачинске, Иркутске), начаты в 1906 году и закончены (вчерне) в 1913 году. На всех этих постройках рабочая сила также была привозная из Европейской России.

В своем труде «Развитие капитализма в России» т. Ленин так определяет социальную природу строительного пролетариата: «Строительные рабочие представляют собой образующийся промышленный пролетариат, связи которого с землей, очень сла-

бые уже в настоящее время, с каждым годом ослабевают все более и более. По своему положению строительные рабочие резко отличаются от лесных рабочих, приближаясь более к фабричным». Это определение социальной природы строительных рабочих дано было Ильичем 30-35 лет тому назад, когда промышленность страны недавно лишь вышла из периода натурального хозяйства. Сейчас строители по праву занимают место в рядах промышленного пролетариата.

Условия труда рабочих на постройках (особенно на железных дорогах) были каторжные: 18-ти часовой рабочий день «от зари до заката солнца» (а подчас и при свете костров), копеечный заработок (70-100 руб. за сезон), работа в глухой сибирской тайге при суровом климате. Жить приходилось в удушливых сырых землянках. Рабочие умирали тысячами, а на их место привозились новые партии голодных крестьян и рабочих. Эксплоатация труда в стройпроизводстве была так велика, что во Владимирской губернии среди крестьян в ходу была такая поговорка: «Нет выгоднее торговли плотниками». Тов. Ленин в труде «Развитие капитализма в России» приводит ряд ярких фактов и показывает нам, как в отношении стройрабочих подрядчики при самодержавии пытались на протяжении десятилетий удержать фактически крепостное право.

Первые классовые бои.

Первая стачка стихийно вспыхнула в 1899 г. в Красноярске, при постройке кессонов моста через реку Енисей. Стачка, возникшая без необходимой подготовки, окончилась неудачей. Правительство, взамен забастовавших рабочих, выслало солдат и уголовников, которые с грехом пополам заменили рабочих.

Вторая стачка вспыхнула в 1901 г. среди рабочих столярной мастерской Трещова и мебельной фабрики Лопухова. Рабочие-столяры потребовали от нанимателей увеличения заработка до 1 р. 20 к. в день (вместо 90 к.—1 руб.) и сокращения рабочего дня до 11 часов (с 6 утра до 6 вечера и 1 час на обеденный перерыв). Предприниматели в этом отказали, рабочие об'явили забастовку и создали свой стачечный комитет.

Когда семейные рабочие столярной мастерской Трещова, не выдержав голодовки, явились в стачечный комитет и сказали, что вынуждены стать на работу, решено было выдавать бастующим из ранее созданной кассы по 20 коп. на едока. В результате рабочие выиграли стачку, получив прибавку от 20 до 50 копеек в день. Столяры мебельной фабрики Лопухова, не имевшие своей кассы, вынуждены были преждевременно прекратить стачку, добившись лишь частичного удовлетворения своих требований.

Ряд стачек происходил на Кругобайкальской железной дороге (в Иркутской губернии) в 1903-4 годах. Стачки носили оборонительный, экономический характер. Однако, в эти стачки то и дело вмешивались жандармы. Во время стачки рабочих, работавших в Большом Хабартуйском туннеле, представитель жандармерии, несмотря на то, что сам признал требования рабочих справедливыми, арестовал зачинщиков забастовки. Не имея места, куда их «упрятать», он обратился с прошением по начальству об отпуске средств на постройку арестного барака на 450 человек.

В 1904 году строители Н.-Николаевска бастовали совместно с печатниками и мельничными рабочими. Забастовка протекала под руководством местной социал-демократической организации. Требовали уменьшения рабочего дня и повышения заработной платы. Забастовка длилась 10 дней. Рабочие добились лишь частичного повышения зарплаты.

В 1905 году в Барнауле бастовали каменщики, потребовав сокращения рабочего дня с 13 часов до 11. Стачка была выиграна.

В 1906 году бастовали строители Барнаула, выдвинув требование повышения поденщины (квалифицированным—20 к., неквалифицированным—5 коп.) и устано-

вления восьмичасового рабочего дня. Прибавки рабочие добились, а рабочий день остался по-старому.

В конце 1913 года барнаульскими плотниками на постройке казарм по линии Алтайской ж. д. была проведена довольно крупная забастовка, выигранная рабочими.

В 1916 году (в июне месяце) в Барнауле бастовали до 600 строителей. Стачка окончилась неудачей. Около 200 рабочих лишились работы.

В этом же году бастовали иркутские строители на военных постройках. Во главе стачкома стояли большевики (арматурщики—Переверзенко и Филиппов). Стачка длилась свыше месяца и окончилась частичной победой рабочих (получили прибавку к зарплате).

Стачечная борьба открыла глаза рабочим. Строители впервые увидели открытым хищный оскал своего классового врага—подрядчика-капиталиста, увидели, как за его спиной стоит вооруженный с головы до пят царизм, услужливо предоставлявший на усмирение «крамольников» полицию, войска, тюрьмы.

Борьба за восьмичасовой рабочий день.

Основное требование, выдвигаемое стачечниками-строителями,—сокращение непомерно длинного рабочего дня. Уже в 1905 году в крупных городских центрах Сибири строители добились введения 11-ти часового рабочего дня (от 6 утра до 6 часов вечера с часовым перерывом на обед).

В 1908 году строители Барнаула явочным порядком ввели на постройках получасовой перерыв на завтрак, сократив, таким образом, рабочий день до 10½ часов.

В Красноярске в том же году по инициативе техника Пятерикова было созвано нелегальное собрание строителей (присутствовало 30 чел.), где им сделан был доклад о необходимости введения восьмичасового рабочего дня. Собрание решило добиться этого легальным путем. Тут же на имя вице-губернатора было составлено прошение, на котором подписались все присутствующие. Вице-губернатор, конечно, пригрозил тюрьмой всем подписавшим прошение. Только за год до Февральской революции (24 февраля 1916 года) красноярцы добились постановления городской думы (подтвержденного губернатором) о введении девятичасового рабочего дня.

События 1905 года сильнее всего захватили барнаульских и красноярских строителей. В вооруженном восстании красноярских рабочих разрозненная строительная масса тоже принимала участие. В Красноярском Совете Рабочих Депутатов был депутат от строителей (тов. Замятин Кирилл) и ныне работающий в стройпроизводстве в Красноярске).

В Барнауле, как только получилось известие об опубликовании манифеста 17 октября 1905 года, строители вместе с шимокатами устроили открытый митинг в «Доме Свободы». Собравшаяся «чистая публика» ожидала спектакля, а, вместо этого, поднялся занавес, и представитель Барнаульского комитета РСДРП (т. Веронский—большевик), по случаю получения царского манифеста о даровании разных «свобод», об'явил митинг. На этом же митинге рабочему каменщику (Мише Зимачеву) от имени Барнаульской социал-демократической партии было вручено красное знамя с нашитыми на нем лозунгами: «Долой самодержавие, да здравствует демократическая республика».

Впервые в Барнауле на этом митинге были брошены лозунги вооруженного восстания и свержения самодержавия. По окончании митинга была организована ночная демонстрация, в которой участвовало до трехсот рабочих.

Первые зародыши организации.

Рабочие строители, столкнувшись в стачечной борьбе с организованной, сплоченной силой подрядчиков, решили в свою очередь сорганизоваться.

С первой попыткой к об'единению мы встречаемся в 1899 году в Томске, где рабочие столярной мастерской Тренцова, по инициативе политссыльного, старшего масте-

ра Черкова, создали свою «кассу», куда еженедельно отчисляли из своего заработка по 5 коп. с заработанного рубля.

Постепенно взнос в кассу был доведен до 20 коп. с рубля. Как мы уже сообщали, благодаря помощи своей «кассы», рабочим впоследствии удалось выиграть стачку.

С первыми зачатками профессионального движения среди строителей мы встречаемся в Барнауле в 1902 году. На сибирское профессиональное движение огромное влияние оказали политические ссыльные, которые вели революционную пропаганду среди рабочих. Это особенно ярко проявилось в Барнауле, где в 1902 году возник ряд революционно-просветительных кружков. Они были созданы по цехам, и каждый из них имел своего руководителя. Эти кружки являлись первичными ячейками союзов каменщиков, печников и штукатуров, маляров, плотников и др.

Первые цеховые союзные организации в Сибири были вызваны к жизни революцией 1905 года. Так, в декабре 1905 года в Красноярске организуется союз столяров и обойщиков. Союз занимает ярко классовую позицию: «Хозяева и управляющие мастерских членами союза быть не могут»,—говорится в уставе. Союз ставит вопросы—защиты профессиональных, правовых и культурных нужд рабочих. В 1906 году в Омске организуется союз столяров, об'единявший до 100 человек. Этот союз, как и Красноярский, был недолговечен, просуществовал лишь 1½ месяца. В этом же году союз провел неудачную стачку; но мысль о необходимости об'единения сил не покидала передовых стройрабочих Сибири. В 1908 году в Красноярске группа рабочих (Грязнов, Тафинцев, Шихов, Замятин и др.) сделали попытку образования профсоюза строителей и выработали свой устав (скопированный с устава об-ва Приказчиков); благодаря «провалу» одного из инициаторов (т. Грязнова, у которого при обыске нашли подпольную типографию, за что он был сослан на каторгу)—инициативная группа распалась.

В том же 1908 году в Барнауле организуется нелегальная артель на кооперативных началах каменщиков и печников, которая просуществовала только один сезон. В уставе этой артели говорится: «Зарплата делится поровну между всеми участниками, инструмент общий, при артели учреждается касса взаимопомощи из 3% отчислений от заработка рабочих; организуется бесплатная медицинская помощь, обеспечение на случай инвалидности, старости и т. д. Судя по уставу, это была организация, очень близкая по своей сути профсоюзу. В 1910 году организуется новая производственная артель каменщиков, печников и др. профессий под названием «Труд», которая с июля месяца 1911 года существовала по официальному уставу. Артель продержалась 3 года и была ликвидирована в 1914 году, в связи с мобилизацией участников ее на фронт.

В конце 1910 года в Барнауле создается вторая артель позолотчиков, маляров и живописцев под названием «Деятель», прекратившая свое существование по той же причине в 1916 году. В ту мрачную пору артели были единственными организациями, где рабочие могли собираться свободно, без хозяйской указки.

Закабаленные и разрозненные строительные массы, наиболее жестоко эксплоатируемые хозяевами-подрядчиками, несколько позднее других рабочих выступили на арену политической борьбы. Зато, начиная с 1905 года, сибирские строители не знали другого политического руководства, другой партии, кроме партии социал-демократов—большевиков. Во главе первых цеховых союзов строителей в Сибири становятся социал-демократы—большевики (Ефим Зюряев, Вичинский Михаил—Омск, Грязнов Григорий, Замятин Кирилл—Красноярск, Василий Хлебников—Томск и др.).

Стачечной борьбой строительных рабочих в период 1905—16 годов руководят партийные организации эсдеков-большевиков (стачки на Алтайской жел. дор. в 1914 году и иркутских строителей в 1916 году и др.).

В начале 1917 года в Сибири были отдельные союзы кирпичников, цементных рабочих и два самостоятельных союза—служащих и рабочих на Кольчугинской Новостройке. Вместе с тем, союзы брали на себя «артельные функции», т.-е. непосредственно брали подрядную работу.

Строители, сорганизовавшись раньше других (в марте месяце 1917 года организовались: Иркутский, Томский и Н.-Николаевский союзы строительных рабочих; в апреле—Барнаульский, Бийский, Красноярский и др.), взяли на себя инициативу по об'единению остальных рабочих, например, рабочих спичечной фабрики «Заря» в Томске, домашних работниц, деревообделочников и др.). В Томске наш союз под названием «Свободный Труд» об'единил чуть ли не всех рабочих. Это был не союз строителей, а, вернее, межсоюзная организация, которая охватывала почти всех рабочих.

За власть Советов.

Сибирские строители были на передовых позициях в борьбе пролетариата за власть Советов в Сибири.

Во время юнкерского восстания 1 ноября 17 года в Омске рота красной гвардии из строительных рабочих, работавших на постройке здания СибОПС'а, участвовала в блокаде здания кадетского корпуса. Рабочему строителю (тов. Вичинскому Михаилу) удалось перехватить два вагона пулеметов, которые шли в подкрепление юнкерам под маркой «капуста». В подавлении юнкерского восстания в Иркутске 8 декабря 17 года участвовали наши строители. Печник т. Бикш (член тогдашнего Иркутского совдепа), организовал санитарное дело. Один из членов правления Иркутской организации (т. Куликов) с отрядом дружинников-строителей охранял Якутский тракт. В Бийске, Барнауле и Томске ядро красной гвардии составляли строители, несшие гарнизонную службу по охране города и участвовавшие в подавлении многочисленных белогвардейских восстаний. Затем идет героическая борьба с чехо-словацким наступлением на многочисленных фронтах (Клюквенском, Мариинском, Алтайском, на ст. Арлюк и т. д.). Особенно много жертв в борьбе с чехами и белыми бандами атаманов Семенова, Калмыкова и др. понесла Иркутская организация строителей.

Из 180 рабочих строителей, отступивших за Байкал после того, как Иркутск был занят чехословаками, немногие вернулись обратно. Иркутские строители сложили свои головы, защищая подступы к Верхнеудинску, Чите и Хабаровску, сражаясь под начальством Сергея Лазо. В годы колчаковщины союзы строителей в Сибири были разгромлены и загнаны в подполье. Не было почти ни одного союза, который бы на другой день после чешского переворота не подвергался обыскам, арестам руководителей, с применением телесных наказаний (порки, побои, пытки). Расстреляны и замучены в тюрьмах братья Шамшины—в Новониколаевске, Герасименко, Ревняков и Угрюмов Петр—в Томске, Бирюков—Кольчугино, Субботин Сергей—Щегловск и др.

Большую роль сыграли сибирские строители в организации подпольного политического Красного Креста—этого своеобразного МОПР'а того времени. В условиях колчаковского режима полит. Красный Крест принес большую пользу: вербовал партизан, доставлял им оружие, деньги, а, главным образом, оказывал большую помощь политзаключенным. Всю эту многообразную работу политический Красный Крест вел под руководством партии большевиков. Из видных деятелей полит. Красного Креста надо отметить печника тов. Лабаева (Иркутск).

Расцвет союзных организаций строителей Сибири наступил с созданием краевого об'единения союза, начало которому положил 1 Краевой Сибирский с'езд стройрабочих (в октябре 1925 года), завершивший союзное районирование сибирского краевого об'единения строителей.

Заработная плата перешагнула довоенный уровень и по данным на 1 января 28 года выражается в среднем в 3 р. 59 к. в день. Культурный уровень и культурные запросы рабочих значительно повысились. Расширена клубная сеть (всего 14 клубов и 81 красных уголков). Идет большое клубное строительство (вновь построены клубы—в Щегловске, Анжерке, на Тельбесской Новостройке, в Камне и Канске, строятся клубы в Верхнеудинске, на Яшкино). Широко развернуты массовые виды клубной работы

(беседы, читки, вечера, экскурсии). Проводится большая работа по поднятию квалификации рабочих и по подготовке новой квалифицированной рабочей силы.

Во всей культработе основная ставка взята на классовое перевоспитание новых и сезонных рабочих, пришельцев из деревни, и подтягивание их культурного уровня к уровню старых строительных кадров.

Классово перевоспитать, переварить в пролетарском котле многотысячную сырую рабочую массу пришельцев из деревни, дать им классовую закалку, привить им взгляд на социалистическое строительство, как на свое родное и близкое им хозяйство,—дело далеко не из легких, однако, союз постепенно преодолевает эти трудности. Главная же задача союза строителей в нашу эпоху социалистического строительства это улучшение самого производства.

II.

Современное состояние строительства.

Не так давно на строительство существовал взгляд, как на кустарно-подсобный промысел. Значение этого ответственнейшего участка промышленного фронта нами своевременно не было осознано и учтено.

Между тем, даже сибирский строительный бюджет за последнюю пятилетку поражает своим ростом:

В 1924 г.	израсходовано	на	строительство	4	миллиона рублей
» 1925 »	»	»	»	10	» »
» 1926 »	»	»	»	20	» »
» 1927 »	»	»	»	40	» »
» 1928 »	намечено	издержать	»	67	» »

т.-е. издержки на строительство возросли в 16,75 проц. раз.

Основные каналы строительства текущего года:

На жилстроительство	17	миллионов	рублей
» промышленное строительство (союзного значения: Кузбасстрест, Кузбассуголь, Черембасстрест)	10	»	»
» строительство краевой промышл. . . .	3.102.000		рублей
» » окружной »	1.174.000		»
» » акц. о-ва «Союззолото»	7	милл.	рублей
» коммунальное строительство	20	»	»
» строительство на Тельбесе	1	»	»
» начало постройки цинкового завода на ст. Белово Барнаульского округа . .	1	»	»
Сельское строительство на средства самообложения	5.500.000		руб.

В то же время все более и более обращают на себя внимание дороговизна и недоброкачественность нашего строительства. В докладе на XV с'езде партии тов. Рыков говорил:

«Новое строительство в настоящее время является самым дорогим из всего, что есть у нас на территории Союза. Индекс строительства в текущем году равен 265 при общем промышленном индексе 199. Если бы удалось снизить строительный индекс, хотя бы до уровня промышленного индекса, то мы сберегли бы многие сотни миллионов рублей».

Бесплановость, отсутствие технически грамотных и своевременно составленных проектов и смет, общая беспризорность строительства—основные болячки нашего производства.

Обычно у нас довольствуются рабочим эскизом, с которым и приступают к постройке. Нигде так широко не применяется крылатое словцо «ориентировочно», как в строительстве.

Таким образом, «рабочие эскизы» (вместо законченных и утвержденных проектов) плюс «ориентировочные сметы» (вместо твердых и окончательных смет) создают благоприятную почву для «строительной фантазии», когда в процессе работ вырастают никому ненужные балкончики, арки, пристройки, удорожающие и без того далеко не дешевое строительство.

Вот несколько близких нам примеров.

На Дворец Труда в Новосибирске первоначально (в июне 25 года) была составлена смета на 480 тыс. руб.; в процессе работ смета росла, наслаивалась и разбухала, как снежный ком, и в результате стоимость постройки Дворца Труда вчерне обошлась около 1.200.000 рублей.

На переоборудование Хайтинской фарфоро-фаянсовой ф-ки была составлена смета на 600 тыс. руб., а обошлась она свыше 2 милл. рублей.

Перестройка кожзавода в овчинно-шубный в Омске по финплану должна была обойтись в 54 тыс. рублей, а фактически затрачено 92 тыс. рублей.

Причины—несостоятельность планов и ломка их в процессе работ.

Так, в Новосибирске намечена была постройка хлебозавода на 5 печей, а затем во время работы его расширили на 10 печей, кроме того, дополнили план пристройкой к хлебозаводу яичного склада.

Слабое качество проектов подтверждено многими случаями возведения построек по абсолютно безграмотным и детским проектам. Например, 5 школ Барнаульского округа построены по проекту, составленному самими школьниками. Татарская больница, школа в Ачинске, почти все постройки в Рубцовске, Алтайский и Пуштулинский маслозаводы (Бийского округа) отличаются теми же чертами. Особенно возмутительна постройка электростанции и коммунальной бани в Тулуне. Проекты, чертежи, планы и сметы с молниеносной быстротой были состряпаны и с такой же стремительностью одобрены «отцами города». Работа закипела, как вдруг обнаружилась «досадная мелочь», что ни для электростанции, ни для бани нет воды—колодезная не годится, а возить бочками, даже для тулунских головотяпов показалось чересчур накладным. Что долго думать! Известно, что гениальные мысли отличаются удивительной простотой: «Даешь воду из реки Ию через водопроводную трубу!». Взят поспел новый проект, и строительное колесо вновь завертелось с удвоенной быстротой; но тут новое неожиданное препятствие: оказалось, что, вследствие мерзлости и плывучести тулунской почвы, обыкновенные чугунные трубы неприменимы, а стальные трубы для Тулуна не по карману. Пришлось приостановить работы и заняться выяснением возможности замены стальных труб деревянными».

А припомним случаи, когда мы приступаем к постройке предприятий на совершенно непригодных местах! В процессе работ, когда котлованы готовы и фундамент выложен, мы вынуждены переносить постройку на другое место (постройка электростанции на Яшкино); а то еще чище—убиваем сотни тысяч рублей из скудного государственного кармана, возводим предприятие и убеждаемся, что «маленько» ошиблись в расчете—основного продукта добычи, для которого и строилось предприятие, как-раз и не оказалось (постройка шахты № 15-12 в Анжерке).

Бесспорно, большая доля вины здесь падает на командный персонал—высококвалифицированных и квалифицированных инженерно-технических работников.

Мы слишком бедны грамотным и опытным по строительству техперсоналом, который к тому же нерационально использовывается. Достаточно сказать, что в одной из крупных строительных организаций г. Новосибирска из семи ответственных производителей работ—только два могут так именоваться. В Бийском округе на постройке 32 маслозаводов, разбросанных на расстоянии 300 верст, был только один техник. Отсюда ясно, каков технадзор и контроль над этими постройками.

Из-за недосмотра, при большой спешке во время строительной горячки (как следствие запоздалого открытия стройсезона и отсутствие регулирующего начала в строительстве), состряпан «неудачный» Дом Ленина, «скандальный» клуб Совторгслужа-

щих, разваливающееся фабричное здание, проваливающиеся полы (Закаменские бани в г. Новосибирске), падающая с потолка штукатурка (дом Сибкрайсоюза) и т. д.

Как на пример нерационального использования техперсонала во вред самой работе, достаточно указать на модное в текущем сезоне массовое насаждение, так называемых проектировочных бюро при краевых и окружных хозорганах (Совнархозе, Коммунотделе, Исполкоме и др.), приводящее к оголению производства и без того слабого техническими силами, к созданию искусственных и лишних по строительству организаций, ослабляющих ответственность, создающих разрыв между проектом и выполнением его (проектбюро не руководят и не отвечают за возводимые по их расчетам здания).

Качество основных стройматериалов (лес, кирпич, стекло, железо) из рук вон плохо. Из-за недостатка сушил, лес у нас обычно сырой, что делает его подверженным разрушительному действию «белого грибка», раз'едающего вконец дерево; сортировка леса Лесзагом такова, что низшие сорта идут за более высокие; кирпич по качеству сырца, форме и обжигу во многом уступает довоенному; оконное стекло —волнистое и в работе дает много браку (ломи); железо отпускается 12-ти фунтовое, вместо необходимого 8-9-ти фунтового и т. д. и т. п.

Вопросом всех вопросов в строительстве является безоговорочное и полное выполнение директивы правительства об удешевлении стоимости строительства на 15%.

В Сибири, при намеченной программе строительства в текущем сезоне в 67 милл. рублей такое снижение стоимости его дало бы экономию свыше 10,5 милл. руб. Эта сумма с лихвой покрывает строительные нужды угольной промышленности Сибири в текущем году.

Как же подготовились наши стройхозорганы к удешевлению строительства в Сибири?

Заготовительный зимний период был упущен, отпуск кредитов из центра сильно запоздал; стоимость строительных материалов в ряде мест (Новосибирск, Анжерка, Рубцовка) не только не понизилась, но даже повысилась. Проекты все еще составляются по-детски —неумелые, изобилующие целым рядом технических погрешностей. Все это создает серьезную угрозу по удешевлению строительства, которое сейчас мыслимо в процессе самой работы.

Участие союза в упорядочении строительства.

Союзная организация не мыслит нормального развертывания союзной деятельности без здорового развития производства.

Вот почему исходным моментом всей его работы являлось и является упорядочение, удешевление и улучшение качества строительства.

Сибирское об'единение союза, на основании имеющегося длительного опыта в производстве, убеждено, что все болезни строительства являются следствием того, что оно не имеет еще «настоящего хозяина». Поэтому крайотдел союза добивался и добивается организации краевого строительного органа по линии ВСНХ. Этот вопрос союз неоднократно ставил на своих краевых с'ездах, в Крайсовнархозе, и перед президиумом Крайисполкома, и в периодической печати.

Созданию такой организации мешает ряд причин—неудачный опыт в этом отношении прошлого (Сибстройпай, Сибгосстрой), отсутствие необходимых для этого средств и проч.

Всякие суррогатные организации, наподобие проектбюро, являются лишь «штабом без армии». лишенным возможности непосредственно влиять на строительство.

Союз при поддержке Крайисполкома добился усиления роли и значения окринженеров и Крайинж'а путем непосредственного подчинения их президиумам исполкомов, а не отделам их (Коммунотделу и др.).

Союзная организация активно участвует в планирующих и регулирующих строительство органах при рассмотрении промфинпланов, смет, проектов; периодически за-

слушивает доклады хозорганов о ходе строительства, перспективах его, указывает пути и возможности изжития промахов и ошибок в строительстве, а самое главное—союз вовлекает рабочую массу в управление производством, создает и мобилизует общественное мнение вокруг вопросов строительства, создает тысячеглазый рабочий контроль в самом производстве через институты производственных совещаний и широких рабочих производственных конференций. По этому руслу, главным образом, шло участие союза в оздоровлении строительства. Так, на кирпичных заводах Томского округа, благодаря проведению в жизнь предложений производственных совещаний, получилось удешевление себестоимости продукции за счет экономии топлива и целого ряда технических усовершенствований: на заводе № 1 (Томск) после переделки топки парового котла и установки подогревателя, расход топлива значительно понизился, что дало экономии около 900 рублей в год; на заводе № 2 (Томск) устроена вентиляция, построены шпиляры, тепляки, благодаря чему, в зимнее время выход сухого сырца дал увеличение против прошлого года на 1500 шт. в сутки.

На кирпзаводе Омской дороги проведение в жизнь ряда практических предложений ПС дало снижение стоимости кирпича до 25 р. за тысячу, вместо 27 руб. в 1926 г. Рабочие устроили водопровод из старых дымогарных труб, вместо ранее бывших деревянных желобов, покрыли сарай железом, что спасло тысячи штук кирпича от ливней, исправлены и сокращены пути для вагонеток и т. д.

Удешевление стоимости кирпича достигнуто на заводах в Бийске и в Новосибирске (вместо 28 р. 50 к.—25 руб. тысяча).

На Яшкинском цементном заводе, в результате серьезной работы ПС, экономия в производстве достигла двух десятков тысяч рублей. Эта экономия достигнута путем переоборудования топок и использования на топливо древесных отпилок бондарки, заменой быстро изнашивающихся чугунных шаров для размола цемента—стальными, концентрацией паро-силового хозяйства в одно помещение, сокращением обслуживающего аппарата и т. д.

Одновременно пытливая мысль рабочего-строителя упорно занята изысканием мер по удешевлению себестоимости и качественному улучшению строительства.

На Томском кирпзаводе № 1, по предложению машиниста Ветошкина, были переделаны топки парового котла, установлен подогреватель; в результате расход топлива значительно понизился (экономия на 71 тонну угля в год—900 руб.). В Анжерке рабочий-печник изобрел тип печи-голландки, дающей экономию топлива и жилой полезной площади; там же рабочий-плотник изобрел переносные леса, которые избавляют от необходимости устраивать отдельные леса при каждой новой постройке и их хватает на 2-3 сезона. В Анжерке же рабочий-строитель изобрел механический под'емник земли на верхние этажи, облегчающий труд рабочего и ускоряющий процесс передачи. В Новосибирске рабочий т. Басманов изобрел бетономешалку, получившую недавно одобрение со стороны бюро изобретений ВСНХ. Ряд изобретений сделан строителями водонасосной станции в Новосибирске (механический ковш по выемке грунта р. Оби, круглая пила в раме для подпилки свай в воде и др.). В настоящее время тов. Басманов работает над машиной для штукатурки стен.

На широких рабочих производственных конференциях, аккуратно созывающихся в начале и по окончании стройсезона, обсуждаются результаты и перспективы строительства. Рабочая критика здесь развертывается «во-всю» и правдиво вскрывает больные стороны строительства. Активность строителей на этих конференциях значительна: 25-27 проц. участников выступают в прениях. Производственные конференции являются лучшей школой для производственных комиссий и совещаний и лучшим видом наглядной практической производственной пропаганды.

«Белый грибок».

Отмечая эти успехи, мы должны признать, что поставленные союзом строителей задачи еще далеки от осуществления. Мы должны признать, что лишь в последнее время союз строителей вплотную подходит к делу рационализации строительства, что является основной задачей союза в условиях социалистического строительства и диктатуры пролетариата.

И мы должны еще и еще усилить наше внимание на этом важном участке классовой борьбы, бросать сюда лучшие пролетарские силы, мобилизовать поголовно строительный пролетариат, добиваясь, чтобы он действительно почувствовал себя хозяином своего дела и тысячеглазым рабочим контролем проник в свое строительство. Трудности, стоящие перед нами на этом пути, велики, и мы должны не складывать оружия, а, напротив, требовать помощи, требовать всеобщего пролетарского внимания и жесточайшей критики недостатков, максимальной активности всех руководителей строительства и гораздо более быстрого темпа в проведении каждого улучшения в деле строительства.

Всем известна распространенная и разрушительная болезнь в нашем строительстве, известная под названием белого строительного грибка. Дерево становится трухлявым, и здание, зараженное грибком, требует немедленной перестройки почти заново. Этот «белый грибок» мы не так давно прозевали «у себя под носом», в Новосибирске, при постройке дома управления Кузбасса (ныне физио-терапевтическая лечебница). Белый строительный грибок, как синоним болезней нашего красного строительства, многолик и разнообразен.

Тов. Ленин писал когда-то о Сибирской железнодорожной магистрали: «Великая Сибирская дорога,—велика не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями (предпринимателями) казенных денег, по безмерной эксплоатации строящих ее рабочих» («Развитие капитализма в России», т. IV, стр. 47). В первые дни НЭП'а подрядничество, пользуясь временной дезорганизацией на стройрынке, пыталось захватить командные высоты. Характерно, что в роли первых подрядчиков оказались некоторые инженерно-технические работники, служившие в разных учреждениях и одновременно бравшие подряды. Подрядчики расхищали строительные ресурсы нашей республики, давая низкопробное строительство. Союз строителей об'явил войну подрядничеству не на жизнь, а на смерть. Союз повел агитационно-раз'яснительную работу среди обманутых и успевших уже разочароваться в лживых обещаниях рабочих, понудил подрядчиков заключить коллоговор и установил контроль за полным их выполнением. В случае несвоевременной выдачи заработной платы, невнесения страховых взносов, невыплаты рабочим разного рода компенсаций, дело немедленно передавалось в суд, и в результате имущество подрядчика продавалось с молотка (назначались публичные торги), а вырученные деньги шли на покрытие задолженности рабочим, союзу, страхкассе; но подрядничество живуче, умеет менять свой цвет и приспосабливаться. Сейчас подрядничество скрывается под видом промысловой строительной кооперации, промысловых строительных артелей. Это своего рода сети, которые расставляются старыми искусными дельцами-подрядчиками. Рабочие принимаются на работу только при условии вхождения в члены такой артели или т-ва. Таким образом, рабочий юридически становится соучастником прибыли, т.-е. лишается защиты союза, на деле оказываясь лучшим об'ектом для эксплоатации, ловко забронированной от советского законодательства о труде.

Борьба с лже-артелями, лже-стройкоопториществами сложна и требует со стороны союза большой сноровки и выдержки. Зараже подвержены многие квалифицированные рабочие. Такие «старшие артелей» ничего, подчас, не делают, а получают с заработка рабочих определенные проценты. Эти кулачки стараются нажиться на обмеривании, недоплате заработка и разного рода вычетах с рабочих.

Едва ли не лучшим удобрением для роста «белого строительного грибка» является общая **беспризорность строительства.** К стыду нашему, до сих пор строительство не имеет единого об'единяющего центра. Строительство распылено по многим ведомствам и организациям (промышленное, кооперативное, жилищное и т. д.). Отсюда «все качества»—бесплановость строительства, его дороговизна и т. д.

Союз настаивает на необходимости сосредоточения строительства в единых мощных государственных руках. Этот вопрос до сих пор не разрешен. Пока союзу удалось лишь поднять значение контролирующего и регулирующего строительство органа, в лице управления «Краевого Инженера» и «Окружных Инженеров» на местах.

Естественно, что болезни «белого грибка» в строительстве усугубляют определенный разлад во взаимоотношениях между рабочими и инженерно-техническими работниками-строителями. Интеллигентные работники строительства, конечно, хорошо знают, почему рабочие затаили глухую вражду ко всякой форменной фуражке с бархатным околышем и золотым значком. Эта вражда—наследие прошлого. Надо уничтожить это наследие. Надо первым искренно протянуть руку рабочему, чтобы он позабыл ненавистное барство и видел в инженере лишь старшего собрата по производству, вооруженного техническими познаниями. Надо, чтобы рабочие массы увидели беспощадную борьбу с «белым грибком» и со стороны руководящих кадров. В ряде мест, на ряде построек, этот общий язык между рабочим и инженером-строителем найден; там производственные комиссии, производ. совещания и рабочее изобретательство дают положительный эффект. Надо помнить, что культурная отсталость рабочего-строителя, наличие значительных кадров среди них новых и сезонных рабочих, пришельцев из деревни увеличивают трудности борьбы за это единство. Некоторая часть рабочих все еще смотрит на строительство, как на чужое, «казенное», как на способ зашибить копейку во время строительного сезона, урвать, поправить свое крестьянское хозяйство, «а там хоть трава не расти». Это также—злое наследие прошлого.

Отсюда возмутительные факты недобросовестного отношения к работе, доходящие до открытых злоупотреблений (среди ряда фактов особенным цинизмом блещет случай на постройке коммунальных домов в Новосибирске, где производилась кладка каменной стены «в сухую»), варварское обращение с стройматериалом (изрезывание целых первосортных бревен на мелкие илахи, вместо того, чтобы пользоваться обрезками и проч.), неэкономное расходование его, низкая производительность, беспричинные прогулы («понедельничание», после получки—пьянки), низкое качество работы, лишь бы с рук сбыть.

Союз не замазывает этих недостатков, не занимается поддакиванием, а смело бичует их, разоблачая на общих собраниях, производственных совещаниях и конференциях. Союз устраивает общественные суды над такими разложившимися рабочими и, через общие собрания, изгоняет их из рабочей семьи (исключает из союза).

На борьбу с «белым строительным грибком» союз сейчас мобилизовал всю рабочую общественность. Методы лечения этой строительной язвы найдены, это—производственные совещания и производственные конференции, которые калеными железом вытравят «белый грибок» из строительства.

Мы уверены в победе; но надо добиваться, чтобы победа была достигнута возможно скорее, чтобы в ближайший новый строительный сезон мы смогли бы опубликовать бесстрастные и вместе с тем красноречивые цифры, показывающие наступление нормальных условий в строительстве и ведущие к общему ускорению темпа развития Союза Советских Социалистических Республик.

Н. ТРУНЕВ

Революция и язык

I.

В жизнь идет поколение, которое вовсе не помнит «доброго старого времени», не только довоенного, но и дореволюционного. Великий исторический переворот перестает ощущаться непосредственно, как явление, в корне изменившее *личную* жизнь его участников и современников. Довоенное, дореволюционное прошлое начинает переходить в тот разряд, где числятся крепостное право, открытие Америки, восстание декабристов (ведь хронология теперь не в почете, и египетские фараоны без особого затруднения школьниками признаются иногда за современников Ивана Грозного и Пугачова). Молодежи кажется, что всегда были ВУЗ'ы и «факи», всегда были школы «второй ступени»; что всегда по праздникам ходили на демонстрации с флагами и лозунгами. И даже пожилые люди привыкли говорить о «завах» и «замах», ходить в «церабкоопы» и «акорты», заседать в «месткомах» и «эркака», как-будто всегда было так. Уже никому не странно, что «увязать» можно и без веревок, что «сократить» вовсе не значит сократить.

Попробуйте представить человека, переброшенного из 14 года в 28. Ведь это всего четырнадцать лет. Вот он идет по улице, читает вывески, слушает обрывки разговоров. «Церабкоop», «Акорт», «Медторг», «Акорт», вероятно, имеет какое-то отношение к музыке (аккорд; правда, написано не совсем так, но когда же вывески писались грамотно?[1]). «Медторг», конечно, торговля медом. Но что такое «Гум», «Бум», «Церабкоop»? Если это какие-нибудь иностранные фирмы или предприятия, то вернее всего, восточные, так как на европейских языках похожих слов как-будто нет. Вот разговор двух мужчин:—«Наконец-то нашего буха сократили».—Какое странное прозвище: бух! А ведь довольно метко. Сплетник, должно быть, или дерзкий человек,—бухает некстати. Таких и надо осаживать. Гляди, еще и со службы вылетит.—«Нельзя же, голубчик, так нагружаться! Нужно и здоровье пожалеть!»—Пьяница, видимо. А по наружности непохоже.—«Он не хотел со мной зарегистрироваться, ну, и пусть алименты платит!».—Что-то совсем непонятное.

Это неплохая тема для фельетона. Любители посмеяться могут придумать много забавных положений в этом роде. В самом деле, если крестьяне недовольны «глотом», то сразу ли поймет слушатель, кто этот глот: какой-

[1]) В стихах одного начинающего поэта: «Акорты весенние птичек».

нибудь кулак[2]) или губернский лесной отдел? До недавнего времени с толстовкой можно было спорить, можно было на ней жениться, а теперь в ней ходят на службу. А что значит для человека 14 года «озет», «кзот», «жакт», «сельбуд», «шкраб», «гарантийный пакт»?

Как видно, русская речь за какие-нибудь десять лет изменилась сильно, очень сильно. Здесь тоже произошла революция.

Итоги великого исторического переворота полностью еще не сказались. Подводить их можно не для всех областей жизни. Рано говорить о них и в области языка. Но подготовляться к этому, производить предварительные подсчеты можно и следует, и это уже делается. Одно за другим появляются исследования, посвященные различным явлениям в жизни языка революционной эпохи[3]).

Цель этой работы—кратко указать и по возможности осмыслить изменения, внесенные революцией в нашу речь. Обширной и сложной области поэтической речи статья не касается.

II.

«Все течет, все изменяется». Этому всеобщему закону подчиняется и язык. Мы говорим и пишем не так, как говорили и писали сто-двести лет назад; следовательно, и не совсем так, как назад тому лет десять-пятнадцать. Вот, например, любовное письмо героини одной повести начала XVIII века: «Любезнейши александръ, лютейши огнъ сердце мое паляще, не даетъ мне скрыть і принудилъ, аки малейшими строками вамъ сердечную любовь мою объявить, которая меня с единого взору на красоту вашу въ постелю положила»[4]). Это—беллетристика, а вот кусочек подлинной записи того же времени: «Въ ту свою бытность былъ инаморатъ в славную хорошествомъ одною читадинку»[5]). Так изменился за двести с небольшим лет язык любви, именно *язык*, так как по содержанию обе эти записи, кажется, и теперь не очень устарели. Подобные же изменения произошли и во всех областях речи, даже в большей степени: любовь, ведь, довольно консервативная вещь.

Эти изменения показывают изменение языка во времени. Но, изменяясь во времени, язык и пространственно неоднороден, в особенности язык такой большой страны, как наша. В разных местностях говорят неодинаково, и эти местные особенности подчас очень заметны. В одной повести Амфитеатрова, рисующей жизнь северной русской деревни, встречаются такие разговоры: «ох, ты моя липонька! Желта коса, дивья краса! Ты, Динушка, не скорби, не тосни, нас не ужахайся. Мы с хозяином люди талые. Спосы-

---

[2]) Глот, глотила—обидчик, озорник или притеснитель. Даль—словарь живого великорусского языка, т. 1, стр. 878 (издание 1912 г.).

[3]) Вот названия некоторых, более распространенных:

1. Винокур Г.—«Культура языка» М. 1925 г.
2. Гус, Загорянский, Каганович,—«Язык газеты». М. 1926 г.
3. Селищев, А.—«Язык революционной эпохи». М. 1928 г.
4. Рыбникова, М.—«Книга о языке» (частично). М. 1925 г.
5. Шпильрейн, Рейтынбарг, Нецкий.—«Язык красноармейца». М/с/г. 1928 г. Кроме того, вопросы о языке революционной эпохи нередко обсуждаются в журналах «Журналист» и «Родной язык в Школе». Поучительны в этом отношении также последние страницы «Крокодила».

[4]) Русские повести XVII-XVIII веков. Под редакц. и с предисловием В. Сиповского СПБ. 19 5 г. «История о Александре, российском дворянине» Стр. 137.

[5]) Из дневника князя Куракина 1708 г. Там же, введение, стр. «Инаморат»—влюблен; «Читадинка»—горозианка (итальянск.—innamo rato, cittadina.—Хорошество. понятно,—красота.

каться да ячмениться не горазды... авось приобычимся. Уж ты мне поверуй: что ни лучший участочек, твой буде»[6]).

Речь разных социальных групп тоже неодинакова, а многое из того, что в их речи есть общего, они по-разному произносят и понимают. «Контакт» в устах общественного работника значит не то, что в устах химика или электротехника. Трудно представить, чтобы профессор похвалил что-нибудь словом «грубо». Большинство рабочих употребляют выражение «с гвоздя», но едва ли оно пошло, напр., с конфектной фабрики. Иными словами, разница встречается даже в пределах одной социальной группы.

Эта неоднородность несколько умеряется существованием так называемого литературного языка; языка книги, газеты, деловой бумаги. Он об'единяет все грамотное (точнее—читающее) население страны; в силу этого он более однороден, чем разговорная речь. От последней он отличается довольно ощутительно. Это видно хотя бы из того, что писать, как говорят, очень трудно, выражаться же в разговоре «по-книжному»—значит надоесть своим *собеседникам в полчаса*. Есть даже формы, постоянно встречающиеся в литературной речи, и очень редко—в разговорной, напр., причастия (встречающийся, едящий). Но, будучи более однородной, литературная речь изменчивей во времени, чем разговорная. Это зависит отчасти и от того, что она выросла на основе церковно-славянского языка и до сих пор хранит многие его особенности (при русском «город» мы имеем Ленин*град;* при «здоровье»—*да здравствует).*

Впрочем, полной однородности нет и здесь. Язык научной статьи, ораторской речи, канцелярской бумаги не одинаков[7]).

Язык, таким образом, очень сложное явление. В каждый данный момент он неоднороден по своему составу и в каждый последующий—не совсем тот, что в предыдущий. Пространственная неоднородность и временная изменчивость, переплетаясь и влияя взаимно, дают пестрый и переливчатый узор. Мы, конечно, понимаем друг друга достаточно удовлетворительно (хотя и не вполне точно, может быть), но указанные выше явления легко заметит каждый, если попробует приглядеться к ним.

Это—процесс вековечный. Так было всегда. Но обычно этот процесс совершается медленно, и на него обращают внимание немногие. В наши революционные дни он необычайно ускорился и бросается в глаза даже тем, кто никогда раньше об этом не задумывался.

Изменения, происходящие в языке, разнообразны. Исчерпать это разнообразие в пределах нашей работы невозможно. Сведем эти изменения в возможно простую, пусть и не очень точную схему.

1. Полное исчезновение слов и выражений. Бывает это в тех случаях, когда из жизни исчезает тот или иной предмет, понятие, верование. Мы как-раз присутствуем при таком массовом умирании слов. В разговорной речи уже не употребляются такие слова, как «консистория», «околодочный надзиратель», «полуимпериал» (монета), «империал» (монета и также открытый верх с местами на крыше вагона конки), «говеть», «августейший» и т. д. Они не нужны больше. Их употребляют, когда пишут или говорят о «старине»; некоторые из них (напр., «говеть») доживают свой век в уголках, отведенных этой старине. Молодое поколение понимает их смутно, а что такое империал, вероятно, забыли и пожилые люди. Они уже пе-

---

[6]) «Дрогнувшая ночь». Соч. т. XXVI. Пример взят из беллетр., чтобы не затруднять транскрипцией. См. «Русскую диалектологию», сост. Ереминым и Фалевым, под редакц. акад. Е. Ф. Карского. Госиздат. М/Лг. 1928 г.

[7]) Из одного протокола: «Заслушание зачитки протокола». Вряд ли так решится написать литератор.

решили в разряд таких древностей, как «приказный», «кивер», «однодворец», «мисюрка», «протозан», т.-е. требующий пояснений[8]).

2. Появление новых слов и оборотов. Происходит оно в двух случаях: или новым словом заменяется почему-либо исчезающее старое, или им обозначается новое жизненное явление. Так, вместо «аэроплан», все чаще начинают говорить и писать «самолет», а «летчик» довольно давно вытеснил «авиатора». В начале империалистической войны вошло в обиход слово «беженец», после революции—«красноармеец»; сравнительно недавно—«беспризорник», «алимент». Последним обозначено действительно новое бытовое явление.

3. Большей частью мы наблюдаем не столько образование действительно новых слов, сколько приспособление для новых нужд старых. Слова изменяют свое значение, точнее, начинают употребляться в метафорическом (переносном) смысле. «Сократить» недавно значило именно сократить, сделать короче; теперь оно в этом смысле сохранилось, кажется, только в «профессиональных» кругах (сократить дробь, сократить статью). «Ячейки» на нашей еще памяти существовали только в ульях и сетях.

III.

Язык—явление социальное. Он одновременно: и результат, и условие общественной жизни. Изменения в языке обусловливаются изменениями в жизни общества, он отражает «изменения в экономике и социальной структуре того коллектива, который является его носителем»[9]). Если мы хотим учесть и осмыслить изменения в области языка, мы должны исходить из того, что происходит в общественной жизни в широком значении этого слова. Очевидно, говоря о языке революционной эпохи, нужно исходить из тех сдвигов, которые произвела революция в жизни общества.

Нам нет нужды начинать с Адама, принимать во внимание всякого рода предпосылки. Мы можем брать эти сдвиги в готовом виде, не исследуя, откуда они взялись.

Внутриобщественные процессы, вскрывшиеся так резко во время революции, начались, конечно, давно, но все же общественная жизнь находилась в некотором равновесии. Существовало дворянство, правда, отживавшее свой век, но экономически еще довольно сильное и обладавшее сравнительно высокой преемственной культурой, выдвигавшее нередко писателей, ораторов и др. деятелей в области языка. Росла и ширилась буржуазия, протягивавшая уже руку к власти. Мирно паслось на подножном корму многочисленное духовенство, говорившее своеобразным и не лишенным выразительности языком. Множилась и работала разночинная интеллигенция—главный творец и проводник литературного языка в лице ученых, работников периодической печати, беллетристов, учителей, поэтов, адвокатов, врачей, чиновников. Боролся и создавал прибавочную стоимость пролетарий. По-своему жило и работало многомиллионное крестьянство; обывательствовали мелко-буржуаз-

---

[8]) Исчезают, впрочем, и такие слова, которые, казалось бы, имели основание существовать. Было когда-то, в параллель к слову «синь», выразительное словечко «аль» (ср. «алый»). И, однако, когда оно возродилось в стихах поэта Вадима Баяна («Лирический поток». «Лирионетты и баркароллы» 1914 г.):

Ты виденьем промелькнула
В эту веерную аль,
Грациозно распахнула
Темносинюю вуаль—

оно показалось дерзским неологизмом.

[9]) Шор Р.—«Язык и общество» Гл. XIV, стр. 146.

ные городские прослойки. Все эти группировки были легко заметны на взгляд и жили довольно обособленно. Несомненно, существовало просачивание одного слоя в другой, а, стало быть, и обмен языковыми особенностями, но диффузия эта была очень медленной, и не видно было, что она когда-нибудь станет полной. Более заметен этот обмен был в той области, где человека выдвигала не выучка, требовавшая многих лет и немалых средств и к тому же нивеллировавшая речь, а личное дарование: в области словесного искусства—беллетристики и поэзии. Решетников, Никитин, М. Горький и др., конечно, выносили из своей среды и вводили в оборот новые слова и выражения. Но все же процесс протекал медленно, почти незаметно, как незаметен для глаза рост травы.

Революция смешала все карты. Дворянство и «высокая» буржуазия исчезли из жизни. Духовенство утратило всякое значение, и культурное влияние его равно нулю. А главное—коренным образом изменились состав и способы работы интеллигенции. Вот эта-то группа и претерпела наиболее заметные изменения. Раньше она сплошь (или почти) состояла из специалистов, людей определенной выучки и профессии. Она, эта интеллигенция, сохранилась, конечно, но главную, руководящую роль играет новая: бывшие подпольщики, партийцы из рабочих и крестьян, из «полуинтеллигентных» служащих. Во главе правительства и его органов—новые люди; в публицистике и газете—новые имена; во главе учреждений и многих учебных заведений—эта новая интеллигенция. Журнал пока еще находится в руках спецов этого дела (хотя и они в большинстве—новые люди), но газетой уже завладевает рабселькория. Мы слушаем множество докладов по самым разнообразным, в том числе и научным вопросам, и большинство докладчиков вовсе не принадлежит к старой квалифицированной интеллигенции. Возродилось после долгого забвения могучее средство словесного воздействия — ораторская речь. Ораторов теперь много, очень много; можно прямо сказать, что «выступать» должен всякий. Эта новая интеллигенция по большей части не имеет систематической выучки, многое взяла из книг самостоятельно, многое узнала из докладов, кой до чего дошла своим умом. Но ей приходится руководить, подчас руководить прежними специалистами, высказываться устно и в печати по самым разнообразным и «хитрым» вопросам. Понятно, что ей необходимо овладеть самым нужным для этого орудием—литературной речью. Этого мало. Нужно не только овладеть литературным языком, но и приспособить его для передачи массы новых понятий, широким потоком вливающихся в нашу жизнь. Создались и создаются новые нормы общественных и частных отношений; строится новый быт; выдвинулись на первый план такие стороны жизни, которые прежде были в тени (жизнь завода, вопросы деревенской общественности). Политика стала поистине вездесущей. Этого не было раньше; всевозможные Гладстоны Пашичи казались далекими от повседневной жизни; даже государственной думой интересовались не все. Теперь внутренняя и международная политика вплотную подошла к жизни и каждого задевает за живое. До революции не было сколько-нибудь общепринятого научного или философского мировоззрения, а те, какие были, культивировались в кабинетах. Теперь такое мировоззрение есть, и не кабинетное, отвлеченное: оно связано с каждым моментом общественной, политической, хозяйственной жизни. Благодаря ему, целая куча политико-экономических, исторических, философских и проч. понятий и терминов—через посредство новой интеллигенции—вводится в жизнь.

И «широкие массы», выражаясь по-нынешнему, за это время сильно изменились. Почти все взрослое мужское население прошло через войну и фронт. Множество мужчин и женщин отбывали в свое время трудовую повинность, или, что для городского населения почти одно и то же, прошло через канцелярскую службу. Все испытали на себе выгоды или невыгоды военного коммунизма, пережили различные этапы нэпа. Широкие массы участвуют в политической и научной жизни страны, ходят на собрания, голосуют, «выступают», а иногда и пишут. Часть их считает себя в числе строителей новой жизни, часть сознает себя угнетенной, и все, стало быть, интересуются политикой, читают или слушают газеты, спорят и бранятся уже не только из-за обывательских дел, а, так сказать, по «высоким материям». Если бы кто и хотел зажать уши и зажмурить глаза, не видеть и не слышать новой жизни, ему не удалось бы этого, так как в наши дни без понятия о политике и картошки не купишь.

Не малую роль сыграло и «великое переселение народов», начавшееся еще во время империалистической войны и достигшее высшего напряжения во время войны гражданской. Местные особенности речи, благодаря этому передвижению, переставали быть чисто местными, переносились в другие места и прививались там.

Итак: новая строящаяся жизнь, ломающая и замещающая старую, целый поток новых понятий. Отсюда—массовое рождение слов. Перетасовка общественных групп: смешение говоров, стремление новоприбывших овладеть литературной речью, орудием культуры и пропаганды.

IV.

Жизнь внесла в нашу речь много новых слов, понадобившихся для обозначения новых понятий. «Новыми» словами, конечно, нужно считать не только такие, которые до этого совершенно не употреблялись. Сюда надо относить и слова с изменившимся значением, а также перешедшие из узкоспециальных кругов в широкое употребление. Перечислить все словоновшества полностью, разумеется, невозможно. Быстрый темп нашей жизни сказывается и здесь. Слово, вчера бывшее живым и общепринятым, сегодня уже мертво: ко всякому списку новых слов, как бы он ни был длинен, можно что-нибудь прибавить. Давно ли слово «совдеп» было в ходу и в частных разговорах, и в печати, и в официальной переписке? А теперь его совсем не употребляют. То же случилось и с знаменитым когда-то «лимоном».

Все же, всем известно, что в нашу речь вошло не мало совершенно новых слов (частник, октябрины) как русских, так и чужеязычных, больше последних. Еще большее число старых слов приспособлено к новым нуждам, изменило свое значение. Это изменение значения заключается, в большинстве случаев, в метафоризации: вместо буквального значения слову придается переносное, основанное на каком-либо сходстве нового предмета или понятия со старым (увязка, смычка, стык, фронт).

Затем бросается в глаза (и это особенно типично для нашего времени), что новые слова получаются легко и быстро. Стоит появиться в речи какому-нибудь, положим, существительному, как от него сейчас же производится прилагательное, глагол, иногда наречие, а подчас и еще существительное через посредство прилагательного и глагола (совет, советский, советизировать, советизированный, советизация, антисоветский, по-советски). То же

самое происходит и со старыми словами: мирно жившее в одиночестве слово быстро обрастает целой кучей родственников (режим—режимный, режимить, нарежимить; агитировать—агитка, агитнуть). Это достигается свободным применением ряда приставок и суффиксов, частью русских, а больше иностранных, и таким же свободным соединением корней.

От хвоста моментально получается «хвостизм», «хвостист», от трактора—«тракторизация», «тракторизировать», «тракторист», «трактористский», «тракторный». В связи с оппозицией появилось словечко «троцкизм» и, конечно, «троцкист», и никого не удивит, если кто-либо на собрании скажет «антитроцкизм», «архитроцкистский», «троцкиада». Ведь есть же слово «растратиада», «спартакиада». Иностранные окончания без колебаний приделываются к русским словам и наоборот (наплевизм, читабельный, массовик); то же происходит и с приставками (архиглупый, срационализировать). Сложные слова легко составляются из разноязычных корней: наряду с «электрификацией» возникает «теплофикация».

Все это было и раньше, до войны и революции, в гораздо меньших, конечно, размерах. Делалось это далеко не всеми, а своего рода «спецами» Новообразования бросались в глаза, их создатель гордился ими. Бальмонт как-то отмечал, что он ввел в свою речь около 300 новых слов; большею частью это были существительные, образованные от прилагательных (мятежный—мятежность, безбрежный –безбрежность). Теперь это делает и считает себя в праве делать каждый На собрании месткома оратор укоряет комитет что он «прошляпил»[11]) дело, и собрание принимает это слово, как вполне знакомое, хоть его до сих пор никто не слыхал, в том числе и оратор, вероятно. Рабфаковец, не знающий иностранных языков, сознательно образует слово «конституированный»; слово это нисколько не хуже других иностранных слов. Последний пример любопытен еще и в том отношении, что здесь иностранное слово создается и вводится в оборот без каких-либо иностранных влияний. А сколько их создано и пущено в оборот таким способом? Этого, понятно, учесть нельзя.

В 1912 году футуристы заявили: «Мы приказываем чтить права поэтов: 1) На увеличение словаря *в его об'еме* произвольными и производными словами»[12]). В. Хлебников дал тогда же иллюстрацию к этому требованию, произведя от корня «лет» несколько десятков слов; между прочим, принятое теперь (хоть и редко попадающееся) слово «летный» ему в голову не пришло. В отношении словопроизводства теперь все мы ушли далеко вперед высказанного 16 лет назад требования; прав на словоновшества никто не требует, потому, что они молчаливо признаются за каждым.

Большое место в нашем новом словаре занимают слова сокращения. Их так много, и встречаются они так часто, что перечислить их невозможно, да и нужды в этом нет. Сокращения можно разделить на три типа.

1. Названия (большею частью учреждений) по одним начальным буквам, при чем буквы эти именуются и на русский, и на латинский манер, а иногда, если среди них есть гласные, просто сливаются в короткое слово: ВЦИК, НОТ (так и произносятся); РКК (эркака).

2. Составляется название из первых слогов входящих в него слов; иногда берутся кусочки от всех этих слов, иногда только от более важных Таких сокращений очень много: Совнарком, Церабкоон, Москвошвей, Комсомол.

---

[11]) «Окалошить» ноги («Игорь Северянин»).

[12]) «Пощечина общественному вкусу». 1912 г.

3. Образование из двух слов одного, при чем сокращается первое (обычно определяющее прилагательное), а второе остается полным (обычно-существительное); Сибкрайстенгазеты, физкультура[13]).

Для первых двух типов характерные два признака, как-будто противоречивых, но отлично уживающихся вместе: их крайняя невразумительность и вместе с тем способность превращаться в самостоятельные слова, не вызывающие мысли о том, что здесь что-то сокращено. Это легко проверить. В самом деле, многие ли могут расшифровать такие слова, как «Акорт», «Тэже»?[14]). И многие ли испытывают потребность в такой расшифровке?

Просто удобнее сказать ВЦИК, чем Всероссийский центральный исполнительный комитет, Акорт—вместо акционерное общество розничной торговли. Выгода во времени для говорящего и пишущего очевидна. Не столь очевидна она (даже сомнительна) для читающего или слушающего. Чтобы понять сокращения первого типа, нужно предварительно знать полное название, а их так много! Легко запомнить (потому что важно и нужно) такие словечки, как «ВЦИК» или «СТО», но такие, как «ЧиП» (Читатель и Писатель»—газета) уже вызывают затруднения.

Сокращения второго типа в большинстве гораздо понятнее, так как составляются чаще всего из коренных частей слов: совхоз, облгосрыбпром и пр. Затруднения, конечно, возможны и здесь. В одной из «викторин» «Вокруг Света», прилож. к «Следопыту» № 4 за 1928 г.) задавался вопрос: «Что такое юннаты и где они находятся?». Очевидно, считается не таким уж простым делом отгадать (или упомнить), что это—юные натуралисты.

Многие из этих сокращений нужно рассматривать, как самые настоящие слова[15]). Если некоторые из них еще кажутся неподвижными, бесформенными (напр., нельзя просклонять «СТО), то другие приобрели все, что нужно для заправского слова: род, который часто даже не совпадает с родом того слова, над которым произведена операция сокращения (госиздат, напр., мужск. рода, тогда как издательство—среднего); падежные окончания (за комсомолом, в РИК'е); даже способность превращаться в другие части речи (военком—военкомат, колхозный).

Сокращения третьего типа тоже очень распространены, и к ним, по-видимому, создалась прочная привычка. Если два первых типа —привилегия учреждений и фирм, то такие слова, как «физкультура», «повторкурсы», создаются, что называется, походя, каждым, и новые образования никого не удивляют, лишь бы получалось понятно и удобопроизносимо. Самый тип сокращения далеко не нов: в нашем языке есть такие старые слова, как «Славгород», «Новгород». Эти новообразования легко понимаются (разве уж очень неуклюже сложены), легко создаются каждым желающим[16]) и никого не удивляют; кроме того, они почти всегда совпадают с привычным способом сокращения слов в письме: хозрасчет, Сибогни, мединститут и т. д.

По обилию нового словесного материала и, главное, по количеству и разнообразию участвующих в его создании и употреблении людей наше время можно, пожалуй, назвать исключительным. Здесь более, чем во мно-

---

[13]) Иногда в такое сокращение входят и 3 слова: худпромтехникум.

[14]) Интересны замечания об этом слове в статье Тренина («Новый Леф» № 2, 1928 г.).

[15]) Лебедев-Полянский в одном из своих докладов рассказывал такой случай. Провинциал нанимал извозчика до **Высших художественно-технических мастерских**. Никто не взялся везти его, т. к. ни один извозчик не знал, где искать их. Когда же он назвал **«Вхутемас»**, ему с негодованием заметили: «Так, что же ты голову морочишь? Говорил бы прямо по-русски—«Вхутемас» все мы знаем».

[16]) В книге С. Третьякова «Чжунго» есть даже «китсцена» (китайская сцена).

тих других случаях, заметно, как количественное нарастание приводит к качественным изменениям.

Словом, мы присутствуем при поспешном и массовом создании какого-то нового языка.

V.

«Существует двоякий способ выражения мыслей: мы определяем понятие или облекаем мысль словами в прямом их смысле или же иносказательно, обиняками, намеками, сравнениями и подходящими по смыслу образными словами или даже целыми изречениями, в виде отдельных фраз, пословичных выражений, поговорок, пословиц и общеизвестных цитат»[19]).

В нашей речи всегда много образных, иносказательных выражений. Можно даже сказать, что она сплошь образна, только мы не замечаем этого: привыкли. «Солнце село», «дождь идет», «самовар кипит»—все это, ведь, буквально понимать нельзя, но образность здесь стерлась. Даже такие энергичные выражения, как «врет, как сивый мерин», вряд ли вызывают представление о мерине, да еще сивом. Просто, это «крылатое» выражение. Но на смену этим, утратившим образность оборотам, мы постоянно вводим в письмо и разговор новые, свежие, с целью сделать свою речь более живой и наглядной. Выбор таких выражений не случаен: он подсказывается обстановкой момента. Отсюда—то, что было ярко и выразительно в свое время, через известный промежуток становится бледным и даже непразумительным, хотя и может по инерции остаться в употреблении. В эпоху классического образования «узы Гименея», «Прокрустово ложе», «Юпитер, ты сердишься»... были выразительными оборотами; для современной молодежи они—звук пустой.

«Что я, у бога теленка с'ел, что ли»,—напоминает о временах стародавних, дохристианских. «Дрянь, да *из дворян*»»,—вероятно, сложилось на исходе крепостного права.

Наше время тоже создало ряд общепринятых образных выражений, своеобразно окрасивших современную нам речь. Историческая обстановка, под влиянием которой они создались, выше намечена. Нет нужды собирать все, продиктованное ею; отметим только наиболее ходовое, и каждый может продолжить эту работу, просто подыскав в памяти аналогичные примеры.

Прежде всего следует упомянуть войну и фронт, как явление, в свое время поглотившее все внимание населения, тем более, что и революция — еще более разительное явление—во многих отношениях сказалась тоже в форме войны, каковой она по существу и является. Естественно, что во все сферы жизни проникли или технические военные выражения, или сравнения, взятые из военной обстановки. Можно, пожалуй, сказать, что всю современную жизнь мы привыкли изображать в виде войны и военных действий. Мы говорили, что пролетариат занимает в хозяйстве *командные высоты*; говорили о борьбе на хозяйственном, идеологическом и др. *фронтах*. В литературе есть даже *левый фронт* (интересно, как это звучит для военного уха?). «Компартия не сдает пролетарских *позиций*», ведется «бешеная *атака* на компартию». Постоянно встречаются такие выражения, как «*знамя* пролетарской диктатуры», «*армия* борцов за дело освобождения», «массовое *завоевание* новых культурных позиций», «сплочение *рядов* рабо-

[19]) Михельсон.—«Русская мысль и речь». «Свое и чужое». «Опыт русской фразеологии». Предисловие, V стр.

чих масс», «циничный *поход* на зарплату»[20]). Партия—*авангард* класса; в ней имеется старая гвардия; есть партийцы ленинского *призыва*. Вступают не в партию, а в *ряды* партии. Рабфаковцы берут ВУЗ'ы *штурмом*. Рядом с журналом «Леф» есть журнал «На Литературном Посту». В связи с хлебозаготовительной кампанией пишут о *мобилизации* сил и о *демобилизационных*, настроениях, об умелом *маневрировании* промтоварными массами («Раб. Путь», 12/V—28 г., № 109, Омск) и т. д.

Кажется, подобного явления еще не было в истории русского языка. Ведь здесь мы наблюдаем в сущности распространение образных выражений, взятых из *одной* области, на *всю* действительность, стремление и в языке представить повседневную жизнь и работу, как войну. Это подчеркивается и еще одной особенностью речи, главным образом, газетной и ораторской: ее некоторой приподнятостью, повышенностью тона как в похвале, так и в порицании. Мы говорили и пишем не просто о «рядах» комсомола, но чаще о *стальных* рядах, о *железном* единстве; «реакция» часто сопровождается эпитетом *оголтелая*, «буржуазия» почти всегда *обнаглевшая*; «плохих работников нужно вымести поганой метлой и без всякого раздумья»[21]). Эта несколько подчеркнутая энергичность выражений очень напоминает приказы военных штабов и язык статей, передающих впечатления с «театра военных действий».

Все это, конечно, для нашего времени вполне естественно. Мы живем, действительно, в своеобразной военной обстановке; теперь легче, чем когда-либо, различаются свои и чужие, друзья и враги, *они* и *мы*.

Наряду с описанным явлением отметим другое, не менее естественное для нашего времени, хотя пока и менее заметное. Рабочий класс—диктатор. Отсюда—влияние на речь в широком значении этого слова как бытового, так и производственного языка этого класса. Из производства перешло в общее употребление словечко «*установка*» со всеми его применениями: целевая (по образцу—силовая), установка на... и т. п. Бухарин говорил в одной из своих речей об «общественной работе на холостом ходу». Одна из книг по вопросам литературы носит название «На стыке». Дело «ставят на рельсы» или «переводят на другие рельсы». Термины «цех», «цеховщина» применяются не только в производстве, но и во всех областях жизни, как и «аппарат» или «контакт». Часто пишут о «приводных ремнях» партии или о том, что нужно «выковать» в себе то-то и то-то.

VI.

Литературная речь создавалась и употреблялась, главным образом, специалистами. Для каждой специальности вырабатывался (до некоторой степени) свой язык, и непосвященные, обычно, мало интересовались его особенностями. Язык этот вовсе не был рассчитан на «всякого и каждого». Теперь, мы знаем, положение в корне изменилось. Литературная речь и многие ее разновидности понадобились именно всякому и каждому для доклада, речи, газеты и пропаганды... Нужно сказать, что вырабатывалась литературная речь тщательно, отточена была очень хорошо. Мы знаем, что речь—условие и орудие мысли, но трудно владеть этим орудием так, чтобы оно не затемняло мысли («Мысль изреченная есть ложь»—давно сказано). Естественно, что в области словесного искусства работали мастера, подчас

[20]) Все взятые в кавычки примеры взяты из одного номера «Комсомольской Правды» (№ 101, 1/V-28 г.).

[21]) «Раб. Путь» № 124. 1928 г. Омск.

доводившие прозрачность стиля, до такой степени, что читатель забывал о словесной оболочке мысли и, только специально приглядевшись к ней, замечал, как искусно она вытканa.

Многие из выдвинутых революцией людей таким мастерством не обладали, а учиться ему не имели времени: пользоваться литературной речью надо было немедленно. А кто и обладал этим словесным искусством, часто тоже лишен был возможности чеканить фразу; некогда было. Отсюда—литературная речь в значительной мере утратила свою отточенность, точность, а подчас и правильность построения. С другой стороны, далеко не все понимали и понимают хрупкость и вместе точность языка, как орудия мысли, но зато внешность, отличность литературной речи, напр., от обывательской, бросалась и бросается в глаза многим. Естественно приходят не к мысли, а к какому-то подсознательному ощущению, что литературная речь и не должна быть такой же простой и понятной, как разговор за чаем, и что в этом, пожалуй, ее достоинство и даже красота. Ведь она употребляется не для «пошлой» обыденщины, а для докладов, приветствий, газетных статей и т. д., для дел не повседневных, а несколько возвышенных Вследствие этого—увлечение особенными формами литературной речи ради них самих, пристрастие к мудреной сложной фразе, непонятному редкому слову при малой, в сущности, заботе о краткости, точности, даже правильности языка (не говоря уже о его понятности). И вот получаются такие, напр., обороты: «От кооперативов требуется умелый подбор ассортимента товаров»[22]), хотя ассортимент и есть подбор. Или вот сообщение, может быть, понятное для транспортников, но не очень вразумительное для прочих газетных читателей: «В целях рационализации производства по ремонту товарных вагонов при конвенционном (трехгодичном) их осмотре вводится система последовательности параллельных работ»[23]). Для понимания этого отрывка мало догадаться, что слово в скобках (трехгодичный) не есть перевод слова конвенционный; мало знать значение этого последнего: нужно понимать еще, в каком специальном значении оно употребляется на транспорте. Понимание слов: система, параллельный, последовательный, взятых каждое в отдельности, ничего не дает для понимания их сочетания в этой фразе. В том же номере той же газеты читаем: «К моментам рационализации работы торгового аппарата следует отнести и вопросы упрощения и улучшения производства». К моментам (почему моментам?) рационализации относятся не упрощение и улучшение, а вопросы упрощения и улучшения, не говоря уже о том, что понятность этой фразы для живого, реального уральского рабочего (газета, ведь, именуется «Уральский Рабочий») не бесспорна. Иногда это пристрастие к мудреной литературной форме заставляет авторов говорить как-раз обратное тому, что они хотели сказать. В Омской газете «Рабочий Путь»[24]) в статье «О рационализации учебной жизни ВУЗ'ов» автор скорбит, что в начале учебного года лекции читаются только по немногим предметам, конец же года перегружен и лекциями, и зачетами, и практическими занятиями. «Эти недостатки пагубно отражаются на изменении методики преподавания через сокращение пассивного лекционного метода и увеличение активного (семинарии, практики и пр.)»

[22]) «Красное Знамя» № 176 за 1927 г. Тюмень.
[23]) «Уральский Рабочий» № 176, 1927 г.
[24]) № 58 11/III-27 г.

Иными словами: активные методы усиливаются, а пассивные сокращаются—и это пагубно. Вряд ли автор хотел именно это[25]).

Увеличение сказывается и в пристрастии к звонкому иностранному слову. Употребление иностранных слов вообще—явление вполне естественное, но там, где они не понятны и притом явно не нужны, употреблять их можно или вследствие непонимания целей литературной речи, или злонамеренно (например, из желания подчеркнуть разницу между просвещенным человеком и невеждой). Газеты наши пестрят такими явно никчемными словами, как лимит, стабилизация, калькуляция, рентабельность. Одно время появлялся даже «гарантийный пакт». Любители таких словечек говорят иногда, что таким образом мы приближаемся к созданию международного языка. Может быть, это и верно. Несомненно, что словари европейских языков (в том числе и русского) имеют очень высокий процент общих слов, главным образом, научных и технических терминов. Но цель газетной статьи или речи докладчика—не создание международного языка, а сообщение чего-то наличному читателю или слушателю. Если они не поняли, то цель не достигнута, а этим самым сделан промах и по другой цели.

Любопытно проследить, как понимают эту привычную газете и оратору иностранщину читатели и слушатели из «широких масс». Вот несколько случаев. Работник «волостного масштаба», коммунист, об'яснял, что «информировать—значит, вызвать к себе подчиненного и «накрутить ему хвост». Студенты 1 курса рабочего университета об'ясняли, что «бюрократизм»—это чванство, саботаж, злоупотребление по службе и т. д., правильного об'яснения никто не дал... Рабочий, прочитав статью о неумелом хозяйничаньи, в которой часто повторялось слово «рационализация», выводит, что рационализация—*это головотяпство.*

Впрочем, это не только в «широких массах». Вот заметка из омской газеты «Рабочий Путь»: «Рабочий суконной фабрики Пономарев уходит в кино за 3-4 часа раньше окончания работ». Называется эта заметка «Симулянт», но и намека на какую-либо симуляцию со стороны Пономарева в ней нет: именно *не* симулянт. Во многих журналах можно видеть об'явления о бухгалтерских курсах «Полиглот» (многоязычный); никаких языков, повидимому, на них не преподается. Во время распространения займа индустриализации в Омске все заборы были оклеены об'явлениями о *коллективной продаже* облигаций, что, по меньшей мере, не соответствовало действительности.

В наше время чаще приходится говорить с трибуны, чем писать, и устные выступления, поэтому, сильно влияют на строй письменной, литературной речи. Психические состояния говорящего и пишущего неодинаковы, различны и условия речевого производства. Пишущий видит, что он написал, может перечесть написанное и проверить правильность связей, может остановиться и обдумать, как лучше выразиться. Оратор почти лишен этих возможностей. Когда ему нужно обозначить какое-либо понятие, в его голове обычно мелькает несколько слов, одинаково годных для его цели, но

[25]) Примеры взяты из провинциальных газет. В столичных можно найти не менее выразительные. См. книгу ГУС'а, Загорянского и Кагановича—«Язык газеты».

Такие примеры можно зачастую найти и в современной беллетристике. Недавно издан роман В. Каменского—«Пушкин и Дантес». Книга эта рекламировалась еще до выхода в свет, а отрывки из нее печатались в еженедельниках. И вот какие «перлы» мы находим в нем, чуть не на каждой странице: «Соболевский снял с Пушкина дорожную шинель и поташил его умываться и вообще приводить в порядок гостя», т.-е. потащил П... приводить в порядок гостя (каково?). Или: «Девятилетняя слежка за поэтом, щедро сеявшим крамолу и еще щедрее обольщавшим всех открытым свободомыслием в поэтической форме, была убедительно-зловредной репутацией «Пушкина», т.-е. слежка была репутацией.

требующих различного по форме продолжения. Он, например, может высказаться за что-нибудь, остановиться на чем-нибудь, говорить о чем-нибудь, доказывать что-нибудь и т. д. Сказав одно из приведенных сейчас слов, оратор, часто не замечая этого, приделывает продолжение не к этому слову, а к его синониму, мелькавшему у него в голове. Поэтому, может быть, мы постоянно доказываем о необходимости самокритики, останавливаемся о хлебозаготовках. Поэтому же, а отчасти потому, что на собраниях обычно сталкиваются разноречивые мнения и предлагается высказаться *за* и против, у нас любой факт говорит не о чем-нибудь, а *за* что-нибудь: усиленный спрос на зубной порошок говорит *за* повышение бытовой культуры.

Ораторская речь не терпит остановок. Она должна течь плавно и ритмично. Длинная пауза мучительна для слушателей, немузыкальная, без правильного ритма речь раздражает. Неопытные, неумелые говоруны, спотыкаясь в речи, заполняют невольные пустоты бесчисленными «значит», «стало-быть», «и вообще». Привычные ораторы создали целый ряд словесных шаблонов, округляющих речь, вносящих в нее в нужных случаях ритмичность. Шаблоны эти общеизвестны: «в общем и целом», «целиком и полностью» и т. п. Любая половина в этих сочетаниях лишняя: если целиком, то, конечно, и полностью—и наоборот. Из устной речи эти паразитные выражения переходят в книгу и газету. Таким же путем, вероятно, создался современный постоянный эпитет. В народных эпических произведениях, механически воспроизводимых сказателями, такой эпитет—вполне естественное явление: он приходит на помощь памяти. В былине руки всегда белые, хотя бы они принадлежали негру, а лапотки-шелковые. Нечто подобное мы наблюдаем и в современной речи: массы почти всегда «широкие», буржуазия—«обнаглевшая» или «прогнившая», интеллигент—«мягкотелый» или «разложившийся», а строй—«существующий», хотя бы говорилось о строе времен царя Гороха.

Выработке таких шаблонов способствует и сама обстановка, в которой приходится говорить ораторам. Постоянно стоящий на повестке «порядок дня» навязал всем выражение «в порядке». Мы говорим: «в порядке» вопроса, информации, обсуждения и т. д. Один очень хороший оратор в публичной речи выразился даже так: «В то время многие кончали с собой в порядке самоубийства».

VII.

Сравнительно недавно еще мы наблюдали болезненное распухание канцелярий. Там, где теперь работают единицы, прежде сидели сотни; в свое время для многих трудповинность была в сущности «канцповинностью». Для нашей речи это не прошло бесследно. Канцелярский язык всегда отличался обилием готовых выражений (препровождая при сем, принимая во внимание), фиктивных мотивировок (по встретившейся надобности), стремлением округлить фразу, сделать ее менее резкой. Не даром чеховский Перекладин за 40 лет ни разу не поставил восклицательного знака. Канцелярский язык охотно заменяет определенный и требовательный глагол отглагольным существительным[26]), прямую речь—косвенной, краткое предложение—периодом. Этот обычай (по причинам, указанным выше) проник в газету, резолюцию и т. п. Вот любопытный образец: «Устранение бюрократических извращений при проведении политики партии обеспечивает вовлече-

[26]) О сравнительной ценности этих категорий см. Пешковского—«Глагольность, как выразительное средство». Сборник статей. Лг. 1925 г.

ние рабочих масс в дело разрешения задач советского строительства[27]). Здесь 11 существительных (больше 60 проц.) из них 5 отглагольных. Вследствие грамматических особенностей этих слов нелегко установить, какое слово здесь является подлежащим: устранение или вовлечение. Можно понимать, что бюрократизм устраняет рабочие массы, вовлеченные в дело строительства; можно думать и так, что эти массы можно вовлечь в строительство только после того, как бюрократизм будет устранен. Предпочитают, вместо «организуется», писать «находится в стадии организационного оформления», вместо «работа»—«ведение работы», «развертывание работы».

Как-то в одной газете была напечатана заметка: «Железнодорожный рабфак находится в стадии организационного оформления». Эта заметка в течение трех лет (всего раз 15) подвергалась разбору в рабочих аудиториях. Она писалась на доске, и аудитории задавался вопрос: понятно ли, о чем здесь говорится? Ответ всегда был одинаковый: вполне понятно. Дальше спрашивалось: существует этот рабфак или его еще нет? На это ни разу от всех слушателей не пришлось получить одного и того же ответа: одни говорили «да», другие—«нет». Тогда тем, кто говорил «да», предлагались еще вопросы можно ли уже поступать туда или еще нет, есть ли там заведующий, здание, кабинеты, преподаватели?.. Оказывалось, что об этом ничего положительного сказать нельзя и что вообще в этой заметке *ничего* не сказано: есть слова, но нет содержания. Очевидно, и у пишущих, и у читающих создалась привычка довольствоваться каким-то суб'ективным, приблизительным пониманием.

Вероятно, те же канцелярские привычки создали такие словечки, как «заслушание», «зачитка», «зас'емка».

Было бы поистине поучительно узнать, что именно массовый читатель вычитывает из газеты, в особенности такой, который читает «с трудом от слова к слову пальчиком водя» (таких, ведь, большинство). Как знать, не отсюда ли берутся некоторые «нелепые» слухи?

А между тем, несомненно, и «широкие» массы испытывают какую-то потребность в новом языке. Взять хотя бы рассказы Зощенко. Можно, конечно, говорить, что он дурно влияет на речь учащихся (и это верно), но ведь Зощенко не выдумывал языка своих героев. Их дикие, подчас, выражения и словечки показывают, что и обыватель заговорил по-новому.

VIII.

Некоторые социальные группы вовсе исчезли из нашей жизни: некоторые утратили всякое значение и влияние. Однако, следы в языке нашей эпохи они оставили. Особенно почему-то в этом отношении повезло духовенству. Кучка словечек и выражений с библейским душком постоянно к услугам читателя газеты или посетителя собраний. Вот некоторые: «во главу угла», «краеугольный», «ибо», «дабы», «не за страх, но за совесть», «сей», «коего, коему, «по сие время», «вкупе», «паки и паки», «тем паче», «все и вся», «всуе», «сугубый», «ничтоже сумняшеся», «совлекается ветхий Адам», «Навуходоносорское видение», «слиянность»; последние три—из литературно-критических статей В. Полянского, Лелевича и Кубикова. Торжественное «ибо» почему-то особенно любят комсомольцы.

Буржуазия не создала своего языка: она покупала культуру в готовом виде или брала ее напрокат. Но дворянская охота пофранцузить

[27]) Обращение Омского окр. Сов. Проф. Союзов по вопросу о борьбе с бюрократизмом.

(правда, по-русски) отчасти жива и теперь. «Официальная Германия делает «хорошее лицо при *английской* игре» в высшую политику»[28]). Этот буквальный перевод французской поговорки «faire bonne mine ä mauvais feux». (делать хорошее лицо при дурной игре, при чем вместо *дурной* поставлено *английской)* звучит в данном случае очень тонкой, но вряд ли кому по-настоящему понятной остротой. В одной из своих статей Г. Горбачев говорит о стремлении футуристов «эпатировать буржуа». Как-то невольно при этом вспоминается Вова Звездинцев («Плоды просвещения») с его вечным ёpätant Не хочется так думать, но не от этих ли психологических корней растут бесконечные лимиты, тантьемы, бракеражи и пр.?..

Язык квалифицированного индустриального рабочего, соприкасающегося с высшими достижениями техники,—язык специалиста почти в той же мере, как язык инженера. Он, конечно, оказывает свое влияние на современную речь и притом гораздо большее, чем это наблюдалось в прежние времена. Но, как мы уже отмечали, это влияние заметно сравнительно мало. В оживленных спорах, которые одно время велись по половому вопросу, часто употреблялось, напр., выражение «переключение энергии». Несомненно, оно взято из производственного языка, но в производстве его одинаково употребляют и рабочий, и инженер. Однако, соприкасаясь с вершинами техники, другим своим полюсом пролетариат соприкасается с улицей. Его молодежь, особенно молодежь не вполне еще оклассовавшихся слоев, находится в постоянном общении с люмпен-пролетариатом, мещанскими прослойками, даже с «блатной» публикой. Отсюда масса жаргонных выражений, слов сокровенного воровского языка (тартать, кимарить, шмара, ширмач и т. д.); отсюда же нарочитая, подчеркнутая грубость речи. Подойдя ближе к книге, к культуре, уловив, благодаря им, что эти выражения не соответствуют простому и ясному строю литературной речи, рабочая молодежь обычно старается избавиться от них. Роман Гладкова: «Цемент», в общем извлекающий молодого рабочего читателя, многим не нравится именно за обилие грубых, жаргонных выражений, хотя верность их передачи сомнению не подвергается. Отвыкнуть от них, конечно, очень трудно, тем более, что их подхватывают ораторы, газеты, учащиеся и так далее, прельщаясь их выразительностью (они новы и потому безусловно выразительны) и видя в них подлинный язык рабочей массы. В газетах то и дело встречается «бузить» (даже журнал—«Бузотер»), «навернуть гайку», «взгреть»... Речь учащихся полна жаргонными словечками. Интересны в этом отношении рассказы: Сейфуллиной—«Налет», Скоринко—«Стальной гамуз», «Дневник Кости Рябцева» и «Костя Рябцев в ВУЗ'е» («Новый Мир». 28 г.)—Отнева.

Скоринко рассказывает об одном подростке, видимо, из беспризорников, который, будучи прикомандирован к воинскому отряду по политической части, не только оказал благотворное политическое влияние, не только совершил подвиг личной храбрости, но и обучил всех, начиная с командира, говорить: вместо идешь—«хряешь», вместо есть—«шамать» и т. д. Скоринко с радостью слышит эти выражения из уст студентов, очевидно, считая их явлением положительным, элементами подлинной пролетарской речи. Студенты одного из омских ВУЗ'ов на просьбу сообщить особенные, употребляющиеся только в их среде слова, в несколько минут дали такой список: чубук, пузыриться, грубо—грубой (хорошочий), засыпаться, зашиться, запурхаться, нахрустаться, шамать, сдрефить, шарпать, кимарить, шмара, канать, стырить, уметываться, зекс, на ю, на ять, с гвоздя, взять на

[28]) «Вечерний Киев» № 119, 1927 г.

бога, на понт, на пушку, на арапа, зырить, слабо, шухариться (не шухарись), скулить (радоваться), бусать—бусо, в пузырь залез, кобел, кобла, буза—бузить, рыпаться (не рыпайся), спулить, стибрить.

Этот список показывает, разумеется, не количество употребляемых жаргонных выражений; он говорит только о том, сколько их вполне осознано, как жаргонные. В действительности их много больше (см. хотя бы названные рассказы), но употребляющие их обыкновенно не замечают, что они говорят как-то по-своему, не как все «добрые люди».

Кое-что из этого вошло и в общий обиход.

Часто приходится слышать и читать (даже в газетах) о том, что наша речь испортилась, грамотность пала. В последнем уличают охотнее всего учащихся. Доказательств и ссылок в упомянутых нами книжках найдется сколько угодно.

Впечатление порчи, снижения, как теперь говорят, действительно, получить очень не трудно. В самом деле, мы наблюдаем целый потоп иностранных слов, при чем даже русские перекраиваются на иностранный лад (старостат, читабельный, теплофикация); мы знаем что те, к кому эти слова адресуются, или не понимают их или, что гораздо хуже, понимают по-своему, приблизительно. Можно долго говорить с человеком или целым собранием и не замечать, что взаимного понимания нет. Если собрание слушает оратора, громящего бюрократа-зава, то можно быть уверенным, что преступления зава не всем представляются одинаковыми. Целый ряд маловразумительных сокращений увеличивает число непонятных слов. Пристрастие к тому и другому мешает речи устояться, стать ясной и понятной. Блатной язык окончательно ее засаривает. Если мы прибавим к этому неправильное произношение и русских, и иностранных слов (мо̀лодежь про̀цент, прѐдмет, ка̀талог, про́токол, средства̀, в случа̀е, гѐктар, да̀бы и т. п.), то получится совсем мрачная картина. А тут еще безграмотность учащихся[29]).

Порча, снижение, как-будто,—факт бесспорный.

Мы уже говорили, что до революции литературной речью пользовались немногие, большею частью специально образованные люди. Теперь она стала нужна чуть не всем. Конечно, те огромные массы, которые овладели и пытаются овладеть ею теперь, говорят и пишут хуже, чем говорили и писали раньше немногие призванные. Все уродливости отмеченные только что, обильно насыщают их речь. Но раньше-то они вовсе не говорили и не писали ничего. Вполне очевидно, что в этом отношении приходится говорить не о порче и снижении, а об огромном шаге вперед. А если принять в расчет, что они не только овладели (пусть и плохо) формами литературной речи, но и *творят* новый язык, нужный для новых жизненных отношений, то мы должны будем признать не только шаг вперед, а нечто гораздо большее. Это—одна сторона дела. С другой—трудно утверждать (потому, что нет цифр), но *можно сказать с достаточной* степенью вероятности, что группа лиц, хорошо владеющих литературной речью (ученые, газетные работники, политические ораторы, педагоги и т. д.), вряд ли стала численно меньше Просто, раньше обращала на себя внимание только *она,* а теперь, главным образом, *не* она.

Что касается учащихся с их безграмотностью, неумением выразить свои мысли (речь их, действительно, в некоторых случаях кажется жалкой; взять хотя бы письмо студентки из рассказа Сейфуллиной «Налет»), то

---

[29]) Число ошибок в работах учащихся ср. школы в 1926 г., примерно, в 5 раз больше, чем в 1901 г. С. Золотарев—«Причины школьной безграмотности».. «Родной язык в школе». 1926 г., кн 11-12. См. Р. Шор.

ведь и учащийся теперь другой. Прежде подавляющее большинство школьников, в широком смысле этого слова, составляли дети интеллигенции, еще до школы привыкавшие к литературной речи. Теперь социальный состав школы изменился, и прежним аршином мерить его не годится. Может быть, отчасти виновата и сама школа, которая долго не могла найти в своей работе места, так называемым, «навыкам» (уменью). Есть и другие причины. Из них можно указать, напр., кинематограф. Прежние школьные поколения искали удовлетворения своим художественным запросам в книге. Проглатывая романы Купера, Майн-Рида, Ж. Верна, подросток незаметно учился языку. Вспомним, как хорошо говорит чеховский Монтигомо—Ястребиный коготь, двенадцатилетний гимназист Чечевицын («Мальчики»). А теперь за художественными впечатлениями ребята бегут в кино; великий немой, конечно, их литературной речи не научит, потому, что сам говорить не умеет, а пишет плохо. Из этого, разумеется не следует, что ребят нельзя пускать в кино: из этого следует только то, что учась иными способами, чем отцы, дети будут говорить и писать как-то иначе, или хуже—видно будет. Этих новых способов можно не одобрять, но они есть.

IX.

Перейдем к итогам.

Жизнь быстро перестраивается на новых началах, каждый день приносит новое, каждый день обнаруживается, что вот это устарело, больше не годится. Для новой жизни нужна другая, тоже новая речь. Она создается у нас на глазах. Творят ее не отдельные личности, на которые можно было бы указать пальцем, как когда-то указывали на Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Теперь таких отдельных новаторов нет: новый язык творится в полном смысле этого слова коллективно и притом с большой степенью сознательности. Об этом говорит, помимо указанного выше, большой интерес к вопросам языка, сказывающийся в многочисленных *популярных* работах по этим вопросам, в газетных заметках, читательских отзывах (хотя бы в ЧиП'е). Масса, творящая новую речь, инстинктивно идет тем путем, который указывают законы языка. Даже сокращения не являются насилием над этими законами; это подтверждает хотя бы стоящее несколькими строками выше словечко (далеко не новое) «итог», по образованию очень похожее на современные сокращения. Конечно, в поспешной работе неизбежны увлечения, приводящие даже к уродливостям. Однако, считать уродливые явления в языке признаком его порчи было бы опрометчиво, что, тем не менее, не мешает им в данный момент вредить ясности и понятности речи.

Идущий на всех парах паровоз не удержишь за веревочку. Бороться с бурными изменениями русской речи, вызванными революцией, бесполезно, да и не нужно. Но можно—и нужно—принимать участие в этой революции языка, помогая укреплению здоровых новшеств и борясь с уродливостями, насилиями над языком, которые неизбежны в период усиленного роста. Здорово то, что обогащает язык, делает его более гибким, более ясным и простым. Простота и ясность определяются не общепонятностью; невозможно писать так, чтобы всякую книгу понял всякий читатель. «Капитал»—Маркса переведен очень простым и ясным языком, но это вовсе не общедоступная книга.

Язык должен быть прост и ясен настолько, насколько позволяет содержание.

М. АЛЕКСЕЕВ

Сибирская ссылка и английский поэт

1.

В сложную и смутную эпоху правительственных реформ 60 г. г. прошлого века, закончившихся серьезными конфликтами общества и власти, тревожные голоса, шедшие из России, усиленные предостерегающими или утрожающими откликами эмигрантской прессы, заставили насторожиться и европейское общественное мнение. Чем напряженнее становилась борьба, тем сильнее росло внимание к ней на Западе, вовлекая в обсуждение русского вопроса не только присяжных политиков и все чаще находя свое отражение в публицистике и художественной литературе. Столбцы европейских газет стали пестреть известиями о русских «нигилистах» всех толков и партий, сообщениями о деятельности подпольных организаций, отчетами о судебных процессах; журнальные статьи и обозрения отмечали всякий новый этап в ходе революционной борьбы, комментируя на все лады успехи противоправительственной агитации в России, откликаясь на действия и распоряжения столичной и провинциальной администрации и со все возрастающим вниманием следя за хроникой развертывающихся событий.

Как ни искажалась русская действительность во всех этих обзорах, статьях и трактатах, как ни тщетны были усилия европейских журналистов и писателей—вскрыть причины борьбы и определить ее возможный исход, как ни ничтожно, наконец, было то влияние, какое они могли оказать на положение дел в России, игнорировать всю эту огромную западную литературу, проходить мимо всех этих разнообразных взглядов и выводов, прогнозов и предсказаний, стало, в конце концов, невозможным. У нас пристально следили за этими откликами, иные с радостью и надеждой, другие с тревогой и опасениями. На страницы европейской печати переместилась постепенно запрещенная цензурой полемика. Все чаще направлялись сюда и правительственные опровержения и ответы на них заинтересованных лиц и партий; именно здесь развертывалась теперь ожесточенная литературная борьба, заканчивались прения по судебным вопросам, получали свою окончательную формулировку отдельные приговоры и суждения о лицах, делах и событиях в России. В такой напряженной атмосфере разногласий и споров, под сильным внушением русской, заграничной печати, в результате столкновения сложных взаимодействующих причин, складывалось и европейское мнение о них.

Славное цареубийство 1 марта 1881 г. как бы завершило собою целый период борьбы, подвело некий итог. Неудивительно, что оно особенно долго и внимательно обсуждалось в европейской печати. Последовавший за ним разгром революционных кружков и партийных об'единений, жестокая расправа

со всеми, так или иначе причастными к политическому движению, мрачный правительственный гнет, скоро давший почувствовать себя во всех областях жизни,—все это тотчас же нашло соответствующую оценку и в Европе. Критика официальной России еще раз сделалась злободневной и привлекательной темой для европейских фельетонистов и обозревателей. Новый ряд судебных процессов, вскрывших обстановку борьбы, ее упорство и напряжение, ссылка в Сибирь, получившая теперь такое массовое применение, судьба побежденных и наказуемых,—вот что теперь обсуждалось особенно охотно и часто.

Не всюду, конечно, достаточно единодушно осудили формы правительственной борьбы с революционным движением в России; не все одинаково сочувственно отнеслись к тревогам далекой страны и печальным последствиям происшедшей в ней катастрофы; одни видели в ней занимательную тему для бесед, споров и предсказаний, более всего интересуясь тем, какое влияние могли они оказать на дипломатическую кон'юнктуру и политическое равновесие Европы; другие находили интерес в «экзотике» места действия, в том своеобразом романтизме, которым отмечено было движение и которое окружило его участников ореолом мученичества и обреченности.

Первый и наиболее сочувственный отклик русские события нашли в республиканской Франции, в которой престиж русского самодержавия был подорван еще в николаевское царствование, и где откровенная и даже злобная критика официальной России имела за собою довольно внушительную литературную традицию. Когда во Франции стал известен приговор по делу «22-х», старик Виктор Гюго, слагавший некогда враждебные строки по адресу победителей Наполеона Бонапарта, посвятивший гневные строфы «потомкам гуннов»—русским, вступившим в Париж, и проклинавший Сибирь в своих полонофильских гимнах, возвысил свой голос в защиту осужденных[1]).

Художественная литература Европы в эти годы, быть может, в еще большей степени, чем литература памфлетов и политических речей, пыталась отразить повсеместный и широкий интерес к России; ответом на спрос были десятки романов, французских и немецких, из жизни русских революционеров. Образ русского фанатика Суварина в «Жерминале»—Золя, поднимающего мятеж во французских угольных шахтах, не одиноко стоит в современной ему западной литературе и до известной степени резюмирует все то, что она могла сказать о русском революционере вообще.

Не последнюю роль во всех этих романах играла Сибирь—«страна изгнания». Писатели вновь и вновь возвращались к изображению русской каторги и ссылки. Известную роль, помимо политических, могли здесь сыграть также чисто литературные причины, созвучные с направлениями в искусстве того времени: искание подходящего фона для изображения трагических чувствований и происшествий, привлекательная экзотика, которой легко было насытить описание почти неведомой страны. В изображении Сибири использованы были все старые литературные шаблоны и традиции, восходящие к сентиментальной повести начала XIX в. (Коттэнь, Ксавье-де-Местр, Лафонтен, Коцебу), с ее примерами «самоотверженной детской любви» или любовной страсти, сердечность и пылкость которых не в состоянии погасить тяжелая обстановка изгнания, с ее традиционными противопоставлениями мрачности и холодной дикости сибирской пустыни тому внутреннему огню и свету, который живет в сердцах ее невольных обитателей. Старая схема была лишь несколько подновлена поспешными справками, сделанными в новых географических описа-

[1]) Характерно, что статья, под названием «Крик Гюго», распространялась и в России в качестве прокламации. Она напечатана, между прочим, в книге: «Хроника социалистического движения в России 1878—1887» Официальный отчет. М 1907 г. стр. 222-223.

ниях, но каких-либо существенных поправок в традиционное изображение не внесла.

Сибирь сентиментальных повестей воскресает еще в одном из романов Эмиля Сувестра («Проклятые», 1852), или в «Романе сибирского изгнанника»—Луи Колла (1876). Другая группа повестей на сибирскую тему носит явно выраженный авантюрный характер; занимательностью сюжета, искусным хитросплетением интриги, динамикой повествования достигалась возможность отвлечь внимание читателя от собственно-описательной части произведения (таковы, напр.: «Жизнь в Сибири», «Приключения трех беглецов»—Тиссо и Амеро, 1881, или «Сибирский тракт», «Приключения двух нигилистов»—Люсьена Томэна, 1882).

Однако, ни условные пейзажи Сибири, ни слишком отвлеченные образы русских революционеров не могли удовлетворить европейское общество в те годы, когда речь шла о настоящей Сибири и настоящих людях, сотнями туда посылаемых. Нужны были более точные данные и гораздо более правдоподобные описания и характеристики. Печать посвящала им все больше и больше внимания: система пересыльных тюрем, обстановка каторги, описания различного рода принудительных работ, подлинные признания пострадавших, заключенных, отбывших сроки,—вот что интересовало теперь больше, чем авантюрные романы или сентиментальные повести. В известной степени этому спросу удовлетворяли, выдаваемые за подлинные мемуары, письма заключенных в Сибири, которых в 80-е годы появилось множество на всех европейских языках. В ряде изданий расходились такие книжки, как «Письма нигилистки из сибирских тюрем», подписанные «Александра», появившиеся сначала на французском, но тотчас же переведенные и на немецкий язык, якобы подлинные «Воспоминания» о пережитом Купчанко, Егорова и многих других. Ряд подобных изданий называет и Ольденберг, в указанной выше книге, догадывающийся о «сомнительной правдоподобности» всех этих признаний, дневников и писем.

2.

В создании всей этой литературы, публицистической и повествовательной Англия не отставала от Франции и Германии. Английская литература так же пыталась подойти к изображению русской жизни, борьбе партий и мировоззрений в России и столь же охотно делала Сибирь местом действия своих повествований. О. Уайльд еще в 1881 году пишет пьесу с русским сюжетом—«Вера или нигилисты», в основу которой легла драматизация события 1 марта и действие которой открывается в корчме на сибирском тракте. Генти создает приключенческий роман для юношества: «Осужден, как нигилист», в котором речь, между прочим, идет и о Сибири. Роман Мэрримэна—«Сеятели»—пытается раскрыть психологию русской женщины-нигилистки. Но что характерно именно для английской литературы о России,—это преобладание в ней книг научного содержания над фельетонными романами, написанными на-спех и рассчитанными на скорый сбыт, серьезной публицистики над массовой злободневной продукцией книжного рынка. В 70-80 годы в Англии появилось не мало основательных и добросовестных книг о России, основанных на действительном изучении русской жизни. Это об'ясняется тем, что в эти годы в Англии были также особые причины интересоваться Россией, ее бытом и учреждениями, взаимоотношениями между обществом и властью и в то же время особенно пристально изучать ее восточные окраины.

Борьба взаимных интересов Англии и России в Азии непрерывно обостряла англо-русские политические отношения. Расширение русских владений на востоке и опасения возможности русского влияния в Индии направляли английскую политику в средней Азии и приводили к ряду международных столкновений. Решительно враждебное выступление Англии против России в 1878 году, в тот момент, когда русские войска приближались к Константинополю, и как бы в ответ на это инсценированная Россией англо-афганская война (1878-1880)—были началом серьезных политических осложнений, не ослабевавших до начала 90 г. г.

Неудивительно, что Англия сделалась центром руссо-фобских настроений для целой Европы. Обсуждение русских дел можно было слышать и на парламентских заседаниях, и в политических клубах, и в великосветских салонах, периодическая печать всех толков пользовалась всяким предлогом для газетной травли. Естественно, то внимание, которое обнаружила Англия к тем силам, которые, по выражению «Эдинбургского Обозрения»,—«возвращают русскую империю» к тем «диким теориям революционной жестокости», до которой русский деспотизм доводит «своим собственным оружием—тайной и преступлением»[1]).

Одна из любимых тем для нападок на Россию английской печати—ужасы Сибири и русской тюрьмы. В Англии появилось несколько книг на эту тему и множество журнальных статей; некоторые из них представляли собою наблюдения очевидцев или заметки путешественников и претендовали на известную об'ективность изложения. Одна из ранних попыток в этой области—книга Ланселля—«По Сибири»[2]). Автор проехал в Сибирь весною 1879 г. от Тюмени до Владивостока и Сахалина «с целью распространения библии среди заключенных и ссыльных», получив пропуск от русских властей, который открывал ему свободный доступ во все тюрьмы и горные заводы Сибири, лежавшие на его пути. Книга Ланселля была в общем сочувственно встречена русской прессой; ряд его очерков был напечатан в русском переводе в «Восточном Обозрении». Не столь сочувственно отнеслась к ней английская печать и особенно русская эмиграция[3]).

Вслед за Ланселлем описанию сибирских тюрем посвятили не мало страниц и другие путешественники, заезжие географы, исследователи, журналисты, имевшие случай видеть их собственными глазами или просто слышавшие рассказы о них. Укажем, напр., на появившуюся в 1889 г. книгу Де-Виндте—«Из Пекина в Калэ по материку» «From Pekin to Calais by Land», London, 1889), в которой, между прочим, описана Карийская каторга, статьи в «Harper's Maqazine» и других английских ежемесячниках. В 1885-86 г. г. с целью изучения русской политической ссылки Сибирь посетил американец

---

[1]) «Edinb. Revrew 1880, january, p. 206.

[2]) 2. Henry Lonsdell. Through Siberia. With illustrations and Maps. London 1882 2 vols.

Продолжением книги служит ряд очерков в англ. журналах, напр., в Harper's *Magazine*.

[3]) Не Ланселля ли имеет в виду Л. Н. Толстой, описывая в «Воскресении» «англичанина, путешественника, который изучает ссылку и тюрьмы Сибири», занимаясь в то же время распространением евангелия среди заключенных? Р. Латимер полагает, что здесь выведен доктор Бедекер, фигурирующий в «Воскресении» также под именем Кизеветтера (см. статью О. И. Срезневской «Доктор Бедекер в «Воскресении» Толстого», в сб. Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 3, М., 1923, стр. 89 –102), но сам с удивлением отмечает, как в романе не похожи друг на друга Кизеветтер и англичанин, путешествующий по сибирским тюрьмам; с натяжкой ему приходится допустить, что оба эти лица восходят к одному прототипу – доктору Бедекеру; во всяком случае он ошибается, говоря, что Бедекер «был единственный англичанин, имевший неограниченное разрешение для посещения русских тюрем в Европе и Сибири» (Стр. 95).

Дж. Кеннан в сообществе художника Фроста. Вполне подготовленный к этому путешествию своим первым пребыванием в Сибири[1]), он отправлялся в свою вторую поездку без всяких предубеждений к русскому правительству и заранее установленной точки зрения, почему без особого труда получил и официальное разрешение на осмотры интересующих его мест заключения. Однако, чем ближе знакомился он с русскими тюрьмами и их устройством, порядками и бытом, тем решительнее складывалось его резко отрицательное мнение о них. Он вернулся из своего путешествия с огромным запасом данных и крайне пессимистических наблюдений. В конце 80-х годов в журнале «The Century Magazine» стали печататься его путевые очерки, которые впоследствии составили целую книгу. Она вышла в свет в 1891 г. под заглавием «Сибирь и ссылка» («Siberia and the Exile System London, 1891) и на всем западе произвела потрясающее впечатление; его не могли ослабить ни официальные опровержения, которым постарались придать самую широкую огласку, ни возникшая вокруг книги литературная полемика. Впечатление было создано надолго.

Еще до выхода в свет лондонского издания книги, часть составивших ее статей Кеннана была издана в русском переводе социально-революционным фондом («Сибирь и ссылка», Париж, 1890). По поводу этого издания Г. В. Плеханов в библиографической заметке, помещенной в одном из эмигрантских изданий, писал:

«Г. Кеннан беспощадно разоблачил некоторую долю гнусностей русского правительства перед читающей публикой образованного мира. Этим он оказал величайшую услугу революционерам, и этого было бы достаточно, чтобы статьи благородного американца показались нам превосходными, но это не единственное достоинство их. Всякий образованный читатель, к какой бы партии он ни принадлежал, должен будет признать, что статьи эти написаны рукой человека, одаренного недюжинным литературным талантом. Правдивость их говорит сама за себя»[2]).

Действительно, широкая осведомленность во всех вопросах, поднятых в книге, доказательность в суждениях и приговорах, широта взгляда, мастерство и захватывающий интерес повествования,—все это придало его книге значение крупного общественного и литературного события. Очерки Кеннана довели вопрос о русской каторге и ссылке в европейской печати до предельной остроты и злободневности. К сибирской ссылке возвращались теперь для того, чтобы подтвердить его наблюдения; книги, в роде нового сочинения Де-Виндта—«Сибирь, как она есть» («Siberia as it is», 1891), написанного в опровержение разоблачений Кеннана и вышедшего в свет с предисловием О. А. Новиковой[3]), не имели успеха.

С одним из эпизодов журнальной полемики, возникшей по поводу злободневного вопроса, связана и литературная история оды английского поэта Суинберна—«Россия»[4]), корни которой, однако, подымаются гораздо

---

[1]) В 1861—68 г.г Кеннан посетил крайний северо-восток Сибири по поручению русско-американской компании для исследования вопроса о возможности проведения телеграфа из Америки через Берингов пролив и Сибирь. Результатом этого путешествия является книга «Tent Life in Siberia», 1870, русск. перевод «Кочевая жизнь в Сибири», СПБ. 1872. ср. «Дело», 1872. № 3, стр. 84-85

В «Century» за 1888 год напечатаны: «Russian provincial prisons», «Siberia and the Exile System», «Political exiles at Tomsk» и др.

[2]) Г. В. Плеханов. «Собрание сочинений», изд. Д. Рязанова, т. IV, стр. 295.

[3]) См. заметку об этой книге в «Историч. Вестнике» 1892, № 4, стр. 292. Предисловие О. А. Новиковой помещено полностью в русском переводе в книге «Депутат от России». Воспоминания и переписка О. А. Новиковой. Составил W. T. Stead. Перевод Е. С. Мосоловой, Пгр. 1915, т. II, стр. 176-181.

[4]) «Russia: an Ode», Fortnightly Review» 1890 August, pp. 165—167.

дальше тех случайных статей, на которые он сам ссылался, как на свои источники. Появление оды было бы непонятно вне обстоятельств англо-русского антагонизма, вне той внушительной количественно литературы о России, которой переполнен был западный книжный рынок, и характеристика которой была сделана выше.

3.

В конце 80-х годов, не без влияния европейской печати, вопрос о неустройствах русских тюрем был поднят и в России. В 1886 году, судя по официальным сообщениям, правительство признало необходимость того, «чтобы вопрос о ссылке был подвергнут наискорейшему рассмотрению в смысле упорядочения оного»[1]); появилось не мало журнальных статей, посвященных этому вопросу, но годы шли, количество ссылаемых не уменьшалось, улучшения в тюремной обстановке не были заметны, и упорядочение ее не предвиделось в ближайшее время. Характерно, что в тот момент, когда печатались статьи Кеннана, главное тюремное управление в свою очередь, независимо от его наблюдений, должно было признать, что вся система ссылки находится в совершенном расстройстве. Вынужденное, таким образом, печатно заявить о бедственном положении арестантов, правительство, однако, в то же самое время опровергало заявления американского журналиста и всячески старалось ослабить впечатление, созданное его разоблачениями. Эти противоречия не могли не броситься в глаза. Их постаралась использовать и печать.

В июльской книге «Фортнайтли Ревью» за 1890 год появилась статья Е. Б. Ланина—«Правда о русских тюрьмах»[2]), в значительной части основанная на русских источниках. Только что вышел из печати, замеченный и на Западе, «Обзор десятилетней деятельности главного тюремного управления», еще свежи были в памяти книги Ланселля и Де-Виндта, а статьи Кеннана еще только создавали возбуждение вокруг этого вопроса. Ланин, писавший публицистические очерки о России во многих английских журналах и впоследствии получивший некоторую известность, благодаря своей книге «Состояние России» (Лонд., 1892), воспользовался всеми этими материалами. Кеннан, на которого он ссылается в своей статье, дал ему освещение и точку зрения; ее должны были особенно подкрепить те данные, которые Ланин извлек из русской печати и представил в значительных извлечениях и цитатах в английском переводе. По его мнению, о Сибири и ссылке в Англии до сих пор имеют самое превратное представление; сведения, попавшие в английскую печать, противоречивы и сбивчивы. Книги Ланселля и Де-Виндта слишком оптимистичны. Но если даже русские официальные источники признают непорядки и неустройства в сибирских тюрьмах, каковы же они должны быть тогда на самом деле? Правда о русских тюрьмах сама собой раскрывается из сопоставлений. Благодаря Кеннану, он располагает очень интересными и ценными материалами о последней «фазе» ужасов сибирской ссылки; но вот несколько данных, которые можно заимствовать из русской печати: едва ли кто-нибудь сомневается в их достоверности. В «Северном Вестнике», напр., были напечатаны путевые очерки Влад. Птицына, который проехал на север от Иркутска до Киренска, по якутскому тракту и описал свои впечатления от осмотра расположенных

---

[1]) Обзор десятилетней деятельности главного тюремного управления и предстоящего международного пенитенциарного конгресса в Петербурге в 1890 г. СПБ 1890, стр. 142-143.

[2]) E. B. Lanin. «Russian Prisons: The Simple Truth»—«The Fortnightly Review 1890, p. 20—43.

здесь тюрем Ланин приводит большие извлечения из очерка Птицына[1]). Здесь описаны пересыльные тюрьмы по пути из Иркутска до Якутска (Качугская, Верхоленская, Тюменцевская, Коркинская, Пономаревская и т. д.), их обстановка, устройство и быт; дано несколько жанровых картинок: вот «голые» арестанты, пропивающие или проедающие свою одежду на пересыльных пунктах, их нищенство и голодовки, вот «бродяжные тракты», по которым они бегут на родину, Суховская тюрьма, с окнами, заделанными досками, с разломанной печью, Усть-Кутский солеваренный завод, конура Назаровской тюрьмы... Поистине Сибирь—это «ад на земле», как ее назвал и оптимистично настроенный Де-Виндт. В жестокую зимнюю стужу идут по сибирским дорогам сотни и тысячи, полуодетых и голодных. Различие и характер преступлений не принимается во внимание, и наказание одинаково жестоко для воров и убийц и для тех, кто добивался лучшей доли для других. Формы физических и нравственных пыток бесконечно разнообразны. Каторжные работы, тяжелые и изнурительные, полная беспомощность тех, кто освобожден от принудительных работ, но поселен в самых диких, безлюдных и суровых местностях Сибири, попытки к бегству, как единственная возможность спасения от смерти, караемые еще более суровыми наказаниями,—такова безотрадная, страшная картина, которая рисуется взору наблюдателя.

Статья Ланина была прочтена и оказала желательное действие. В августовской книжке того же «Фортнайтли Ревью» появилась ода Чарльза Альджернона Суинберна «Россия». В подзаголовке стояло: «Написана по прочтении очерка о русских тюрьмах в июльской книжке Фортнайтли Ревью». Так неожиданно связываются в один узел дорожные заметки русского путешественника по Сибири, наблюдения о русских тюрьмах американца Кеннана, публицистический очерк русского эмигранта и любопытное произведение одного из крупнейших английских поэтов второй половины XIX века.

4.

«Имя этого поэта,—писали в русском журнале в 1880 году[2]),—почти что неизвестно в России; между тем, Альджернон Суинберн занимает совершенно особое и весьма видное место в английской литературе; он пользуется большой известностью в Англии, хотя эта известность и не безусловна: англичан порожает и, можно даже сказать, шокирует смелость их поэта. Когда двадцать лет назад Суинберн выступил перед читателями с первым сборником своих стихотворений, то поэзия его признана была едва ли не безнравственною. Теперь он выпустил новый сборник своих «Поэм и баллад», и сборник был принят благосклоннее. Но благосклонности этой поэт обязан не тому обстоятельству, что он изменил свое направление или характер своей поэзии, а тем переменам, которые сами по себе произошли в общественных нравах Англии в течение последних двадцати лет». Отзыв этот довольно характерен и достаточно справедлив. Преемник Байрона и Шелли, испытавший на себе сильное влияние эллинистов Китса и Лэндора и, таким образом, теснейшим образом связанный с традициями английского романтизма, Суинберн был долго гоним на родине за свой политический радикализм и за смелые уклоны своего этического мировоззрения. Он был мало известен и у нас до эпохи символизма, когда в русских переводах появился ряд его стихотворений, отчасти познакомивших с ним русского читателя.

[1]) Влад. Птицын. «Тюрьмы Приленского края». Путевые наброски. «Северный Вестник», 1889, № 12, стр. 85—101.

[2]) Альджернон Чарльз Суинберн—«Еженедельное Новое Время» 1880, т. VII № 89, стр. 699—703. Стр. также о «Марии Стюарт»,—драме Суинберна в «Заграничном Вестнике» 1881 № 2, стр. 241—244.

Начавший свою литературную деятельность с ряда драм, впоследствии не без успеха выступавший также в качестве литературного критика («Этюды о В. Блэке, 1868, Чапмане, 1875, Шарл. Бронте, 1877, Шекспире, 1879; и т. д.), Суинберн сделался известным, главным образом, благодаря своему сборнику «Поэм и баллад» (1866, второй сборник под тем же заглавием вышел в 1878 г.). В этой яркой и значительной книге оригинально преломились влияния, шедшие одновременно из английской и французской литературы; здесь чувствуются то гневные сарказмы Байрона, то мечтательность Шелли, натурализм Бодлэра, примитивизм и философская углубленность «прерафаэлитов», риторическая декламативность Гюго. Это сочетание столь разнородных влияний чрезвычайно неожиданно и своеобразно. Его дальнейшее творчество не спаяло в одно целое все эти разнообразные элементы; однако, отзвуки разнообразных поэтических систем, школ и направлений, порой исключающих друг друга, прекрасно уживаются в его стихах, подобно тому, как могли совмещаться в его мировоззрении самые крайние полюсы отрицания и веры. И если мировоззрение это так и не получило цельности и единства, то Суинберн-писатель имеет все же своеобразное и неповторимое поэтическое лицо. Пафосом своих деклараций, вдохновенной убежденностью своих стихотворных проповедей он сумел сделать привлекательными самые противоположные философские устремления.

Кошуту, Мадзини, Гарибальди, Орсини, Луи Блану он посвятил стихотворные послания. В одном из своих стихотворений («A Song in Time of Order », 1852), написанном вскоре после декабрьского переворота во Франции, он мечтал о том времени, когда *«скамейка каторжной галеры будет скрипеть от сидящего на ней папы, а ублюдок Бонапарт, вися в петле, будет качать своими пятками»*, в другом—о республике всего мира и братском единении всех народов.

„О, ясная республика мира, ставшего белым!
О ты, свобода, откуда бьют ключи души!
Хвалите землю ради человека и ради земли хвалите человека!"...

(„Ева Революции").

Но все эти прославления мятежа и революционной страсти, социальные утопии и недвусмысленные предсказания прекрасно уживались в его стихах вместе с националистическими порывами и самым пламенным патриотизмом, и порой он слагал поэмы на темы национальной истории и пел гимны величию и политическому могуществу современной ему Англии: так, в поэме «Армада» рассказано о гибели испанского флота у английских берегов, об этой знаменитой победе королевы Елизаветы над Филиппом II, решившей борьбу за владычество над морями; прославивший 50-ти летний юбилей королевы Виктории (« The Commonweal»), Суинберн несколько раз выступал в печати в качестве ее защитника и палладина. Одно из таких выступлений Суинберна связано с русской литературой. «У Суинберна»,—рассказывает Васильев[1]),—*«есть стихотворение* «Белый царь», в высшей степени враждебное России. В нем Суинберн грозит Александру II участью Филиппа II, осмелившегося воевать с английской королевой. Оно представляет собою ответ на то русское стихотворение, враждебное королеве Виктории, которое в переводе появилось в одном английском журнале в 1879 году; в раз'яснении, ко-

[1]) См. статьи Васильева в сборн. «Творчество», Казань. 1909, стр. 135 и «Вестник Европы», 1909, № 8, стр. 520.

торое Суинберн предпослал своему стихотворению, он указывает, что ему, как республиканцу, было всего удобнее «ответить на оскорбление московита по адресу английского монарха». Едва ли, однако, стихотворение русского поэта, на которое отвечал Суинберн, было «Крокетом в Виндзоре», известным стихотворением И. С. Тургенева, как это предполагает Н. Васильев. «Крокет в Виндзоре» был написан «под влиянием вычитанных из газет болгарских ужасов» и, действительно, направлен против королевы Виктории, но хотя И. С. Тургенев и сообщал брату уже 21 декабря 1876 г., что «эти вирши облетели всю Россию»[1]), были читаны на великосветских вечерах и вскоре же «переведены на немецкий, французский и английский языки», но из этого же письма мы знаем, что цензура «воспрепятствовала их напечатанию», и что в России они впервые увидели свет только в 1881 году[2]). Едва ли, таким образом, это стихотворение могло быть помещено в английском журнале до своего напечатания в России. Скорее всего Суинберн имел в виду стихотворение Аполлона Майкова «Императрица Индии» («The Empress India »), помещенное в майской книге «Русского Вестника» за 1877 год, которое начиналось следующими стихами:

Зовись—преемницей пророка
Зовись—избранницей богов,—
Не быть царицею Востока
Тебе в глазах его сынов!..

Стихотворение это, написанное под влиянием англо-русских пререканий конца 70-х г.г., возникших, как сказано выше, на почве восточной политики, поэт кончал указанием именно на «белого царя» и его, якобы, популярность в глубинах Азии:

Там верят искони завету,
Что вот близка-близка заря,
И царство тьмы уступит свету,
Господству белого царя.

Ответ Суинберна на пророчества Аполлона Майкова, задевший его национальные пристрастия, был не единственным его стихотворением, посвященным России. На закате своей деятельности он создал свою оду «Россия», которая оставила позади все, что было им раньше высказано о ней. Она подвела итог его отношениям к этой стране и с гневной страстностью и силой заклеймила позор сибирской каторги и ссылки. Поэт обрушился теперь на русское правительство за формы борьбы, которую оно вело с революционным движением и, подобно своему французскому собрату и учителю Виктору Гюго, взял под свою защиту побежденных. Поводом к ее созданию, как указано выше, была статья Ланина в «Фортнайтли Ревью», с ее обширными цитатами из русских и английских источников, подсказывавшими выводы и освещение темы. Но к ним Суинберн был уже подготовлен и ранее своими революционными симпатиями, своей старинной враждой к России, питавшейся настроениями его эпохи, наконец, и задорным хвастовством русского поэта. Только взаимодействие этих причин могло довести Суинберна до такой предельной остроты в чувствах ненависти и возмущения. И как в его ранних стихах сочетались влияния различных поэтических школ, так сочетались они и в его старческой оде, словно для того, чтобы еще более усилить резкость его нападений и угроз. Поэт использовал все средства политической

---

[1]) «Русская Стар.» 1885, № 10.

[2]) «Слово» 1881, № 4, стр. 135-136, в «Стихотворениях» И. С. Тургенева, изд. С. Н. Кривенко, СПБ. 1891, стр. 205-206.—Дата первого появления в печати «Крокета в Виндзоре» указана неверно.

инвективы, завещанные ему английской литературой байроновской эпохи и традициями французского романтизма, наконец, призвал в свидетели величайшего поэта средневековой Италии и, словно от его имени, произнес свои проклятия и приговор.

5.

«Россия» Суинберна, написанная в дантовских тонах, с трудом поддается переводу на русский язык. Музыка его стиха, необычайная резкость и сила его образов едва ли передаваемы на другом языке. Нижеследующие отрывки оды в прозаической и по возможности наиболее точной передаче английского текста могут дать только приблизительное представление об этом произведении.

Нужно думать, что выражение Ланина о Сибири, как о «настоящем аде на земле», заимствованное им из книги Де-Виндта[1]), было тем поэтическим зерном, из которого выросли первые строфы оды Суинберна. Случайно данный поэтический образ повлек за собой другие, и они развернулись, наконец, в широкую картину, полную самой жестокой выразительности:

Из ада, шипя, вышло слово, мрачное, как рок,
Бешеное, как огонь, мерзкое, как чумно-подобный мрак,
Из ада, где безвинно-приговоренные, осужденные на вечное проклятие
Терпят муку, сильнее тех нечистых страданий, какие когда-либо грех м г себе представить.

В сознании возникают картины Дантовского ада, все его девять кругов наказаний и ужасов, но и они кажутся идиллическими в сравнении с теми, какие рисует нам сибирская действительность:

С тех пор, как вопль раздался на морях и землях,
Уши не слыхали, уста не говорили о подобных ужасах.
Данте, очарованный созвучьем любви и ненависти,
Спускающийся в адские глубины по омерзительным путям,
Где над ручьями крови дождь был огнем,
Где черепа грешников были покрыты калом, как болотной топью.
Где грязь грязнее грязи, и ночь темнее ночи,—и он
Не мог бы видеть тех дьявольских глубин, которые выдуманы московитами...
Его смертное видение в сравнении с теми, что они отверзают, кажется бледным.
Чистым и безболезным,
Подобным сновидениям девушки...

Лирическое возбуждение поэта, потрясенного созерцанием этих видений, достигает такой силы, что он не досказывает своих мыслей и словно не успевает подобрать им соответствующую пластическую форму: это вопли безумства и страха. Как новый Данте, стоит он у дьявольских врат, и в бешеном вихре адского ветра несутся перед нами тени осужденных на вечную каторжную муку:

Девушки, умершие под ударами плети, жены,
Истерзанные более смертельной мукой, чем смерть сама.
потому что позор их переживает,
Нагие, безумные, голодные, избитые, презираемые, замерзшие, падшие, обесчещенные
Души и тела! Они растерзаны как-бы клыками зверей!
Стоны, которым ад отказался бы внимать!.. Видения, которым никакая мысль не может дать образ и форму!..

И поэт бешено клеймит свирепствующее преступление и позор, которому оно радуется:

---

[1]) «The Fortnightly Review» 1890 Zoly, p.21; De Bundm, From Pekin to Calais, London 1889, p. 363 : речь идет о Карийской каторге.

И старость, и младость уравнены здесь в правах мучений:
—девушки и юноши.
Но это должно быть еще хуже, гораздо хуже, чем оно есть в действительности.
Докажи это, сидящий на троне! Россия—хвали милосердие твоего царя!

Первая часть оды окончена, тема дана. Фантазия поэта еще не погасла, но уже пролилась волна первых проклятий; лирическое потрясение чувств сменяется теперь более спокойным созерцанием: поэт получил, наконец, возможность думать над тем, что он видел. Это, так сказать, философское интермеццо, раздумье поэта, остановившегося перед адскими воротами, прежде, чем итти дальше и пророчествовать в исступлении:

Сыны человека, мужи, рожденные от жен, осмелимся ли мы
Сказать, что грешат те, которые рискуют быть убитыми и не смеют щадить?
Те, которые отдают свою жизнь, улыбаясь смерти,
Те, которые считают жизнь ничтожнее вздоха во сне...
Так: быть может, их жизнь или смерть смогут вдохновить
Веру и надежду тем, которые умирают. Если мечта не становится действием,
Смерь ничто, и жизнь ничто, и судьба ничто...
У всех душ, которых любовь облекла в огонь ненависти,
— Их созерцай, взвешивай, испытывай,—ты не найдешь ничего,
Кроме мысли, горящей огнем и освещенной светом надежды.

«На небе нет помощи», доказывает поэт, «земля не видит больше мирной звезды утешения, земля—ад, и этот ад преклоняется перед царем» Все чудовища, развратители и убийцы целой Европы ободряют того, чья империя живет, чтобы увеличивать его огненную славу; но не все участвуют в хоре согласных ему хвалений; и в Англии найдутся люди, которые будут стоять за тех, кто вступит с ним в неравную борьбу:

Здесь, где люди могут поднять глаза, чтобы приветствовать солнце,
Ад отступает, пораженный до глубины сердца: ужас хуже ада
Затемняет землю и сжимает сердце неба: жизнь знает колдовство,
Содрогается, робеет и исчезает или, наполненная огненным дыханьем,
Подымается красная, в вооружении смерти...
Жалость, безумная от страстей, страданье, безумное от стыда,
Взывают громко к правосудию, его темному имени.
Любовь становится ненавистью ради любви: жизнь берет себе смерть в руководители.
Ночь имеет лишь одну красивую звезду - тираноубийство.

Таков вывод, к которому приходит поэт. Ему необходимо внушить его тем, кто в нем больше всего заинтересован. Вот почему и третья часть оды обращена к этим «безвинно томящимся» в земном аду и представляет собою проповедь к восстанию, революции, цареубийству. Поэт ораторствует, точно с трибуны, и обращается то к своей аудитории, то к властителям и судьям:

Бог или человек, не медли: надежда не терпит промедления,
Ударь и подвергни его, стенающего, вслед за отцом!
Пади, о небесный огонь, и порази, как пламя ада,
Чертоги, в которых обитают людские палачи, коронованные и лелеемые,
Тех, которые притаились и дрожат, облеченные властью,
Тех, всемогущих, которых ужас гнетет и гонит,
Тех, которых жизнь отражает в страхе, жизнь их жертв,
Тех, которых царствование есть разрушение, и чье слово—смерть,
Тех, которых должна поразить человеческая рука, если божья щадит!
Такие от сердец, иссушенных ужасом, как огнем,
Поднимаются песни неутомимого желания....

«Долой царей! Напрасно промедление!»—в экстазе восклицает поэт. «Велите Александру II указать путь его сыну!». «Смогли ли бы мы порицать цареубийц? Показалась ли бы нам эта расправа с деспотизмом, столько времени напрасно щадимым, незаконной и несправедливой? Нет, мы не осме-

лимся удержать тех, чьи отцы умерли, убивая, чтобы сделать нас свободными».

Мы, не взирая на весь свет, не могли бороться иначе.
Не могли льстить и целовать руки, которые убивают,
Не могли встречать вооруженного врага в освещенной солнцем битве...
Солнце жизни еще только восходит, темное, как страх и багряное, как ненависть.
Жизнь—это то, что побеждает, смерть—это то, что побеждено...

Такова ода Суинберна. В ней оживают сарказмы Байрона, когда-то проклинавшего Сибирь и русского императора, посылавшего туда в изгнание, реторика и декламация В. Гюго, величие Дантовских терцин...

Ода Суинберна произвела сильное впечатление на английских читателей и вызвала даже тревожный парламентский запрос: в Англии опасались, что в ней найдут повод для новых политических осложнений. Однако, опасения эти были напрасны: запрос не имел успеха. У нас нет никаких данных, чтобы судить как отнеслись к оде в России. Вернее всего ода Суинберна оказалась слишком откровенной и смелой для того, чтобы вызвать официальную отповедь или даже поэтический отклик. Мне, по крайней мере, не встретилось упоминаний о ней в русской печати, кроме случайного указания А. Н. Пыпина[1]). О ней ничего не говорит и Васильев в своих статьях о Суинберне.

---

[1]) А. Пыпин. «История русской этнографии». Т. IV, СПБ. 1892, стр. 321, прим.

МАРК АЗАДОВСКИЙ

Три записки Чернышевского

В об'емистом деле Иркутского окружного Архивного Бюро, носящем несколько ироническое заглавие «Дело об облегчении участи государственному преступнику Н. Г. Чернышевскому», среди многочисленных рапортов, донесений, сведений о поведении, отчетов в израсходованных командировочных суммах на сопровождение Чернышевского и т. д., и т. д., хранятся три собственноручные записки Чернышевского, до сих пор не известные еще исследователям и являющиеся довольно любопытным документом для характеристики его вилюйского быта. Приводим их полностью:

I.

Алексей Никитич!

Когда приедет Капелла, потрудитесь показать ему следующие мои вопросы:

1. Не говорил ли ему кто-нибудь, чтоб он остерегался меня? Если было ему говорено это или что-нибудь такое, то

2. Может ли он сказать Вам для передачи мне, кто именно говорил ему? Если же не было говорено ему это или, если он полагает, что говоривший был дурак, сказавший глупость, которую не должно принимать во внимание, то

3. Расположен ли г. Капелла решиться принять меня, одного, не сопровождаемого ни Вами, никем другим из полицейского ведомства?

4. Если «да», то когда у него будет время принять меня.

11 марта, 1878.

Ваш Н. Чернышевский.

II.

Прислать мне из аптеки:
английского пластыря
(Emplastrum adhaesivum anglicum)
(лоскут хоть с половину этого листка).

Железа нет в аптеке?

Я так и полагал, но все-таки следовало уведомить меня о том. Неровен час, если я утолю то, чем грозил,—напишу в Петербург, в Медицинский Департамент, то от'езд из Вилюйска и самый выход в отставку не спасет Бергмана от страшной ответственности. Я добр. Но иной раз, я не сдержу справедливого гнева.

Н. Чернышевский.

(Сбоку): Отдать Афанасьеву. Он должен показать Бергману.

III.

Алексей Никитич!

Потрудитесь потребовать от моего имени, чтобы г. Капелла назначил время, когда зайдет ко мне, взявши с собой полицию.

Не имея привычки делать что-нибудь неприятное кому-нибудь, не предупредивши то лицо, о моем намерении, считаю обязанностью предупредить г. Капеллу, что прежде, нежели вверить ему свое здоровье, я сделаю ему маленький экзамен из медицинских основных идей. Разговор будет о нынешнем состоянии медицинских знаний.

Я надеюсь, что г. Капелла выдержит это маленькое испытание с честью. Но во всяком случае оно будет для него как-будто унижением, происходя при посторонних. Я хотел избавить его от этой неприятности, желая говорить с ним наедине.

И не я, надеюсь, и не сам он виноват в том, что эта неприятность не отвращена от него иною.

Пусть не опасается экзамена. Я буду деликатен по форме речи, снисходителен по сущности моего суждения.

Но я буду записывать мои вопросы и его ответы?

И дам ему и присутствующим полицейским чинам подписать записанное.

20 марта, 1878.

Ваш Н. Чернышевский.

В нашем распоряжении нет материалов, которые позволили бы установить с достаточной точностью те факты, которые вызвали настоящую переписку, но определить ту обстановку, тот фон, на котором они создались, более или менее возможно, и это следует сделать.

История перевода Чернышевского в Вилюйск и его там пребывание неоднократно уже излагалось в печати. Впервые она была изложена неизвестным автором, скрывшимся под псевдонимом N в журнале «Минувшие Годы» (1908 март) по архивному делу Якутского областного управления; там же была опубликована и инструкция «Для наблюдения за государственным преступником, Чернышевским». Затем ряд ценных дополнений был сообщен по материалам Вилюйского архива врачом А. М. Серебренниковым на страницах «Сиб. Архива» (1912, август). Наконец, опубликованные Е. Ляцким письма Чернышевского из Сибири дали возможность восстановить общую картину положения знаменитого писателя в Вилюйске (ранее эти материалы были использованы в статьях Русанова—«Чернышевский в Сибири», печатавшихся в «Русском Богатстве» (1910, март-апрель).

Эта картина недавно была пополнена сыном писателя, недавно скончавшимся, М. Н. Чернышевским, по документам III отделения («Былое», 1924; май). Кроме того, об этом же периоде сохранился ряд воспоминаний разных лиц. Сводка всего этого материала сделана в статье Е. Кон—«Чернышевский в Вилюйске» (в сборнике «В Якутской Неволе», 1927 г.).

Опираясь на эти материалы, напомним некоторые основные факты, связанные с переводом Чернышевского в Вилюйск и его тамошней жизни.

Срок пребывания Чернышевского на каторге оканчивался в 1870 г. (точно: 10 авг. 1870). Последний год и, особенно, последние месяцы Чернышевский жил почти исключительно мечтой о предстоящей перемене судьбы.

«Мысль о том, что скоро он получит возможность жить с семьей и посылать свои работы без посредства жандармских рук,—пишет Е. Ляцкий,—сильно занимала его. Он надеялся, что его поселят в Иркутске или где-нибудь около Иркутска, словом, ближе к России, где он не будет так отрезан от всех умственных интересов. Туда, мечтал он, переселится к нему семья, и он будет работать так, как не работал никогда. Он чувствовал, что работа его нужна родине, и мысль об этом настолько заполняла его сознание, что сравнительно с нею забота о личном благополучии казалась ему ничтожной».

«За тебя я жалею, что было так», писал он жене,—«за себя самого совершенно доволен». И это была не фраза; прошли целые девять лет тяжелой неволи. Но разве бы он согласился вычеркнуть из своей жизни тот «переворот», который, подвергнув семью его лишениям, явился следствием убеждения в его необходимости? «А думая о других, об этих десятках миллионов ни-

щих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их» («Чернышевский в Сибири». Переписка...1, стр. XXXVII).

От этих мыслей он переходил опять к мечтам о совместной жизни: «Я уже не молод, мой друг,—писал он,—но помни: наша с тобой жизнь вся еще впереди». Чрезвычайно характерно письмо его от 5 июля 1870 г., не дошедшее по назначению, так как было задержано III отделением, и только в 1924 г. опубликованное М. Н. Чернышевским. Позволим себе привести подробную выдержку из него.

«Устроившись на новом месте, буду иметь право и возможность трудиться для выполнения моих обязанностей перед тобою и детьми. Здоровье мое хорошо, и надеюсь долго останется хорошо. Я не тратил его в молодости на обыкновенные дурачества юношей; ни разу в жизни не изменил правилам нравственной и физической гигиены... Что такое усталость от занятий, я не знаю и еще много лет не буду знать. Успею, моя радость, вознаградить время, прошедшее для меня без работы. Миллионов рублей не приобрету, и не нужны они! Но сколько надобно будет приобретать, буду зарабатывать без утомления себя...».

В этом же письме—советы и практические указания Ольге Сократовне, когда и как выезжать, как заручиться разными гарантиями из Петербурга, к кому обратиться по этому поводу и т. д.

Всем этим мечтам и надеждам осуществиться не было суждено. III отделение усиленно подбирало всякие сплетни и слухи, подтасовывало факты, чтобы как-нибудь доказать невозможность пребывания Чернышевского вне стен тюрьмы и, во всяком случае, в условиях, обеспечивающих ему хотя бы сравнительную свободу. Так как из Сибири приходили донесения, рисующие в выгодном свете поведение Чернышевского на каторге, сибирской администрации были сделаны соответственные, осторожные внушения и указания, довольно быстро и успешно усвоенные последней. Не отказываясь от прежних отзывов о «хорошем и благоразумном поведении» Чернышевского, сибирская администрация, в лице жандармского полковника Купенкова и ген.-губ. Корсакова, добавляла, тем не менее, что:

«...Настоящее, хорошее поведение, при ограничении личной свободы тюремным заключением, *не может служить порукою за их нравственное исправление* (Речь шла также и о других политических заключенных: Васильеве, Волкове, Огрызко и Дворжаке), поэтому, в случае обращения этих лиц на поселение, нельзя поручиться, что оные не совершат побега или какого-либо другого преступления, так как надзор за преступниками, проживающими на свободе, крайне затруднителен и при обширности и малонаселенности здешнего края, а равно при нахождении в среде коренного населения массы ссыльных русского и польского происхождения *вполне надежно обеспечен быть не может*».

Так была решена участь Чернышевского. Осенью 1870 года Корсаков сам отправился в Петербург, и там было выбрано для Чернышевского соответственное место. Решено было отправить его в Вилюйск, 7 декабря 1870 г. Чернышевский был «сдан под квитанцию» штабс-капитану Зейфарту для доставки из Александровского Завода в Вилюйск, и 11 января уже снова сдан «под квитанцию» вилюйскому окружному исправнику.

«*Так,—пишет Н. Г. Чернышевский,—были разбиты мечты об улучшении участи*, о возможности снова заняться литературным трудом, о возобновлении семейной жизни. 11 января 1872 г. начался новый период сибирской жизни Чернышевского—Вилюйский, еще гораздо более тяжелый, чем прежний, и продолжался уже не семь лет, а почти двенадцать, вплоть до разрешения в 1883 г. переезда в Астрахань» («Былое», 1924, V, стр. 43).

Все это достаточно об'ясняет то душевное состояние, в котором приехал Чернышевский в Вилюйск. Вилюйский период жизни Чернышевского более ли менее освещен и известен. Но все же еще далеко не все нам ясно. В частности

не ясна до конца и та, видимо, огромная борьба, которую приходилось вести Чернышевскому за осуществление самых элементарных прав личности. И в таких случаях обычно мягкий, деликатный, чрезвычайно внимательный к каждому человеку, кто бы он ни был, не исключая и своих жандармов, Чернышевский делался резким, жестким и даже нарочито суровым и жестоким. Ярким примером может служить столкновение с жандармом Ижевским. Этот эпизод также уже неоднократно излагался, но его следует напомнить.

Сущность его в следующем. Осенью 1872 г., т.-е. в первый год пребывания Чернышевского в Вилюйске, жандарм, приставленный для охраны Чернышевского, «донес» об его умопомешательстве. Это донесение тогда же местной властью было протелеграфировано в Иркутск, а оттуда в Петербург. Основано это было на следующих фактах:

Ижевский доносил, что с некоторого времени Чернышевский при разговоре с ним выражает какие-то непонятные слова, «а в это время весь сам трясется, как-будто бы подвергнувшись полному умопомешательству»; заявляет, что ему зарезать человека ничего не стоит, стал сопротивляться тому, чтобы дом, в котором он находится, на ночь запирали на замок, требовал письменного распоряжения, на основании которого это производится, и однажды в 5 часов утра стал ломать замок железными щипцами и при этом кричал на свою стражу: требовал, чтобы Ижевский «делал ему при встрече фронт, как начальнику, или отходил от него в сторону», и что он, наконец, «желает быть каким-то начальником, которому бы все повиновались».

М. Н. Чернышевский дает этому инциденту очень сложное и трудное об'яснение. По его мнению, Чернышевский не сразу понял, что с ним делают и на основании чего, вместо облегчения условий жизни, везут на север. Когда же, наконец, он понял, что сделался жертвой произвола III отделения, то не мог остаться хладнокровным и хотел «добиться признания этого произвола со стороны охранявших его лиц и требовал от них пред'явления ему письменного распоряжения, на основании которого он посажен в тюрьму». Не получив его, стал демонстративно ломать замок у входной двери. По толкованию М. Н., он «демонстративно выказывал свою напускную свирепость, желая обратить на себя внимание высшего начальства и побудить его яснее высказать свое отношение к нему». Цель его была вполне достигнута,—продолжает М. Н. Чернышевский,—«по крайней мере, в том отношении, что через несколько месяцев ему стало уже вполне ясно, что все принятые меры для стеснения его жизни исходили не от местных властей. Он понял, что его мечты разбиты и что его решили сгноить в Вилюйске» («Былое», 1924, V, с. 46).

Об'яснение М. Н. Чернышевского вызывает целый ряд возражений. Едва ли Чернышевскому понадобился такой сравнительно большой промежуток времени (с декабря по сентябрь), чтобы убедиться в том, что он стал жертвой произвола III отделения; едва ли нужен был для выяснения этого такой сложный и окольный путь; затем, как ни преувеличены явно факты в донесении, все же они, несомненно, правильно выражают ту крайнюю степень раздражения и негодования, до которой был доведен Чернышевский. По предложению же М. Н. Ч—го, все это проделывалось им сознательно, в целях протеста и желания добиться истинных причин принятых в отношении его мер. Едва ли можно было рассудочно привести себя в такое состояние, а заниматься притворством было слишком не в характере Чернышевского, да и какая-то странная выходила игра или система. Наконец, у Чернышевского были и другие способы установить то, что его интересовало.

Думается, что все это можно об'яснить и проще, как это отчасти и делал Ляцкий. Это было простое естественное реагирование и возмущение против грубых действий местных властей, которые те позволяли себе на первых порах. Едва ли нужно доказывать, что такое требование, какое якобы пред'явил Чернышевский, как требование фронта от приставленного к нему жандарма, явный вздор, хотя его упорно повторяли в своих донесениях якутские и иркутские власти, не так легко могло преломиться в сознании грубого жандарма требование вежливого и корректного обращения, которое, несомненно, было ему пред'явлено Чернышевским. Характерно, что местная администрация именно в таком духе и поняла впоследствии этот эпизод; по крайней мере, в результате расследования было сделано соответственное внушение охране.

Якутский губернатор Де-Витт доносил генерал-губернатору Восточной Сибири по этому поводу:

«... Вместе с сим я подтвердил, окружному исправнику Амосову, согласно инструкции Вашего Высокопревосходительства о Чернышевском, принять зависящие меры, чтобы приставленные к нему лица обходились с Чернышевским, как только возможно кротко и вежливо, и чтобы жандармский унтер-офицер Ижевский, живя с ним в одном доме, сопровождал бы его незаметным образом в прогулках и при отлучках из дома, чтобы не раздражать Чернышевского и не придавать вида арестанта, а урядникам поставить в обязанность исполнять поручения Чернышевского, если они не будут заключать в себе ничего противозаконного...».

Впрочем, далее в этой же бумаге подтверждалось о необходимости запирания дверей в ночное время на замок, хотя это как-будто и противоречило основному положению о не придавании Чренышевскому «вида арестанта».

Едва ли приходится сомневаться, что такие случаи, когда Чернышевскому приходилось решительно отстаивать свое человеческое достоинство и давать суровые и резкие уроки местной администрации, были далеко не единичными. Известно, напр., об его столкновении с губернатором по поводу написанной Чернышевским жалобы на имя шефа жандармов. Губернатор соглашался отправить жалобу, но при соблюдении целого ряда поставленных им условий и оговорок. По этому поводу, Чернышевский на представленной ему бумаге написал:

«Ни запрещать, ни разрешать мне писать к г. шефу жандармов Якутский губернатор не имеет права. Он будет поступать хорошо, если прежде чем подписывать относящиеся ко мне бумаги, сочиняемые в областном Якутском правлении, будет отдавать их на просмотр людям, более сведущим в законах, нежели чиновник этого управления, очевидным образом плохо знающие законы» («Сиб. Арх.». 1912, VIII, стр. 602).

Очевидно, к категории таких же эпизодов относится и случай с доктором Капеллой, о котором свидетельствуют напечатанные выше письма. Более конкретно освоить его пока не удается. В «деле» к этому эпизоду относится только одна бумажка, которую и приводим полностью:

М. В. Д.

—

ЯКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Отделение. Стол о Чернышевском.

18 апр. 1878 г.

№ 70

ЯКУТСК.

22 мая 1878

СЕКРЕТНО.

1. Генерал-Губернатору Восточной Сибири.

Во исполнение предписания от 18 ноября 1871 г. за № 82, имею честь донести Вашему высокопревосходительству, что государственный преступник Чернышевский,—как донес Вилюйский окружной исправник, –от 31 марта с. г., за № 604, находится в ка

кои-то возбужденном состоянии, что подтвердилось и обстоятельствами, введенными им в переписку, при сем представляемую от 11, 12 и 20 марта, с жандармским унтер-офицером, Алексеем Абрамовым, рядом с его комнатою живущим, по поводу желания Чернышевского видеться с исправляющим должность Инспектора Медицинской части, врачом Капеллой, находившемся в г. Вилюйске по делам службы. Но так как Капелла при выезде из Якутска в Вилюйск моего разрешения на свидание с Чернышевским не имел, то и не решился взять на себя ответственность на личное свидание с Чернышевским. Ныне же Вилюйский окружной исправник от 5 апреля, за № 665, донес, что Чернышевский находится в настоящее время в нормальном состоянии здоровья.

(Подписи).

В письмах Чернышевского к семье за этот период также не содержится никаких указаний, которые помогли бы расшифровать подробнее эту историю. Из письма от 25 февраля 1878 г. мы узнаем только, что Чернышевский страдал скорбутом, и беседы его с предшественником врача Капеллы были весьма малоплодотворны.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Дело, из которого извлечены приведенные выше документы, дублирует в общем почти все основные документы, хранившиеся в Вилюйском и Якутском архивах и воспроизведенные N и А. М. Серебренниковым; частично (в большей части) оно соответствует и делу III отделения, обследованному и опубликованному М. Н. Чернышевским. Но наряду с этим, в нем имеется еще ряд любопытных материалов, которые представляют несомненный интерес для изучения сибирского периода жизни Чернышевского.

Из таких документов особенный интерес представляет до сих пор ни разу не воспроизводившийся отзыв коменданта нерчинских заводов, по запросу генерал-губернатора Восточной Сибири в связи с приближающимся сроком окончания пребывания Чернышевского на каторге. Приводим его полностью:

УПРАВЛЕНИЕ КОМЕНДАНТА
НА
НЕРЧИНСКИХ ЗАВОДАХ

3 сентября 1868 года

№ 1041

В з. Александровском

СЕКРЕТНО 15—19 сентября.

Господину Генерал-Губернатору
Восточной Сибири
Нерчинского Коменданта

РАПОРТ

Во исполнение предписания г. Председательствующего в Совете Главного Управления от 12 августа № 1135 (полученного 2 сентября) относительно государственных преступников *Николая* **Чернышевского,** Николая **Васильева** и Николая **Волкова,**—честь имею почтительнейше донести Вашему *Высокопревосходительству*, что во все время нахождения их здесь как при мне, так—как оказалось по справкам—и за время прежнего их пребывания, вели себя очень хорошо; содержатся в тюрьмах. Чернышевский отдельно от всех прочих преступников под особым, вследствие предложений г. Председательствующего, бдительным надзором.

Что же касается вопроса о том, заслуживают ли помянутые преступники облегчения их участи, согласно Высочайшему повелению 25 мая, то могу лишь донести, что по благоразумному, безукоризненному поведению и постоянной безусловной покорности их, я считаю обязанностью, представляя участь их на благоусматрение вашего Высокопревосходительства, просить о милостивом воззрении на столько лет, проведенных ими в страданиях телесных и душевных. При чем долгом считаю доложить, что повеление 25 мая, хотя и относящееся собственно до **политических** преступников, но так как Всемилостивейший Манифест 28 октября 1866 года не применен по сие время к преступникам государственным, хотя относится вообще к ссыльно-каторжным, о чем я входил с представлением от 13 марта № 358, то применение к помянутым преступникам означенного повеления 25 мая, по которому они могли быть обращены на поселение, было бы, конечно, высоким для них благодеянием.

При чем дозволяю себе доложить Вашему Высокопревосходительству, что вообще государственные преступники из русских отличаются здесь перед всеми другими кротостью, благонравием, и безропотным перенесением определенного им наказания.

Нерчинский комендант полковник Кноблох.

В печати уже было известно о столкновении Чернышевского с администрацией из-за характера его переписки. Е. Ляцкий так излагает этот эпизод:

«Во второй половине 1878 г. Якутский губернатор (Черняев) обратил внимание на обширность писем Чернышевского. По этому поводу он напоминал исправнику 27 ноября, что на основании правил Чернышевский «имеет право» в письмах своих к родным лишь извещать о своем положении в приличных формах и выражениях, не касаясь рассказов о предметах посторонних; при этом, однако, разрешалось включать приветствия родным и знакомым и домашние семейные распоряжения. В ответ на это Чернышевский заявил, что он может перестать писать вовсе, и, действительно, он не писал родным около полугода» (Письма... III XXV).

Иркутское «дело» дает возможность установить начальный период этой истории и вместе с тем более конкретно выяснить характер этих частично утраченных писем.

М. В. Д. СЕКРЕТНО.

ЯКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отделение 2. Стол 1.

С 8 письмами Чернышевского.

22 апреля 1878

№ 41

ЯКУТСК.

Господину Генерал-Губернатору

Восточной Сибири.

Государственный преступник Чернышевский в письмах своих к детям в виде назидательных бесед помещал свои в ученом смысле рассуждения со вставками мнений и других авторов. Во всем этом ничего предосудительного не было, и письма отправлялись по адресу.

Ныне же с тремя последними почтами из Вилюйска, с 8 марта по 6 апреля, в числе полученных писем от Чернышевского—восемь по рассмотрении обратили на себя особое внимание, собственно, своим содержанием; а именно: под № № 1, 2, 3 рассказ из воспоминаний Чернышевского про своих дедов; под № 4—рассказ Брета Гарта, перевод Чернышевского с английского и под № 5, 6, 7 и 8, уже не есть продолжение бесед с детьми его (как называет Чернышевский), а труд самостоятельный по всеобщей истории с философской точки зрения.

Все восемь писем, подразделенные мной на три категории—рассказ, перевод и философские рассуждения—хотя и не заключают в себе ничего предосудительного, но представляют собой труд самостоятельный, вполне годный для печати, и тем более, что Чернышевский, увеличив число и об'ем своих писем, обещает и продолжение их.

А поэтому и в виду неопределенности § 12 инструкции, присланной при предписании предместника Вашего Высокопревосходительства, от 18 ноября 1871 г. за № 82 и на основании 15 § той же инструкции, имею честь представить все восемь писем на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства и почтительнейше просить указания, как поступать на будущее время с подобными письмами Чернышевского, видимо, переходящими от простых родственных писем и назиданий его детям к авторскому труду.

При этом имею честь почтительнейше доложить, что впредь до получения предписания Вашего Высокопревосходительства по настоящему предмету вновь получаемые подобные письма от Чернышевского мною будут задерживаемы.

Губернатор генерал-майор Черняев.

Начальник отделения (подпись).

Несомненный интерес представляет и сохранившийся «полицейский портрет» Чернышевского.

№	Имя и прозвание	Лета	Прежнее состояние, вина и наказание
	Чернышевский Николай Веры православной Семейство имеет Росту 2 арш. 5 верш. Волосы: на голове, бровях — русые; усах, бороде — бреет глаза серые Нос, Рот — умеренные Зубы—многих нет, *подбородок—круглый* лицо продолговатое лоб малый Особые приметы: под нижней губой маленький, едва заметный шрам. **Поступил на Нерчинские Заводы 3 августа 1864 г.**	40	Бывший отставной Титулярный Советник за злоумышления к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению, за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения, Чернышевский, по Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета, лишен всех прав состояния и сослан из Петербурга в каторжную работу в рудники на семь лет. По прибытии в Иркутск, по постановлению Губернского Правления, состоявшемуся 9 июля 1864 года, назначен в Иркутский солеваренный завод, куда и отправлен 10 того же июля, а возвращен в Иркутск, 22 июля 1864 года.

Плац-ад'ютант Капитан **Щеголев.**

МИХ. НИКИТИН.

Дикий перец

(Антон Сорокин).

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА.

«...Императоры и короли мне не ответили. Ответил только Сиамский король».

Об умерших принято писать трогательные неправды. Это происходит от равнодушия к их памяти.

Антон Сорокин был человеком редкого мужества и писателем редкой правдивости. Я хочу поэтому избежать традиционного вранья в этом рассказе о моих встречах с ним...

...Имя его я впервые услышал на Омском вокзале осенью 1924 года. Я вышел из вагона в хмурое утро. Был мелкий дождь и ветер. Люди шли по перрону, подняв воротники и плечи. На вокзальном крыльце ветер швырнул мне под ноги мокрую афишу. Она прокричала трехвершковым шрифтом:

— Литературный вечер!

Я заинтересовался и развернул ногой афишу. Человек в дождевике встал за моим плечом.

— Знаменитый номер со свечей,—прочитал человек в дождевике,— исполнит известный писатель Антон Сорокин.

Я обернулся и поглядел на чтеца. Чтец поглядел на меня. Пораженные, мы наняли извозчика

Через два дня Леонид Мартынов повел меня к Сорокину. Дорогой Мартынов раскачивался, как старый штурман, и пел морские песни. Незаметно мы пришли к облупленному особняку.

На дверях особняка я увидел стеклянную пластинку с двухвершковой надписью:

АНТОН СОРОКИН.

Предчувствие необычного зрелища потрясло меня. Мартынов постучал дверь. Гулкий грохот разлился в задверной пустоте. Дверь открылась бесшумно.

Она не могла открыться иначе. В ее четырехугольнике встал человек, похожий на персонаж из Гофмана. Он был высок и худ, как виденье. Лицо у него было коричневое, с запавшими висками, огромные стекла пенснэ не закрывали огромных глаз.

— Вы пишите?—спросил человек.

— Пытаюсь!—ответил я.

— Печатаетесь?

— Пытаюсь!

— Меня читаете?

— Пытаюсь!—хотел сказать я, но спохватился во-время и угрюмо ответил:—Читаю!

— Пойдемте в комнату!—сказало виденье.

Мышенок улыбки скользнул в его китайские усики. Он пошел впереди. Походка у него была плывущая.

— Это Сорокин,—шепнул мне Мартынов. Мы вошли в переднюю. Здесь было много дверей.

Дверь, ведущая налево, раскрылась. Я увидел девичьи лица, розовые и смеющиеся. Мне вспомнились стихи:

«Пахнет землей и тулупами
Девушки наших дней!»

— Нам сюда,—сказал Сорокин.

Мы вошли в комнату, тесно заставленную столами. За одним из столов, за пишущей машинкой, сидела женщина, розовая и полная. Над другим столом склонился человек в разорванном френче.

— Художник Безменов,—сказал Сорокин.

Я увидел, что художник рисует. Перед ним лежал лист бумаги и набор кистей. Он беспрестанно менял кисти и тяжело вздыхал.

— Он глухой,—сказал Сорокин.—Я ему выдал удостоверение. Я засвидетельствовал его гениальность.

Столы были завалены газетами. Сорокин прошелся по узкой полоске пола, свободной от столов.

— Что вы из меня читали?—спросил он, остановившись у окна.

— Песни Айдагана,—сказал я, вспомнив книжку «Сиб. Огней», которую перелистал утром.

— Это пустяки,—сказал Сорокин,—прочтите «Хохот желтого дьявола»,—шедевр!

Я стыдливо поглядел под стол. Сорокин переплел худые пальцы и спокойно добавил.

— Вещь замечательная. Написана против милитаризма, а напечатана в первый месяц войны. Редактор «Омского Вестника» напечатал по-недосмотру. Был большой шум.

Художник Безменов глухо вздохнул. Розовая женщина сменила ленту. Ровный голос Сорокина наполнил комнату:

— Я разослал эту вещь всем императорам. Императоры и короли мне не ответили. Ответил только Сиамский король.

— Сиамский король?

— Сиамский король,—подтвердил Сорокин.—Ответ был ерундовый,—книга, за отсутствием русского переводчика, не могла быть прочитана,—вот и все.

Сорокин сделал несколько шагов и встал у стола.

— Сейчас я пишу «Скандалы Колчаку». Вещь замечательная! Двадцать скандалов действительных, тринадцать выдуманных!

Сорокин сел в кресло, спрятал пальцы в рукава и начал рассказывать о скандалах.

Рассказывал он бескровным голосом. Я слушал его и не верил. Я не мог поверить, что этот скромный человек с тихим голосом осмелился провоцировать колчаковцев, ставя их в нелепое положение.

Рассказ длился долго. Сорокин остановился на переходе своем в японское подданство, когда в комнату вошел мой спутник.

Я облегченно вздохнул. Мы распрощались с хозяином и пошли к дверям. Он остановил нас и подал мне газетный сверток. Я развернул газету и обнаружил фотографии.

Это были репродукции бредовых рисунков и автопортреты. Портретов было не менее пятнадцати.

— Зачем вы это делаете?—спросил я, указывая на портреты.

Грустная улыбка тронула китайские усы.

— Я делаю это двадцать лет,—сказал Сорокин,—у меня такая система.

Он помолчал и облегченно добавил:

— Я аккуратен, как немец.

ШУТ БЕНЕЦЦО.

...«Я поставил такую драму, с которой зрители ушли, возмущенно свистя, а драма была неплохая»...

Года три тому назад в «Советской Сибири» была напечатана статья об Антоне Сорокине с характерным заголовком—«Писатель или графоман»?

Сорокин, конечно, не был графоманом. Издание его книг, которое, вероятно, будет предпринято, с совершенной очевидностью обнаружит, что в его лице литература потеряла чрезвычайно своеобразного писателя. Тогда несомненно рассеется представление о Сорокине, как о человеке, пораженном «манией величия».

Антон Семенович был скромным человеком. Действия его, породившие легенду о маниачестве, были формой писательской самозащиты.

Как возник его первый чудаческий жест?

Надо знать условия, в которых вырос Сорокин.

Он родился в городе Павлодаре. В этом городе, обильном пшеницей и мельницами, семья Сорокиных была наиболее богатой. Купеческое могущество семьи основал дед писателя—Антон. Это был известный скотовод, владевший табуном из одиннадцати тысяч лошадей. Сибирский конквикстадор, завоеватель киргизских земель, он оставил наследникам огромный капитал.

При наследниках торговые дела осложнились, семья Сорокиных сильно разрослась. Родственные отношения запутались. Возникла необходимость раздела. Все это создавало тяжелую обстановку в семье.

Антон Семенович часто говорил, что он был чужим в своем доме. Однажды он рассказал мне эпизод из своего детства.

От скуки он заключил с братьями пари на двухмесячный отказ от употребления сахара... В случае проигрыша, братья уплачивали двадцать копеек.

Мальчик выиграл пари. Братья посмеялись над ним, а двадцать копеек не отдали. Обида заставила его привыкнуть к одиночеству.

В восемнадцатилетнем возрасте Антон Семенович написал монодраму «Золото». Она была принята в театре Евреинова и имела успех. Это решило судьбу Сорокина.

Он стал писателем. Родные осмеивали его писательство. Его заставляли торговать солью. Он об'явил войну родне.

В драме «Корабли, утонувшие ночью», он разоблачил семейные тайны Драма была построена на материале коллективной биографии купеческого рода. Произошел скандал. Купечество взволновалось. В домах со стопудовыми дверями было произнесено спасительное слово:—сумасшедший!

Так он стал «сумасшедшим». Слово привилось. Слово проникло на улицу. Это привело к тому, что писатели начали его бойкотировать. Журналы закрыли для него свои страницы. Он остался один.

Что оставалось делать? Антон Сорокин изобрел «стенгазету». Он стал писать на заборах. Он писал афоризмы и плакаты. Это были первые в России стенгазеты. Но тогда Россия стенгазет не признавала.

Улица срывала плакаты писателя. Он вывешивал новые. Он был неутомим и аккуратен. Так он воевал с улицей. Так он выработался в «мастера скандала».

Во время колчаковщины это мастерство ему пригодилось. В организации скандалов Колчаку видна высокая техника. Вспоминая об этих скандалах, Антон Семенович с удовольствием говорил:

— Шедевр!

Именно в то время он издал свой манифест *шута Бенеццо* и *короля писателей*. Одевая колпак трагического шута или шутовскую корону короля шестой державы, он умело дразнил колчаковцев. Это был его способ борьбы.

В 1922 году возник журнал «Сибирские Огни». Сорокин был привлечен к сотрудничеству. Рассказы его стали печатать, и он прекратил «скандальную деятельность».

В мое время Сорокин не устраивал скандалов.

— Теперь нет необходимости,—говорил он деловито.—Отношение ко мне хорошее, рассказы мои печатают, а советскую власть я признаю, потому что она идет против золота.

Последние три года Антон Сорокин жил спокойно. Он писал в газетах, издавал стенгазету в своем учреждении, ходил на собрания и принимал писателей.

...Начинающим авторам Сорокин говорил:

— Редакторам верить нельзя. Журналы меня бойкотировали. Рассказов моих не принимали. Тогда я подписывал рассказы чужой фамилией, и рассказы шли.

Он ходил по улицам в своей жеребковой дохе. Рядом с ним шагала репутация сумасшедшего.

Он ходил с этой репутацией, как каторжник с ядром.

Обо всем этом Антон Семенович сказал так:

— Я поставил такую драму, с которой зрители ушли, возмущенно свистя, а драма была не плохая.

ДОМ И РАССКАЗЫ.

«...Дом мой построен с фокусом. Так же построены мои рассказы»...

В 1925 году Омский Горкомхоз вернул Антону Сорокину его дом, который в свое время был муниципализирован.

— Я переселился в свой дом,—сказал мне Антон Сорокин,—приходите, дом у меня замечательный, построен на литературный заработок.

Дом, действительно, был замечательный. С улицы он казался огромным. Но я поднялся во второй этаж, и тогда обнаружил, что второй этаж состоит из двух крохотных комнат.

— А где же другие комнаты?—спросил я простодушно.

— Других нет,—ответил Сорокин:—мой дом состоит из двух комнат, а стен в нем три.

— Три!

— Успокойтесь,—сказал Сорокин,—я вам сейчас об'ясню.

Он спрятал пальцы в рукава и начал об'яснять.

— Мой дом примкнут к дому брата. Четвертая стена принадлежит доктору Сорокину, у меня же только три стены.

Сорокин улыбнулся в китайские усики и лукаво добавил:

— Мой дом построен с фокусом. Также построены мои рассказы.

Рассказы Сорокина действительно напоминают дома о трех стенах.

Он был большой домосед,—король писательский. Достаточно сказать, что когда полиция пришла к нему за подпиской о невыезде, он с гордостью заявил:

— Я двадцать пять лет не выезжал из своего дома!

Отсюда понятно, почему в рассказах Сорокина недостает четвертой стены. Он строил рассказ не на действительном материале, а на игре литературными приемами.

На факте построены лишь его мемуарные вещи, например, «Скандаль Колчаку».

Но для его манеры письма (в большей степени, чем мемуары), характерна новелла.

Возьмем, для примера, новеллу о «Хао-Чане».

Китаец Хао-Чан любит русскую женщину Арину. У них дети. У детей «глаза китайские, косые глаза, китайские». Хао-Чан счастлив. Но однажды ему сказали:

— А, может быть, дети не твои, Хао-Чан?

Хао-Чан загрустил. Хао-Чан поцеловал детей Се-Я-Шу и Ни-На-О. Хао-Чан сказал: «Мой ушел в Шанхай!».

Русская женщина Арина помирилась со старым мужем. Иван Бубликов—старый муж—счастлив. «Китаезы»—Сережа и Нина—померли. Бубликов стал ждать рождения белоголового мальчика. Но мальчик родился с черной головой и с «косыми глазами, китайскими». Бубликов запил с горя и сгорел от вина.

Русская женщина Арина взяла третьего мужа—китайца Киан-Те-И. Некоторое время Киан-Те-И был счастлив. Но у Арины родился сын с огненно-рыжими волосами, напоминающими волосы лавочника Щербинина. Киан-Те-И повесился на электрическом проводе.

Я отлично помню историю «Хао-Чана». Вещь эта была сделана по частям.

В первое воскресенье Сорокин прочитал нам рассказ о китайце, охваченном ревностью. Рассказ оставил огромное впечатление. Мы были потрясены и очень хвалили автора.

В следующее воскресенье к Хао-Чану прицепился лавочник Бубликов. Он вызвал сомненье.

В третье воскресенье настала очередь для Киан-Те-И. Нас рассмешила эпопея несчастных рождений.

Я сказал Сорокину, что его эпопея построена на основе телегонической теории наследственности и что эта теория уже сдана в архив.

— Дело маленькое,—ответил Сорокин.

Ему не нужно было соответствие фактам. Ему было не важно, что трагедия превратилась в гротеск. Зато ведь гротеск получился забавный.

Неправдоподобность гротеска была излюблена Сорокиным. Он имел склонность к архитектурным ребусам. Рассказы его часто были ребусами.

Сорокин сам замечал отсутствие четвертой стены в своих рассказах. Он заменял недостающую стену обнажением приемов.

— «Ко мне пришли артисты-киргизы»,—пишет Антон Сорокин в рассказе «Гнев Амахата»...—«Не напишите ли для нас драму?»—сказали артисты-киргизы.

Дальнейшее содержание рассказа исчерпывается описанием того, как автор сочинил заказанную драму, заимствуя диалогии из «Ромео и Джульетты», а монологи—из «Демона».

Получается обычный гротеск. Но Сорокин ввел в него чрезвычайно реальные подробности.

— Я аккуратен, как немец, через три дня я передал драму и получил двадцать рублей, на которые в Сибкрайиздате купил туши, бумаги-копирки и ленту для пишущей машинки...

Перечисление предметов покупки и такое реально звучащее понятие, как Сибкрайиздат, создают иллюзию правдоподобия. Возникает некоторый реальный фон, и это оттеняет гротеск.

Так Сорокин делал реальную стену—обманчивое впечатление действительности в своих рассказах.

ДИКИЙ ПЕРЕЦ.

«...Имейте в виду, что я скоро умру, почему и посылаю мой портрет»...

В зимнюю ночь запылал дом короля писательского. Я видел Сорокина во время пожара. Он обнаружил редкое спокойствие. Он стоял на стуле, одетый в жеребковую доху, с потолка, политого из брандсбоев, капала вода. Антон Сорокин высоко взнес керосиновую лампу.

Пожарники быстро разрушили печь, бранд-майор выкрикивал ругательства. Рукописи Сорокина тихо догорали в углу.

— Должно быть, здесь профессор живет,—сказал огромный пожарник, выламывая багром дымящуюся доску.

Сосед пожарника отозвался вполголоса:

— Ученый сморчок!

— Сорокин услышал, он выпрямился на своем стуле и еще выше поднял лампу.

— Здесь живет писатель Антон Сорокин!—произнес он отчетливо.

Бранд-майор прервал грубо:

— Светите лучше!

Пожарники, выломавшие потолок, разрушили архитектурный ребус. Антон Сорокин переселился в отцовский дом. Он стал раздражительным и беспокойным. Мастер скандала проснулся в нем.

Антон Сорокин начал сеять слухи про одного из омских поэтов, что этот поэт, в дни ранней юности, совершил преступление. Мы запротестовали Антон Семенович нас успокаивал:

— Я делаю это из сочувствия к поэту. Неясный слух об уголовном преступлении весьма полезен для рекламы.

Мы не поверили нашему «королю». Мы не замечали приближения развязки.

...В Омск приехал М. Басов.

— Что вы смотрите?—сказал он.—Антон Семенович серьезно болен.

Я увидел розовое и чуть озорное лицо сангвиника рядом с лимонно-желтым лицом Сорокина.

— А ведь наш «король» действительно болен,—подумал я, и мы принялись уговаривать Сорокина оставить службу.

Он служил регистратором в больнице. Служба его была отделена от квартиры семиверстным расстоянием. Он покрывал это расстояние два раза в день, раз'езжая в открытом автобусе. Платили Сорокину сорок рублей.

Такая служба, конечно, не устраивала. Мы добились от редакции «Рабочего Пути» обещания, что Сорокин будет привлечен в газету в качестве внештатного сотрудника. Ему был гарантирован семидесятирублевый заработок. Службу в больнице можно было оставить. Но Сорокин не соглашался.

— Имейте в виду,—говорил он,—я двигаюсь по инерции. Если мне сегодня оставить службу, то завтра я слягу в постель, а через неделю умру.

Мысль о смерти была не случайна. Именно в это время Сорокин разослал письма в редакции.

— Имейте в виду,—писал он,—что я скоро умру, почему и посылаю мой портрет. Конечно, после моей смерти вы разыщите мои рассказы, которых вы до сих пор не печатали. Заодно посылаю вам несколько рисунков.

Поджидая смерть, Сорокин продолжал двигаться. Он ездил на службу и ходил на писательские сборища. Я помню последнее сборище с его участием Оно происходило в кабинете профессора Драверта.

По предложению «Рабочего Пути», мы занимались составлением омского литературного сборника. По мысли издателей, сборник должен был носить строго локальный характер. Составив план сборника, мы занялись названием. Название не выходило, и нам пришлось, чтобы подстегнуть воображение, залезть в волюмы «Западно-Сибирской флоры». Мы решили назвать сборник по имени одного из омских растений.

Сорокин не взял волюма. Бледный и мертвенно усталый, он доказывал поэту, что слух о преступлении—не плохая реклама. Поэт сердился. Листы волюмов шелестели. Медная гагара,—священная гагара северных шаманов,—распласталась над головою Сорокина, готовая к полету. Шлифованные грани на профессорском столе блестели ясно и бодро. Нежный мартовский вечер цвел за окном.

— Овечий мор!—закричал Мартынов.—Овечий мор,—прекрасная трава! И замечательное название для сборника!

Я нашел другую траву.

— Дикий перец, тоже не плохое название.

Дружный хохот потряс стены кабинета. Я поглядел на Сорокина. Он сидел в кресле, вздев рукав в рукав. Глаза у него были закрыты. На мгновение у меня возникла мысль, что он умер. Я хотел тронуть его за руку. Но он с усилием распахнул глаза и поправил пенснэ.

— Я дам рассказ под таким названием,—сказал Сорокин.—Дикий перец, это—шедевр!

Я обрадовался. Но радость была преждевременна. Через три дня Сорокин слег.

Он лежал в отцовской комнате,—«король писателей». Он вытянулся на складной койке, как умерший. Отцовская комната была уставлена сотнями кактусов, над ними пели желтые канарейки. Я знал, что кактусы и канареек развел отец писателя,—спокойный, библейски красивый старик.

— Что нового в литературе?—спросил Антон Семенович.

Я растерялся. Сорокин неоднократно показывал примеры необычайного спокойствия. Я отлично помнил, как часов в одиннадцать ночи, Антон Семенович поднимался в свою квартиру и как на темной лестнице в его об'ятия упала женщина, прокричав трагически:

— Спасите меня!

— Дело маленькое,—сказал Антон Семенович так, будто он всю жизнь спасал трагических женщин.

Но вопрос о литературе со смертного ложа меня раздавил.

— Я перечитываю «Сиб. Огни»,—сказал Сорокин задыхаясь.—В ваших рассказах есть один недостаток: вы злоупотребляете глаголом возникнуть и возник.

Я смотрел на Сорокина и потерянно молчал. Он уплывал в небытие. На лице его жили только глаза. Но крылатая лихорадка искусства все еще томила этого человека с холодными руками и великодушным сердцем.

СМЕРТЬ КОРОЛЯ.

«...Помолчи, Валек»...

Март набухал весной. Антона Семеновича перевезли в клинику. Там я увидел его в последний раз.

Палата, в которой он лежал, была квадратная. Огромное окно выходило во двор. В углу стояла комнатная пальма.

Я поразился переменой, произошедшей с Сорокиным. Он лежал на койке, покрытый солдатским сукном. Рубашка его была распахнута. Она открывала углы ключиц и крупные латы ребер, обтянутые зеленоватой кожей.

Неизменный друг Антона Семеновича—Валентина Михайловна—сидела у его койки на белом табурете.

— Антоше лучше,—сказала Валентина Михайловна,—профессор уверяет, что Антоше лучше.

Я сел на табурет по другую сторону койки. Антон Сорокин с усилием протянул мне руку. Это была рука мумии.

В палате был еще один больной. У окна лежал юноша,—бледный и курчавый. У его постели в зеленом кресле сидела девушка. На зеленом бархате белый ее халат казался вырезанным.

Юноша держал в своих руках ее чуть розовые руки. Она склонилась над ним, разбросив по халату косы.

— Антоше лучше,—повторила Валентина Михайловна,—посмотрите, какое хорошее число дыханий!

Я посмотрел на скорбный лист, покрытый узором температурных график.

Антон Семенович скосил глаза в сторону жены.

— Помолчи Валек,—произнес он тихо.

Я понял, что Антону Сорокину не нужны рассказы о выздоровлениях от горловой чахотки. Я приготовил эти рассказы по дороге в клинику. Спокойствие в смерти обязывало Достойнее было молчать.

Антон Семенович, не вставая с постели, дотянулся рукой до столика, и снял пульверизатор. Под прибором стояла спиртовая лампочка. Сорокин сбросил колпачок и неторопливо зажег спичку. Фитиль вспыхнул, лекарственная жидкость забурлила в металлическом чреве прибора, из пульверизатора выбросилась эмульсиевая пыль.

Сорокин поднес ко рту пульверизатор, глотая распыленную жидкость. Ему стало легче.

Он загасил лампочку и поставил прибор.

— Дело такое,—произнес он кашляя:—Когда в Сибопсе меня сократили, мне сказали, кредиты все распределены, на вас кредита нет, мы вас сокращаем. Я им ответил: «Вы распределили кредиты, на мою долю кредитов нет,—значит, я умру».

Я смотрел на пальму и на юношу. Он шептался с девушкой. Смоляные косы струились по халату, розовые губы по-детски прыгали, черная родинка на щеке оттеняла румянец.

— Потерпи, мой мальчик!

Я подошел к окну. Внизу был двор. Он был глубок.

— Ниночка,—в полголоса сказал юноша,—я хочу на солнышко.

Они хотели заплакать, розовые губы, но плакать было нельзя.

Смутлянка вонзила зубы в нижнюю губу и с усилием выдохнула: «Потерпи, мой мальчик!».

Юноша переплел прозрачные пальцы. У него были нежные и грустные глаза. Это были глаза обреченного. Я посмотрел на дно глубоко, как колодец, двора.

... Смерть пришла иначе. Валентина Михайловна увезла Сорокина в Крым.

На железном мосту через Омку я услышал:

— Говорят, умер писатель Сорокин,—сказала своему спутнику дама в каракулях.

— Какой же он писатель,—солидно возразил спутник.—Просто сумасшедший.

Дама грациозно поскользнулась, и спутник подхватил ее под руку.

Мне захотелось зайти в киоск, чтобы срочно купить картон и написать плакат о смерти Сорокина. Но я не умею писать плакаты. Мне пришлось шагать к родным Сорокина, неся в мыслях невоплощенный плакат.

— Дикий перец отцвел. В Москве умер крупный сибирский писатель Антон Сорокин!

Неприметно я очутился в приемной, уставленной кактусами. Корректный и изящно одетый старик усадил меня в кресло.

— Правда ли?—спросил я.

Старик поднял на лоб синие очки. Глаза у него были красны.

— Правда!—сказал он тихо и опустил очки.

Я обежал комнату глазами. Кактусы тянули к солнцу дикую листву, канарейки щебетали в желтых клетках, вещи стыли на своих местах, Антона Сорокина не было.

Я вспомнил фразу из его заявления в Сибкрайисполком по поводу отобранного и потом возвращенного дома:

— Писатели умирают, дома остаются.

М. БАСОВ

Антон Сорокин

(1884—1928)

I. АРХИВ А. СОРОКИНА.

«Имейте в виду, что я скоро умру... После моей смерти вы разыщете мои рассказы, которые вы до сих пор не печатали. Заодно посылаю несколько рисунков и мой портрет».

Так писал в редакции газет и журналов Антон Сорокин незадолго до своей смерти.

Сейчас, через два месяца после его смерти, я роюсь в его архиве. Горы рукописей, но подойти к их разборке трудно. Ведь говорят, что Сорокиным написано около *двух тысяч рассказов,* не считая пьес (трагедии, шутки, монодрамы). Его жена, Валентина Михайловна, раздавлена количеством рукописей. У Антона Сорокина они хранились по системе, ему одному известной, он знал, где что лежит, а сейчас выплывают все новые и новые связки и папки, стоило только копнуть архив.

Когда мы, наметив кой-какую систему в подборе, через 2 недели возвращаемся к архиву снова—положение представляется уже в несколько более ясном виде, но крайне далеком от совершенства. Перед нами четыреста названий напечатанных и не напечатанных произведений Сорокина. Далеко не все напечатанное, особенно в газетах, сохранилось, а в отношении сохранившегося, в большинстве случаев, невозможно установить ни названия газеты, ни даты—Сорокин вырезал свои рассказы, не делая никаких примечаний. Это только первая попытка разобраться в архиве рукописей, она доведена только до 1923 года—и перед нами двадцать об'емистых папок.

Рассказывают, что Сорокин, говоря о собрании своих сочинений, называл 24 или 32 тома

Эти двадцать папок помечены датами 1911—1922 годов, при чем наиболее интенсивная деятельность Сорокина относится, очевидно, к 1916 году. Этим же годом помечена книга рассказов, подготовленная к печати и принятая Сибкрайиздатом—«Напевы ветра» и папка «Аграмант узорный», состоящая из 24 (опубликованных) рассказов, папка пьес («Собачья свадьба», моральная трагедия в 3 карт., «Кризис морали», драма драматурга, дальше идут рукописи в 5-6 страниц каждая, с пометкой «шутка»: 200 тысяч, «Горе от исполнения желаний», «27 копеек», «Капитан Чирий», «Заведение благородных девиц», «Химический человек или лекция о деторождении» и т. д. и, наконец, «Цветы и грязь»—с простой пометкой—32 пьесы).

1918 годом помечены большие трагедии—«Шутки судьбы», «Смерть мысли», «Муравей под ногой», «Король и шут», «Маскарад», «Асафатова

долина», 1922 годом—три трагедии—«Голгофа в вишнях», «Фабрика идиотов», «Фелисата Каретникова и сыновья».

Этим же годом помечены «Исаак Зевеке», «Антре шута Бенецо» и «Учебник, как быть знаменитым».

И вот, кроме такого, внешне-протокольного описания архива, мы ничего больше сейчас сказать не можем о подлинном удельном весе произведений Сорокина, т. к. над архивом нужно провести большую и основательную работу.

Но архив интересен и с другой стороны. Вот папка писем к А. Сорокину—письма писателей: Ив. Рукавишникова, Ив. Наживина, М. Арцыбашева, Н. Шебуева, Л. Гумилевского, С. Третьякова, О. Дымова, затем письма сибиряков: А. Новоселова, Н. Чужака, Ст. Исакова, Всев. Иванова, Ст. Байкалова, К. Худякова.

Имеется одно письмо-записка Л. Н. Тостого—вот она:

«Читал Ваш «Хохот желтого дьявола». Хорошо, ярко, а главное жизненно и соответствует великой евангельской правде.

Ясная Поляна
16 марта, 1909 г. *Лев Толстой.*

М. Волошин пишет из Парижа в 1916 г.:

«Получил Вашу книгу «Хохот желтого дьявола». Что это? Бред сумасшедшего или откровение? Тяжелые, грубые мазки—не то титана, не то... В повести открыт уголок кровавого края—обетованной тайны, искуса бытия или небытия».

Имеется несколько писем Вл. Бонч-Бруевича по вопросам сектантства, С. А. Венгерова, Д. Бурлюка, много писем редакторов. На письме редактора «Пришимья» Ушакова рукой Сорокина приписка: «Талантливый редактор, что необычайная редкость».

Любопытна записка Новоселова: «Автора узнаю по ушам. Прошу оставить меня в покое. Я занят. Ал. Нов.».

Сорокин делает приписку: «Письмо А. Новоселова, когда мы поссорились из-за редактирования сборника «Жертвам войны».

Имеется ругательное письмо В. Крутовского, ред. «Сиб. Записок». Сорокин прислал ему свой рассказ под чужой фамилией, и рассказ был напечатан в «Сиб. Записках». В примечании к письму Сорокин с гордостью рассказывает, как он «надул Крутовского».

---

16 декабря 1921 г А. Сорокин готовился к докладу о сибирских писателях. Доклады он читал по заранее написанному тексту. В этом черновике доклада, между прочим, имеется следующее место:

«А. Новоселов, имя которого вписано в сибирскую литературу золотыми буквами, сначала начал писать киргизские рассказы, но его техника письма была украдена нахальным и недопустимым образом Антоном Сорокиным. Обворованный Новоселов делает попытки к самозащите, организует бойкот в сибирском масштабе. А Сорокину писатели не подают руки, не хотят печататься в одних изданиях».

И далее:

«Крупный талант Новоселова приспособляется к тому, чтобы не быть задавленным трудолюбивым и настойчивым Сорокиным, и Новоселов начинает писать рассказы из жизни староверов. Но и тут оказывается, что Сорокин происходит из жизни староверов, он опять начал грабить Новоселова.

Вообще нужно сказать откровенно, не скрывая, что А. Сорокин—нахальный тип паразита на теле сибирской литературы. Это он долго грабил Модзалевского, Всев. Иванова, Игоря Славнина и, конечно, с ним бы не стоило считаться—разве можно считаться с паразитами? Раздавил ногтем, и только. Но весь ужас в том, что когда сибирская литература хотела придавить А. Сорокина ногтем, как вошь, то оказалось неожиданное явление—все равно, что человек увидел кошмарный сон, вошь со слона. То же увидела и сибирская литература. А. Сорокин один был больше двадцати сибирских писателей...

Сибирский человек после трудов при борьбе с природой любил иногда и помечтать—и для таких людей и создан был специальный писатель, автор «Опечаленной Радости», Вяткин. Поэт Сиязов писал стихи о растительности; поэт Драверт, начиная с инородческой поэзии, кончил воспеванием минералогии—словом, каждый занимал как-будто по соглашению особое место».

---

4 февраля 1919 года в Омске вышел первый номер «Газеты для курящих», издаваемой Сорокиным. Весь номер, небольшой листок серой бумаги, заполнен «Вступительным словом»:

«Я, Антон Сорокин, вздумал издавать газету, потому что омские редакторы не печатают мои произведения, но когда я посылаю свои произведения, подписанные вымышленными именами, мои статьи и рассказы печатались, доказавши ограниченность ума омских редакторов, и я решил сам издавать газету.

Правда, моя газета будет маленькой, потому что все запасы бумаги находятся у тех, кто изо дня в день печатает статьи политические и, затопляя газеты словопрениями, не дают места приехавшим в Сибирь писателям—Ремизову, А. Толстому, Крандиевской, Лесной, Ауслендеру, Олигеру, Кондурушкину, Моравской и мн. др.

До сих пор газеты, испачканные политическими статьями, шли на завертывание колбас, для растопки печей и для других житейских целей. Вам, читатели, лучше знать, для чего шли газеты.

Я решил расширить применение газеты, моя газета по прочтении может быть применена для курения, бумага выбрана самая лучшая—у спекулянтов она продается по 30 коп. И вот, когда вы закурите папироску, я попрошу вас подумать о судьбе сибирских писателей. Не окурки ли брошенные их трудовые жизни?

Тачалов Иван был разносчиком газет, потом музыкантом в «веселом» доме

Кондр. Худяков, живописец, живет с большой семьей в маленькой комнате.

Всеволод Иванов три года был клоуном в балагане и таскал год шарманку, а ведь он печатался в Горьковской «Летописи»...

Далее идет о Славнине, Сидорове, приводятся цитаты из произведений. Слово заканчивается следующим:

«Не окурки ли—жизни этих писателей? Не судьба ли курила и бросила в грязь их талант и ногой растоптала? Курите же газету Антона Сорокина и подумайте о великой Сибири и о писателях-окурках, придавленных грязной ногой жизни. Велика мощь Сибири, и Сибирь может позволить судьбе выкуривать, как папиросы, жизни талантливых людей».

«Географическое общество ответило письмом Антону Сорокину, что повесть «Хохот желтого дьявола» не может быть принята в отдел войны, потому что музей интересуется рукописями непосредственных участников войны, во-вторых, распорядительный комитет опасается пользования именем отдела в рекламных целях, как это было с пожертвованием вашего бюста. Рисунки Эттеля представляют высокую художественную ценность, но имеют подписи от руки с указанием на связь с вашими рукописями и не могут быть приняты по тем же соображениям.

Правитель дел А. Новоселов».

И на сие Антон Сорокин отвечал:

— Что может написать солдат? Не более ли интересны переживания писателя с именем, с пятнадцатилетней практикой и пишущего только о страданиях человеческой души? Разве Данте был в аду? Разве необразованный актер был королем для того, чтобы написать короля Лира? Разве Леонид Андреев, написавший «Красный смех», был на войне или, наконец, вы, Александр Ефремович, написавший рассказ из жизни марала, «Санькин марал», где описывается переживание любви и потери рогов марала, разве вы, Александр Ефремович, были маралом и рога теряли, ибо описание потери рогов маралом у вас описано замечательно правдиво.

И затем, распорядительный комитет, боясь еще не совершенных мною рекламных деяний, не в праве отказываться от пожертвований обществу, но не распорядительному комитету.

На сие письмо ответа не последовало.

А. Сорокин в компании футуристов:

Летучка.

Глыбы великой правды:

1—Радиотелеграфной нежности Влад. *Маяковского*.
2—Бронированной мощи Давида *Бурлюка*.
3—Песнебойцу Василью *Каменскому*.
4—Рыцарю праздничного букволязга Дав. *Виленскому*.
5—Первенцу лунной яви Сергею *Виноградову*.
6—Акционеру литературной промышленности Антону *Сорокину*.

II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ.

В архиве имеются записки А. Сорокина, в форме «Материалов для биографии» или под какими-либо иными заголовками. Некоторые из них следует привести.

Во время царствования буржуазии, я приходил в редакции и говорил:

— Я—гений, Антон Сорокин, дайте мне место печататься. Вот вам доказательства.

И я вынимал пачку писем выдающихся писателей.

Я сотнями рукописей заполнял все редакции и неимоверной энергией достиг того, что меня стали всюду печатать. И я, Антон Сорокин, достиг того, что буржуазные газеты и журналы стали печатать мои произведения, направленные против капитала, против религии и против войны. Печатали потому, что так, как я, Антон Сорокин, писал—еще никто из писателей не писал, это был крик, это был пафос, обличения древних пророков.

За год до войны, в «Омском Вестнике» я поместил повесть «Хохот желтого дьявола», где, описывая ужасы войны, затронул эти вопросы с точки зрения торговли человеческим мясом.

Я предугадал ссору союзников. Мне было запрещено продолжать печатание под угрозой ссылки в Якутскую область.

За эту повесть я, Антон Сорокин, зачислен в кандидаты на премию Нобеля, мне присуждена премия братьев Гайфун за киргизские рассказы. Бюст мой, работы Пожарского, находится в музее Зап.-Сиб. Географ. Общества вместе с бюстом Потанина.

В Сибири *ко мне установилось какое-то странное отношение, немного ироническое, немного насмешливое, как к забавному чудаку.*

Случилось это потому, что я, увидевший, что поэт Тачалов торгует семечками и селедкой, поэт Худяков пишет вывески, писатель Всеволод Иванов был клоуном, а теперь наборщиком, Александр Новоселов долгое время был смотрителем в школе, я, увидевший, что сибиряки, уморившие с голода Щапова, не особенно ценят своих талантов, решил на благо будущих молодых писателей, об'явить бунт против всех тех, кто губил сибирские таланты.

Я об'явил себя гением. Имел ли я на это право, вопрос другой, так как *в жизни я—самый скромный человек, не страдающий манией величия**).

За какую цену я продался.

Вся классическая дореволюционная литература была обличительной, и читатели привыкли к такой литературе. И потому меня не удивляют те десятки писем, в которых меня упрекают в том, что я примазываюсь к советской власти и продался. Пишу агитки, когда уже почти все писатели не пишут агиток.

Да, я не отрицаю свою продажность, я продался и, как хитрый человек, продался за весьма дорогую цену.

Конечно, я не имею удобной квартиры, я вымерзаю на 5 градусах в кухне. Меня душит дым квартиранта Штеренталя, которому коммун. отдел построил плиту с нарушением строительного устава.

Конечно, мои служебные дела не блестящи: после 15 лет службы в Здравотделе пом. бухгалтера—счетоводом, а на 15 году службы слышал от бывшего интенданта Клейнера:

— Это вам не поэзия. Это вам, поэт, не агитки писать, идемте для об'яснения к начальству.

И хотя не один раз приходилось солдафону садиться в калошу, но ведь это моя специальность усаживать зазнавшихся на подобающее место.

На своем столе я вижу часто письма редакторов:

— Не нужно агиток, пишите художественные произведения. Вы же старый писатель, вы можете писать.

Но я хитрый, на то я и Антон Сорокин—я продался за дорогую цену.

Конечно, все вы знаете, что киргизы вымирали со своим скотом на солончаках, а лучшие земли занимали переселенцы, и какой-нибудь Алимжан или Джесыбай подтягивал ремень на животе и мог сказать:

— Курсак пропал.

Орочены, чукчи, вогулы, остяки, тунгусы вымирали от водки и нищеты, обобранные жадными купцами.

И вот тогда Антон Сорокин был обличителем.

Это я кричал неуемным криком отчаяния, и в далеких, широких степях, до Тургайских степей слышали этот крик. Все рассказы были криком. Нельзя губить инородцев. Это преступление.

---

*) Курсив везде наш. **М. Б.**

И вот когда эти инородцы после революции получили свободу жить и строить свою культуру, когда получили свои земли в свое управление, мне оставалось одно: прекратить писание рассказов из киргизской жизни. О чем писать, кого обличать? Оставшихся старых богачей? Не стоит затрачивать труда. И я, хитрый, я стал описывать, как инородцы встретили новую эру своей жизни. Если в Теренгуле в благодарность за лучшую жизнь джигиты строят живой растущий курган, я должен это написать. Я не хочу молчать.

Если тунгус везет необыкновенного осетра в Москву за лучшую жизнь, я не хочу молчать.

— Агитка.

— Да, агитка. Но почему вы привыкли к агиткам Арцыбашева, Куприна, когда они агитировали за порнографию? Почему вы читаете Льва Толстого, когда каждое произведение—агитация непротивления злу? Писатель должен быть агитатором.

И я, Антон Сорокин, продался. Продался, как хитрый человек, за большую цену и цена та—лучшая жизнь для новой страны, по размерам превосходящей Америку. Лучшая жизнь, данная властью диктатуры пролетариата.

Вот какую цену взял Антон Сорокин. Разве это дешево?

Разве из-за этого не стоило продаваться?

Я человек хитрый, думаю, что не продешевил.

И там, где были волчьи ямы, настроятся каменные города. Ротационные машины будут выбрасывать миллионы книг... и не спросят ли тогда:

— Почему Антона Сорокина, туберкулезного, морили на 36 рублях жалованья? Почему душили дымом, вместо крымского теплого воздуха?

И найдут ответ:

— Потому что он продался власти диктатуры пролетариата и в дни великой революции писал агитки.

Автобиография.

Сорокиным написано несколько автобиографий. Нам думается, что последняя из них, которую он написал в конце 1927 года, уже будучи больным и с мыслью о смерти, самая краткая, вместе с тем является наиболее полной и правдивой, во всяком случае, более всех остальных искренней.

Вот она целиком:

«Писать о себе самое трудное дело. Читать и слышать о себе то, что не соответствует действительности, тоже дело не легкое. Говорить о себе правду—не поверят: вон как врет. Поэтому я буду скромным и ограничусь самыми необходимыми сведениями.

Родился в Павлодаре в 1884 году, отец из богатой семьи. Мать тоже из богатой староверческой семьи—бегунов в тайгу.

Учился в Омской гимназии. Исключен из 6 класса с волчьим билетом за принос в класс мышей для пугания нервных учителей и главное—за незнание молитвы «Отче наш».

В 1900 году почувствовал ненависть к капиталистам. Главная причина—ненормальная семейная жизнь, где жадность и подхалимство были невероятно развиты.

С 1900 года переменил 18 профессий. Писать начал с 1900 года. Драма «Золото» выдержала два издания. Была принята к постановке театром Коммисаржевской и снята с репертуара после генеральной репетиции цензурой.

В 1913 году построил дом в 14 кв. сажен на деньги, полученные от своих литературных произведений, премии за кинокартину, киргизской премии братьев Байсун и премии имени Вучины.

8 лет работал совместно с Всеволодом Ивановым, Игорем Славниным. Произведения подписывались именем Антона Сорокина.

В 1914 году напечатал «Хохот желтого дьявола», где истерически кричал против войны и капитала.

В 1919 году устроил 33 скандала Колчаку, валял дурака-шута, об'явил себя королем шестой державы, выпускал свои деньги.

Выступал с Давидом Бурлюком и был футуристом.

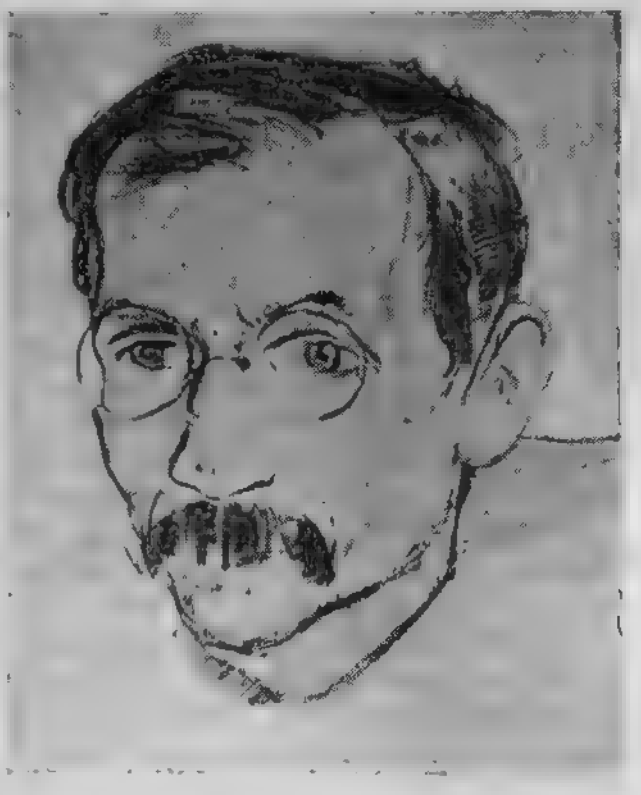

Рис Уфимцева.

А. СОРОКИН.

В 1920-21 году голодал.

В 1925 году был сокращен на службе, где служил 12 лет счетоводом, 6 месяцев поддержку оказывали газеты, особенно «Советская Сибирь».

Напечатал за 25 лет 100 рассказов своих и Ивановских за своей подписью. Нажил, по меткому выражению А. Курса, маленький каменный дом для жизни и большую чахотку для смерти.

И через 25 лет литературной работы я составил большое нарицательное имя Антона Сорокина и не оставил книг, и нищета вошла в тот дом, откуда вышел на дорогу, кроме Всеволода Иванова, еще не один писатель.

В настоящее время занят войной с голодом, холодом и коммунальным отделом.

Если мои хлопоты не увенчаются успехом, выпущу воззвание к своим читателям и скажу:

— Задавленному нищетой ничего не надо.

В 1914 году я сделал опыт кончить самоубийством и увидел, что к мертвому писателю больше уважения и почета. Требовали мои посмертные произведения.

И теперь я знаю, когда я умру, на мой дом, который в настоящее время не мой дом, набьют вывеску: «Дом Антона Сорокина», «Библиотека Сибирских Писателей», «Общежитие Писателей», а вокруг будут стоять бетонные небоскребы.

Жизнь—борьба. Каждый имеет право отстаивать свои интересы. Антон Сорокин занимался другим: он отстаивал интересы человечества, и нищета с особенным удовольствием раздавит Антона Сорокина.

Завещание Антона Сорокина.

1 сентября 1919 г.

Я осмелился 1 августа выпустить поэму «Симфония Революции». После трех-четырех недель я стал получать угрожающие письма. Некоторые

письма были с угрозой убить меня, я такие письма бросал. Но, зная мстительность людей, я приготовился ко всему и даже к смерти.

Кто знаком с моим творчеством, не должен поражаться моим мыслям в «Симфонии Революции».

Я всегда был противником убийства, и во имя чего бы это убийство ни было произведено, я должен был быть противником и высказать свое возмущение. Я всегда говорил смело, не боясь ничего. Только *для этого я надевал часто маску сумасшедшего манерного шута.*

15 лет я писал, написал 24 тома по 320 стр., более 800 рассказов я напечатал. Я часто выступал защитником и советником для всех молодых писателей и художников Сибири.

Смелыми, часто оскорбительно-горькими словами я создал себе много врагов, и вот, когда мне грозит опасность скорой смерти, я должен сказать всем своим читателям и родственникам своим, быть может, последние слова, и также, хотя кратко, выяснить те причины, те влияния, которые создали сибирякам такого оригинального, наивного короля писательского и наивного шута Антона Сорокина.

Я знаю жадность человеческую к деньгам и потому скажу своей жене, если она останется жива, что все богатство мое заключается в доме на Лермонтовской улице, где я живу. Этот дом я оставляю своей жене Валентине Михайловне, при том, однако, условии, если она обязуется тщательно хранить мои рукописи и картины. Все права авторские оставляю ей же. Если бы случился дележ моих братьев, моя часть должна быть употреблена на издание моих сочинений.

Детство мое протекло не радостно. Я, маленький ребенок, среди прочих унижений особенно запомнил то, когда мне отказывали в лоскутке мятой бумажки, когда мне не давали кусочка хлеба с медом или обманным путем наняли за 20 коп. в месяц не есть сахара, и я вытерпел три месяца и с наглостью мне не отдали даже этих денег. Я не забуду этих слез обманутого, обиженного. Кто будет читать мои произведения, должен знать, что не случайна та злоба к жадности и к деньгам. Эта злоба капля за каплей накапливалась в дни моего золотого «радостного» детства.

Если бы я не знал после жизни людей, если бы я не знал ни одной книги и только жил бы в своей семье, и этого было бы достаточно для того, чтобы я написал почти то же самое.

Почему я вздумал заняться рекламой?

Привыкшему к унижениям, лишенному до 20 лет жалких копеек, привыкшему к оскорблениям родных,—унижение, позор, оскорбления толпы были не тяжелы. Испившему чашу жизни, наполненную желчью, сладок будет раствор горькой соли.

И когда я создал себе имя, когда уже мог быть уважаемым писателем и на это не пошел, я знал теперь, что весь мир, вся земля русская, такой же дом, такая же семья, как наша, Сорокинская.

Слова ненависти и злобы кидал я всем родственникам, то же делал людям всей земли. Вот почему русская революция была так кровожадна. Недовольных людей было много, и эти озлобленные темные люди искали мести в убийстве и грабеже. Я же, Антон Сорокин, один из них, убивал их души, оплевывал их мещанские жизни, их радости.

Никогда я не описывал любовь женщины. Я знал, что нет любви, и продажны все женщины. Жадностью к деньгам родят не то потомство, которое должно бы появиться, и потому так мало писал я о женской любви.

Не случайна, конечно, та любовь к киргизам в моих рассказах. Я не мог обойти молчанием народ умный, энергичный, на который надвинулись со

всех сторон более глупые, быть может, культурные люди с железными машинами, с пыльными городами и то, как отстаивали эти люди-киргизы свой быт, свое самобытное житье, то, как вымирали, придавленные культурной жизнью, я не мог не отметить.

Когда война и революция убивала детей, когда калечила их жизни, их маленькие наивные души, я тоже не мог оставить без внимания.

Без всякого сомнения мое творчество является новой крупицей в великой русской литературе, это я сознаю, и сознание это дало мне возможность делать мою тяжелую трудовую работу изо дня в день. Но когда я знаю, что все, что мною написано, едвали может быть издано, когда я знаю, что мои все родственники, считают мои рукописи хламом сумасшедшего, мне тяжело сознавать, что они могут быть расхищены, уничтожены или брошены в амбар вместе с рухлядью, старыми ржавыми тазами, гвоздями и прочим житейским хламом.

Мои друзья-писатели после моей смерти едва ли будут интересоваться моими рукописями.

Родственники мои так же едва ли что предпримут для издания моих сочинений. Они знают, что щепотка соли на столе ничего не стоит, но миллионы пудов этой соли дают капитал. Но они еще глупы и не доросли до понимания того, что их разговорная речь, ничего не стоит, но увеличенная талантом до размера общемирового, общечеловеческого. Человеческое слово может быть дороже золота, серебра и бриллиантов. Не важно быть писателем, более важно уметь составить имя. Имя, которое всех тупоголовых мещан уверяло бы в ценности слов данного писателя.

В случае, если мои рукописи останутся совершенно брошенными, прошил бы передать их в какой-либо музей.

Настанет время, найдут Антона Сорокина и издадут его сочинения, и долго будут гулять его слова по земле. И те, кто высоко задирал свои пустые головы, те из братьев моих, которые лечили, которые убивали, умрут и в прах обратятся, и никто не вспомнит их великих дел, а живые выстраданные, вырыданные темными ночами слова-песни Антона Сорокина останутся на десятки лет, а может быть и на века. Еще не одно поколение молодежи будет удивляться долготерпению и таланту Антона Сорокина.

Веря в слово, в мысль, в талант человеческого разума, я, Антон Сорокин, в последнем своем завещании ничего не могу сказать более, потому что 24 тома были моим завещанием человечеству. Исполняя мои мысли, они никогда бы не знали жадности, злобы и убийства.

III. ПОДЛИННОЕ ЛИЦО СОРОКИНА.

Озорник, сумасшедший, графоман—всякое приходилось, слышать об Антоне Сорокине.

Но каждый, переговоривший с ним хотя бы пять минут, знает, какой это был скромный и тихий человек. Он редко возвысит голос, редко допустит резкий жест. Он всегда в своем неизменном виде—скромный пиджак, отложной воротничок и черный галстух—нетороплив и спокоен, и спокойно настойчив, особенно в своих чудачествах. Пожалуй, в этом и состоит сложность попыток оценки Сорокина.

Всем представлялось, что Сорокин ходит в маске, всем казалось, что он так прочно сделал эту маску шута, что даже когда он пытался ее снять,—и в этой попытке усматривается какой-либо очередной «вывих».

В последние годы Сорокин чудачества бросил—он довольно много печатался, и все же многие попрежнему видят в нем шута.

Это представление надо рассеять

Нам думается, что ряд документов, ряд его записей, которые мы привели, смогут это сделать, несмотря на то, что рядом мы приводим и образцы его чудачеств. Стоит только вдуматься в отдельные искренние его заявления, чтобы понять, насколько, действительно, неверно было наше представление о Сорокине. И его слова о «грабеже Новоселова» выглядят искусственными и надуманными. Сорокин не в них, не в этих попытках деланного нахальства.

Нам он рисуется другим—скорбным неудачником, с горькой фразой:

— Ко мне установилось какое-то странное отношение. Как к забавному чудаку...

Но «чудак» был болен и знали, что он обречен. Как известно это не располагает к созданию симфоний и радостных песнопений. А он умер 43 лет, далеко не исчерпав своих творческих возможностей.

В нем было много злобы против мещанства и жадности к деньгам. В нем было много странного и болезненного и он был заражен многими отрицательными чертами отжившего уклада.

Но и озлобленный и обреченный—Антон Сорокин нашел в себе силы написать «Симфонию революции» и встретить новую жизнь новыми словами Он, этот выходец из чуждого, враждебного нам класса, перешел на службу к нам.

И надо взять из его работ все нужное и полезное нам и из далеко неравноценного материала выбрать лучшее.

Тогда яснее будет нам и лик этого «забавного чудака», по существу очень скромного и тихого человека.

М. Басов.

В распоряжении редакции есть (далеко неполный) список печатных произведений Антона Сорокина, составленный Н. Б. Здобновым.

«*Золото*». Монодрама М. 1912 г.
«*Смертельно раненные*». СПБ. 1912 г.
«*Зарзаман, или плач времени*». (Сибирская Неделя, № 6, 1913 г.)
«*Последняя обида*» (тоже 1913 г. № 8).
«*Страшный танец кутэрем*» (тоже, 1913 г. № 12).
«*Мало материала, ничего не сделаешь*». Киргизская сатира (тоже 1913 г. № 14).
«*Корабли, утонувшие ночью*» (тоже 1914 г. №№ 2 и 3).
«*Ультергучи*» (журн. «Ленские Волны». 1914 г. № 8).
Рассказы (тоже 1914 г № 9).
«*Хохот желтого дьявола*» («Омский Вестник». 1915 г.).
«*Печальные песни Анчара*» (сб. «Жертвам Войны», Омск, 1915 г.).
«*Тынду-тунда—трава стона*» тоже.
«*Последний баксы Ижтар*» (тоже).
«*О чем плакал Кинжетай*» (тоже).
«*Дар степи Трава Джуусан*» (тоже).
«*Айгай*» (журн. «Записки Любителя». 1916 г. № 8).
«*Таланты Сибири и золото*» (Омск, 1916 г.).
«*Чукча Коплянто Анадырский*» («Сибирские Записки», 1916 г.).
«*Офар-яд*» (газ. «Омский День», 1916 г. № 16).
«*Еще Польша не сгинела*» (тоже 191[illegible] № 3).
«*Джурабай*» («Искусство». Омск 1922 г., № 2).
«*Песни Айдапана*» («Сибирские Огни», 1922 г. № 2).
«*Примитивы*» (тоже, 1924 г. № 3).
«*Человек, который еще не умер*» (тоже 1925 г., № 7-8).
«*Старое и Новое*» (тоже № 5-6)
«*Хао-Чан*», (тоже 1927 № 2).
«*Песнь о живом кургане Авах*» (тоже 1927 г., № 6).
«*Железная птица*». Перед этим рассказом помещена краткая биография А. Сорокина (Хрестоматия «Сибирь в художественной литературе». ГИЗ, 1927 г.)

О новом проекте идеологического разоружения

(В порядке обсуждения).

I.

Тов. Курс в статье «Кирпичом по скворешне», помещенной в газ. «Советская Сибирь», с изумительной смелостью и беспочвенностью отрицает необходимость художественной литературы.

Литераторы—скворцы*), их произведения—навоз, а потому «ф-ррр! летите к. . . . . небесной матери». Великолепное упрощенство (очевидно, разделяемое редакцией газеты статья без оговорок) бросило в помойную яму ценности, так необходимые пролетариату. Сказать—это, не значит показать, нырнуть самому—не значит увлечь за собой других. Вопросы искусства не так просты, как это кажется тов. Курсу, оперирующему, кстати, больше терминами зоологического сада, нежели необходимыми фактами и теоретическими обоснованиями.

Для нашего автора нет прошлого и куда-то исчезло будущее. Он, таким образом, и без предков, и без потомства —редчайшее доказательство существования изолированного человека, в которого до сих пор не верили. Нехорошо только то, что своею бедностью и одиночеством он хочет наградить весь рабочий класс.

Какое значение имеет искусство в классовом обществе?—Можно совершенно определенно констатировать, что искусство является средством для классового самоутверждения, борьбы и господства.

Бухарин дает следующее определение искусства: «Общественный человек не только мыслит, он также чувствует, страдает, наслаждается, желает, радуется, горюет: его чувства могут быть бесконечно сложны и тонки. Искусство систематизирует эти чувства, выражает их в художественных образах. Искусство—есть средство «обобществления чувств». Если к этому определению добавить мысль Плеханова, что искусство также систематизирует и мысли, то такое понимание цели искусства будет достаточно точным. Таким образом, мы должны рассматривать искусство, как социально-разумный и необходимый концентрат классовой и общественной психологии.

II.

Сегодня тов. Курс храбро швыряется кирпичами в художественную литературу и подменяет ее фельетоном, завтра с той же энергией он будет резать и рвать картины, требуя заменить их плакатами на злобу дня. Логически (для точки зрения автора) это неизбежно, и через некоторое время он, конечно, порадует нас бодрыми мыслями

*) Выписка из учебника естествознания для... школ 1-й ступени «Скворцы—полезнейшая птица, уничтожающая посевных вредителей».

о способах истребления художественных галлерей, а затем подберется и к музыке. Повторяю, это необходимо, ибо художественное творчество вообще рассматривается авторами, как что-то лишнее, вредное. Подобные мысли, если бы их попробовали осуществить, оставили пролетариату: в литературе—фельетон, в живописи—плакат, в музыке—частушку.

Социальная значимость искусства заставляет нас бороться против всяких попыток лишить рабочий класс возможности знакомства с культурными ценностями прошлого. Этим создавалась бы громадная опасность культурного плена для пролетариата, т. к. он был лишен «возможности культурного накопления в прошлом». Борьба за культуру, которую ведет партия, об'ясняется именно этим.

Рассуждения тов. Курса говорят о грубейших идеологических ошибках. Нельзя показывать рабочему сколоченные лачуги и заставлять считать их дворцами. Проекты Хули-Хуренито, хотя бы и в переложениях автора, партия и пролетариат осуществлять не будут. Нельзя навязывать пролетариату мышление николаевского министра Канкрина, говорившего: «Я все знаю, я даже не знаю, чего я не знаю». Нельзя, говоря о больших вопросах культуры, подходить к рабочему классу, как к героически настроенному мещанину!

Статья тов. Курса—это прежде всего (для него самого) злейший политический промах, ревизия марксизма и совершеннейшее непонимание тактики нашей партии в вопросах искусства.

Поневоле вспомнишь, видя, как летят «камни» в «скворешники» небезызвестную мысль небезызвестного Пруткова: «Неискусного вождя, желающего уподобиться Атилле, смело назову «нагайкой провидения».

III.

В. И. Ленин говорил об искусстве:

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими. Оно должно об'единять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их... Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости... Здесь много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующего на Западе».

И еще:

— «Красивое нужно сохранить, взять его, как образец, исходить от него, даже если оно «старое»... Почему нам надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица!».

Мы должны были остановиться кратко на вопросах искусства только потому, что художественная литература является частью этой большой проблемы.

Перейдем непосредственно к литературе. Читая художественные произведения, мы можем и должны искать в них: 1) отражения жизни общества данного периода, взаимоотношения и борьбу классов и 2) как, в каком направлении через литературу идеологически воздействовать на читателя.

Что говорит статья Курса?—Она совершенно отбрасывает художественную литературу, как организующий и воспитательный фактор, заменяя ее фельетоном. Вот здесь-то, в этой подмене, и кроется недоразумение.

Фельетон, как определенный вид литературной формы, касается только фактов текущего дня. В этом его сила и острота, и в то же время слабость. Необходимость дать хотя бы и художественный отклик на злобу дня заставляет фельетониста игнорировать углубленный социальный анализ и брать для своего этюда значительно меньшее полотно, чем это может и должен делать беллетрист-художник.

Все это не трудно видеть на тех примерах, которые (правда, для противоположных доказательств) приводит автор разбираемой нами статьи.

Цитирую: «Хотите—вот вам первая часть романа под названием «Февральская радость».

— «Было что-то наивное и безразлично радостное в первом майском утре свободного Петрограда, в его нетревожном и нерассуждающем весеннем веселье. К одиннадцати вышли на улицу все рабочие с Выборгской стороны и с Охты, растрепанно ликующие студенты с Васильевского острова, тяжелое купечество с Садовой, мелкие приказчики и страховые служащие, улыбчивые снисходительные буржуа с Надеждинской и Бассейной, хмурые, осторожные аристократы с Сергиевской и Миллионной. Радовались все. И пожарная команда, выехавшая с красными значками на медных трубах, и редакция бывшей черносотенной газеты, выставившая в окнах большие республиканские плакаты, и астрономическое общество, расклеившее поздравительные афиши» *(Кольцов)*.

— «Пожалуйте! рассиропьте эту спрессованную пачку социальных сдвигов любовными страданиями, накачайте дюжину бочек разговоров, пустите зеленой краски для пейзажей и—готова первая часть пухлого социального романа» *(Курс)*.

Как удивительно просто представляет автор «социальные сдвиги». Это—точка зрения какого-нибудь заскорузлого работника из треста точной механики, а не марксиста, желающего осознать происходящие процессы.

Марксизм никогда не механизировал взаимоотношения и борьбу классов, не упрощал ее, и с такой голубиной мудростью не имел ничего общего. Почему Маркс *ценил и любил Бальзака?—Потому что тот в художественной форме, на широких полотнах давал анализ социальных процессов*, а «красный доктор», как и строитель первого пролетарского государства, любили и ценили литературу, не требуя вульгаризации и примитивов в отображаемых явлениях.

Литература только фактов дня, т.-е. фельетон,—это своеобразный, если хотите, литературный экономизм, «пяточковая» культура, выдаваемая за культуру социализма. То, чем восхищается Курс,—сухая статистика уличного движения, репортажная запись, но не картина города, налоенного революционными потоками восстающего народа. Нельзя же, в самом деле, мазать в серый цвет заборы и классы, а потом кричать, что это-то и есть самая настоящая революция. Не революция в приведенном кольцовском отрывке, а грамотная регистраторская запись. Литературное произведение тем художественнее, чем оно шире и глубже дает нам жизнь в динамике*).

Художественная литература должна быть и дает не только фотографию жизни, но также рост, развитие, движение вперед. Таким образом, литература есть неотрывная часть общего целого—культуры, т.-е. органической совокупности знания и умения, характеризующих общество.

«Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре... Пролетарская культура является закономерным развитием тех запасов знаний, которые общество выработало под гнетом капиталистического общества» *(Ленин)*. Как-то странно видеть характеристику, даваемую коммунистом-марксистом нашей литературе, как «литературно-политическому нужнику».

Салтыков-Щедрин, которого с удовольствием перечитывал в бурные годы нашей революции Ленин, иллюстрировал (на одном из литераторов) подобные развязные манеры, очевидно, существующие до сих пор, следующим образом: «Авдеев, Ми-

---

Нечего говорить, конечно, что наиболее выдающиеся фельетонисты сами отнюдь не разделяют точки зрения т. Курса. Тов. Кольцов пытается писать рассказы (См. «Настоящее» № 6-7), только смерть помешала Ларисе Рейснер написать задуманный роман; к беллетристике тяготеет З. Рихтер и т. д.

хаил Васильев, духом вольноотпущенный. Будучи крепостным, пел наманер Рубини, играл на скрипке наманер Контского и готовил котлетки намапер пожарских. Впоследствии приобрел привычку собак у каждого столбика по...ть. Об...л Лермонтова, об...л Тургенева, задумал об...ть Льва Толстого, но смерть застала его в этом намерении. Мир праху твоему, добрый человек!».

Плеханов находил естественным отрицательное отношение нового класса к литературе старого, но при условии учета, что надо взять. Наш автор все это забывает— и в результате основные положения марксизма, ленинизма, а также резолюция ЦК и Сибкрайкома по вопросу о художественной литературе проваливаются в «тар-тарары».

IV.

Точка зрения тов. Курса не является оригинальной. Такие же идеи публично пробовал развивать заезжий в Новосибирск Шкловский, кстати, совершенно увильнувший от прений и ответов на вопросы. Разница между Курсом и Шкловским лишь та, что Шкловского «бить скворешни» в «Правду» не пускают, а Курс получил возможность напечатать в «Советской Сибири» вредную и марксистски, и политически безграмотную статью. Нельзя же дурную болезнь выдавать за показательное здоровье. Мы не можем аннулировать могучее орудие пропаганды и воспитания. Между Иваном Непомнящим и диктатором-пролетарием нет ничего общего. Теория пролетариата, его идеологическое оружие—научный социализм Маркса-Энгельса, чужд всякому пошлому упрощенству. Еще когда-то Лабриоло остроумно заметил, что у некоторых есть склонность рассматривать марксизм, как отмычку, которую без всякого труда можно подгонять к любому вопросу, давая трафаретные ответы. Такие мыслители, говорил он, смело могут об'яснить происхождение «Божественной комедии» Данте суконными накладными флорентийских купцов.

«Человек прост, как мычание»,—говорит Маяковский. Это зоологическая точка зрения и проводится в статье Курса, где он вычеркивает и упраздняет живого человека с его способностями, радостями, с его волевой трудовой энергией, с его классовой ненавистью, с его героическими переживаниями, он смеется над теми, кто пытается дать нам «советских Кутузовых» (почему «Кутузовых?»), эпопею восстановления промышленности и т. д. Мне неловко доказывать здесь, что все это нам необходимо. Фрунзе, Дзержинский, Ленин, Свердлов, подпольщик-большевик, хозяйственник, рабочий—все они, данные в художественных образах, с полным показом их, как живых, борющихся людей, нам чрезвачайно интересны и необходимы. Художественная литература не только показывает, но и воспитывает. Наша эпоха, с ее социальными сдвигами, массой талантливых строителей и героических борцов не может не отразиться и отражается в художественной литературе.

Буржуазный философ Ницше изобразил социалистического человека безличной, довольно прыгающей блохой. Автор «Кирпичом по скворешне» таким же рисует человека, вступающего в социалистическое общество. Он лишает его всего того, что является неот'емлемой сущностью человека и великодушно оставляет только физиологические отправления. Трогательное, но для марксиста нелепое единение. Поистине, «всякая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется».

Статья тов. Курса—это попытка идейного разоружения пролетариата, механическое понимание нашей действительности, борьба, но не за культуру, а за бескультурье -вот коротко, что об'ективно (может быть и не желая того) защищал автор на страницах «Советской Сибири».

Кирпичи, тов. Курс, бросать легко, но все же надо смотреть, куда они падают.

Г. Круссер.

Резолюция бюро Крайкома ВКП(б) о журнале „Сибирские Огни"

Заслушав доклад отдела печати о журнале «Сибирские Огни», бюро Крайкома ВКП(б) констатирует, что наряду с известными достижениями (собрание и выявление писательских сил края, содействует росту творческой продукции, наличие в журнале целого ряда ценных литературно-художественных произведений и статей) журналом допущены серьезные идеологические ошибки. Эти основные ошибки следующие:

1) Наличие в журнале (особенно в №№ 1 и 2 за 1928 г.) отдельных произведений, отражающих чуждые рабочему классу настроения и влияния, а именно: тенденции семиновеховского национализма (статьи Бурдукова «Сибирь и Монголия», Романова «Основные моменты русской политики на Д. Востоке», роман Югова «Безумные затеи Ферапонта Ивановича» и др.), элементы областничества и «провинциальной ограниченности» (В. Зазубрин—«Литературная пушнина» и др.), неправильное изображение советской деревни (как сплошная темнота, одичание) и трактовка взаимоотношений города и деревни, как эксплоатации рабочим классом крестьянства.

2) Отсутствие со стороны основной группы коммунистов—руководителей и литсотрудников журнала—необходимого отпора указанным чуждым нам настроениям и недостаточно критическое отношение к идеологической выдержанности собственных произведений, в результате чего последние нередко дают неправильное, вредное по своим результатам, отражение советской действительности (В. Зазубрин «Заметки о ремесле» и проч.).

3) Допущение на страницах журнала, без соответствующих примечаний редакции, критических статей, содержащих элементы ревизии основных положений марксистской методологии в области художественной критики и искусства вообще (статьи Л. Аникимова «Вопросы художественного творчества», рецензия Е. Титова, Зазубрин—«Октябрь и литература». М. Горький—«Ответ Л. Аникимову» и др.), теория классового мира на почве «обще-культурных» интересов (рецензия В. Правдухина).

4) Невыполнение редакцией журнала указаний Крайкома об усилении идеологического руководства и приближения журнала к современной советской действительности.

Вместе с тем бюро констатирует недостаточное внимание парторганизации, (в частности краевого и окружного актива и коммунистов-литераторов) к практическим вопросам литературной политики вообще, и в частности к «Сиб. Огням», что не могло не отразиться как на количестве и качестве ошибок, так и на своевременности изживания их.

В дальнейшем считать необходимым:

а) Усилить критический отбор печатаемых произведений, проявляя в то же время максимально внимательное и чуткое отношение к авторам-коммунистам, начинающим

писателям из среды рабочих и крестьян и вообще близкому нам писательскому молодняку, при чем этому требованию полностью соответствует раз'яснение этим авторам допускаемых ими идеологических уклонов и ошибок.

б) Взять решительный курс на отражение в журнале,—прежде всего в литературно-художественном отделе—основных моментов текущего социалистического строительства (коллективизация, узловые хоз. вопросы, конкретные задачи культурной революции, индустриализации и др.). Журнал должен добиваться отражения успехов и трудностей этого строительства и живого показа главных участников его—масс пролетариата и трудящихся деревни. Писатели-коммунисты обязаны соответствующей общественной установкой своего творчества подать пример писателям беспартийным,—должны повести их за собой.

в) Создать действительно марксистски-выдержанный отдел критики и библиографии, строя его под углом решительной борьбы с враждебными рабочему классу идеологией и настроениями и творческого и идейного воспитания молодых писателей.

г) Организовать (под руководством АПО и отдела печати) вокруг журнала тесно связанное с ним ядро писателей и критиков-коммунистов, а также лучших беспартийных, занимающих на деле позиции социалистического строительства; организовать критику таким образом, чтобы она способствовала выявлению талантливых писателей (особенно из рабоче-крестьянской среды) и нормальному развитию их.

д) Добиться прочной связи с широкими трудящимися массами и систематической классовой критики журнала, наряду с другими мероприятиями, путем: обсуждения очередных номеров и диспутов по отдельным произведениям, печатаемым в журнале, на партийных, комсомольских, рабочих собраниях и помещения в журнале критических отзывов рабочих и крестьян. Партийные организации на местах должны оказать редакции, «Сибогни» всемерное содействие в этом отношении, организуя через АПО, редакции газет и местные писательские организации публичные дискуссии о журнале.

ж) Поручить секретариату проработать вопрос о составе редакции журнала.

з) Предложить АПО и отделу печати усилить руководство литературно-художественной и издательской деятельностью в крае.

Обращение

правления сибирского союза писателей ко всем членам союза и писателям, работающим в Сибири

Дорогие товарищи!

Резолюция бюро Сибирского краевого комитета ВКП о «Сибирских Огнях» в области художественной литературы относится прежде всего к членам нашего союза. Некоторая часть ошибок редакции «Сибирских Огней» тесно связана с отсутствием определенной общественной установки в продукции значительной части писателей, работающих в Сибири, в пренебрежении основными темами современной советской действительности (классовая борьба, культурная революция, социалистическое строительство и пр.). Правление сибирского союза писателей и редколлегия «Сибирских Огней» до настоящего момента не обращали внимание писателей на эти, стоящие перед нами задачи, следствием чего, в связи с указанными в резолюции ошибками редакции «Сибирских Огней» и в связи с известным оживлением враждебных пролетариату классовых группировок (кулак, нэпман), явилось бесспорное «наличие в журнале (особенно в №№ 1 и 2 за 1928 г.) отдельных произведений, отражающих чуждые рабочему классу настроения и влияния». Эти настроения и влияния, правильно выявленные «Советской Сибирью» и др. партийными органами печати, резолюция Краевого Комитета усматривает в области художественной литературы и критики «в тенденции сменовеховского национализма (роман Югова—«Безумные затеи Ферапонта Ивановича»), в элементах областничества и «провинциальной ограниченности». (В. Зазубрин—«Литературная пушнина» и др.), в неправильном изображении советской деревни (как сплошной темноты и одичания), в трактовке взаимоотношений города и деревни, как эксплоатация рабочим классом крестьянства... во вредном по своим результатам отражении советской действительности (В. Зазубрин «Заметки о ремесле» и проч.) и в элементах ревизии основных положений марксистской методологии в области художественной критики и искусства вообще» (ряд статей и рецензий, указанный в пункте 3 резолюции Крайкома).

Разделяя полностью точку зрения резолюции Крайкома, мы считаем важнейшей задачей нашего союза: «Взять решительный курс на отражение... основных моментов текущего социалистического строительства (коллективизация, узловые хоз. вопросы, конкретные задачи культурной революции, индустриализация и др.)... Добиваться отражения успехов и трудностей этого строительства и живого показа главных участников его—масс пролетариата и трудящихся деревни».

Считая указанную общественную установку в работе писателя важнейшей задачей, мы этим отнюдь не отрицаем ценности показа на фоне социалистического строитель-

ства других социальных типов и даже других классов. В настоящее время всякое художественное произведение о современной жизни может быть большим шагом вперед для членов нашего союза, но мы обязаны решительно заявить, что ни одно такое произведение не может стоять вне связи с идеями пролетарской революции. Сознательное и бессознательное замазывание этой связи (натуралистический «об'ективизм», голый бытовизм, беспросветная лиричность и т. п.) на деле является вовсе не «об'ективным, художественно-правдивым подходом», а проникнуты совершенно ясной и враждебной пролетариату тенденций. Мы должны указать также, что в то время, как для революционных писателей, участников гражданской войны и партизанского движения, все еще является своего рода долгом писать об этой славной, неповторимой эпохе революции, для молодых писателей, из которых по преимуществу и состоит наш союз, установка резолюции Крайкома на современность является особенно актуальной.

Работа писателя не может быть плодотворной без углубленного изучения и всестороннего знания материала, над которым работает писатель. Констатируя в современной литературе все растущее количество недопустимых погрешностей против действительности, ставящих автора зачастую в смешное положение в глазах читателя (например,—импорт зерна в Сибирь из Архангельска, в обмен на пушнину, Северным Мореким путем, ранней весной, когда еще видны северные сияния—Вл. Лидин—«Корабли идут» и т. п.), мы требуем от писателя самой тщательной продуманности в работе как в основных ее задачах, так и в деталях. Мы рекомендуем всем членам нашего союза не посылать для печати своих работ без предварительного разбора их на собраниях групп писателей и критиков, а также, по возможности, на собраниях рабочих, партийных и т. п., при чем авторы обязаны самым внимательным образом относиться к такого рода критике.

Со своей стороны правление обязуется принять все меры к тому, чтобы писателю была предоставлена полная возможность изучения современного социалистического строительства и участия в нем.

В числе других важных задач советской литературы, которые, конечно, не могут быть перечислены и определяются интересами трудящихся масс вообще, мы должны обратить исключительно внимание на борьбу с ново-буржуазной идеологией и всеми разновидностями мещанства. «Частнокапиталистические слои города и деревни, смыкающиеся с некоторыми бюрократическими элементами советского и хозяйственного аппарата, стремятся усилить свое противодействие наступлению рабочего класса, пытаются оказывать враждебное пролетарской диктатуре влияние на определенные слои служащих и интеллигенции, на отсталые слои кустарей и ремесленников, крестьян и рабочих. Это влияние проявляется также и в области культурно-политической и идеологической (проповедь сменовеховства, лозунг кулацкого «крестьянского союза», шовинизм, антисемитизм, проповедь буржуазно-демократических «свобод» и т. д.»*)—«Великая строительная работа,—говорит тов. Бухарин,—которая развертывается в нашей стране, вовсе не исключает нового мещанства, которое иногда трогательно похоже на старое. Ухватить его щипцами как следует, погладить его против шерсти крепкой мужественной рукой, да так погладить, чтобы ему, мещанству, пришлось кисло, а в то же время настоящие читатели не только бы не раскисли, но, наоборот, стали бы поспешно засучивать рукава, «чтобы еще быстрее приняться за работу»,—разве это было бы плохо?». К борьбе с мещанством, оружием художественной литературы призывает нас и Максим Горький. В этой связи могут появляться и отдельные произведения, представляющие собой сатирическое изображение нашей действительности; но мы в то же время не можем не согласиться с писателем Ф. Гладковым, видящем в постоянном изображении недостатков тоже правый уклон и тенденциозность, так как подлинное художественное произведение всегда открывает ясные и широкие перспективы.

---

*) Из резолюции XV с'езда ВКП(б) по отчету ЦК.

Говоря об этих задачах, мы должны подчеркнуть необходимость серьезных формальных исканий и выработки мастерства, без которых лучшие намерения художника теряют всякий смысл. Мы знаем также, что формальный расцвет искусства всегда был связан с выражением наиболее высоких общественных задач данного времени, с радостной готовностью художника «участвовать в общественных битвах» и утверждаем, что никакие формальные достижения в наших условиях немыслимы без органического слияния художника с современной советской действительностью, с ее строительством и ее целями.

Только в этой работе искусство даст жизненные типы революционной эпохи, а не «манекены для примерки по масштабам очередных резолюций». Только на этом пути наша литература, все еще в целом бесцветная, расцветет всеми лучами художественного спектра.

Правление сибирского союза писателей: Вивиан Итин, Н. Кудрявцев (Ник. Дубняк), Мих. Никитин, Е. Пермитин, Г. Пушкарев, А. Шугаев).*

Члены ревизионной комиссии: Г. Доронин, А. Гиршликович (Ехидин), Н. Изонги, А. Коптелов.

Обращение к читателям

КРИТИКУЙТЕ НАШ ЖУРНАЛ.

Какой рассказ, какое стихотворение понравились вам больше всего в этом номере? Какие не понравились, почему?

Интересно ли читать кино-сценарии?

Надо ли помещать в «Сибирских Огнях» фотографии и др. иллюстрации?

Правдив ли очерк Мих. Никитина—«Кадры»?

Верно ли и достаточно ли отражает недостатки нашего строительства и борьбу с этими недостатками союза строителей статья т. Слонима—«Красные строители и белый грибок»?

Интересна ли статья «Революция и язык»?

Каково ваше общее впечатление от настоящего номера «Сибирских Огней»?

Что, по вашему мнению, необходимо для улучшения журнала?

РЕДАКЦИЯ ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС.

Десять наиболее ценных отзывов читателей об этом номере «Сиб. Огней» будут напечатаны в № 5 журнала.

Авторы отзывов получат бесплатно все номера журнала за 1928 год.

Примечание. Профессиональные литераторы и критики в конкурсе не участвуют.

---

*) Остальные члены правления: В. Зазубрин, И. Гольдберг, К. Урманов, находящиеся в раз'езде, вследствие этого не могли сообщить о своем желании присоединиться к «Обращению».

ХРОНИКА

ДЕСЯТЬ ЭКСПЕДИЦИЙ НА ОКРАИНЫ СИБИРИ.

На туземные окраины Сибири отправилось 9 экспедиций.

Сибирская научная станция рыболовного хозяйства отправила 2 экспедиции. Одна из них выехала в низовья Енисея для водоустройства туземцев и вторая—в районы Васьюгана и Ваха.

Сибирский земельный отдел снарядил экспедицию в районы Приангарья для землеустройства туземцев и такую же—на север Киренского округа для разграничения земельных угодий между туземцами и русскими.

Для обследования охотничьих угодий правобережья и левобережья Енисея отправилась экспедиция во главе с профессором Соловьевым—известным охотоведом. Для организации охотничьего хозяйства отправилась экспедиция в Горную Шорию.

Комитет Севера отправил на Томский север экспедицию во главе с профессором Грюнер для обследования артельных кормовых угодий и оленеводства.

Из Иркутска выезжает экспедиция в Бодайбинский район для обследования бодайбинских тунгусов. Кроме этого, по заданию комитета Севера, проф. Б. Э. Петри выезжает вскоре в Качугский район для обследования тутуро-очеульских тунгусов. Обследованием намечено установить точные границы расположения тунгусов и возможность развития коллективизации тунгусского хозяйства. Профессор Петри предполагает пробыть у тунгусов около двух месяцев.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОЛЫМЫ.

Из Иркутска отправлена научная экспедиция по изучению Колымского края.

В глухом краю сотрудники экспедиции пробудут 2 года и детально изучат течение р. Колымы и ее притоков. Главная наша задача—определить, возможно ли использовать эту мощную реку для судоходства и сплавных операций.

БАЗА ПО ИЗУЧЕНИЮ БАЙКАЛА.

19 июня, при открытии экскурсионной базы ВСОРГО на Байкале состоялось заседание, на которое были приглашены представители крестьян с. Листвянничного и общественных организаций. Крестьяне приветствовали приближение науки к массам и первый случай научного заседания среди крестьян. Экскурсионная база будет центром работы по изучению Байкала. При ней построено помещение для экскурсантов и работников.

ИЗУЧЕНИЕ ФАУНЫ СИБИРИ.

Общество изучения Сибири отправляет в конце июня две экспедиции. Первая направляется в горную Шорию (в Кандомо-Мрасский район) для выяснения запасов промысловой фауны, охотничьих угодий и экономики промысла.

Вторая экспедиция следует в Бийский, Минусинский, Хакасский округа, Ойротию и пределы Семипалатинской губернии. Основная задача—общее обследование мараловодства, выяснение вопроса ухудшения качества пантов и друг.

ИЗУЧЕНИЕ НЕРЧИНСКОЙ КАТОРГИ.

Нерчинская каторга в истории революционного движения не только Дальнего Востока и Сибири, но и всего СССР занимает видное место. Многие революционеры прошли через тюрьмы этой каторги: Акатуйскую, Зерентуйскую, Кутамарскую, Амачинскую и др. Многие погибли там.

Изучить историю этих тюрем, историю ссылки, собрать документы, вещи, материалы, личные воспоминания крестьян и старожилов окрестных деревень, собрать песни каторги и ссылки этих районов, проследить влияние тюрем и политической каторги на окружающее население, его занятия и быт—задача большая, ответственная, очень ценная.

Академия Наук СССР, придавая изучению нерчинской каторги большое значение, поручила Читинскому музею имени А. К. Кузнецова отправить в эти

районы специальную экспедицию. В ее состав входят научные работники музея и Забайкальского географического общества. Руководит работой старый политкаторжанин Н. Н. Жуков.

РУССКО-НЕМЕЦКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В БУРЯТИИ.

В круг работ экспедиции входит изучение сифилиса во всех его видах: кожного, первичного, болезней внутренних органов и т. д.

Экспедиция придает большое значение изучению влияния сифилиса на потомство, наследственность, будут проведены опытные работы на кроликах.

Экспедиция уже приступила к развертыванию работы.

Главная база экспедиции расположена при Кульской больнице. Здесь оборудовано специальное общежитие для приема больных на лечение.

АКАДЕМИЯ НАУК ИЗУЧАЕТ БУРЯТИЮ.

В нынешнем году Академия Наук СССР послала в Сибирь две крупных экспедиции. Одна займется изучением Байкала, другая—Хамар-Дабана.

Байкальская экспедиция под руководством Г. Ю. Верещагина разбита на две партии. Зимняя партия займется изучением рельефа дна северной глубинной впадины, расположенной между Святым Носом и Ольхоном. Летняя партия будет изучать Баргузинский и Чивыркуйский заливы и минеральные озера, расположенные в перешейке между ними. На участке между Селенгой и Горячинском и в районе Маритуя будет произведено изучение колебания озера. Определение глубин и изучение прозрачности и цвета воды будет производиться при помощи новейших методов.

Хамар-Дабанская экспедиция организована ботаническим музеем Академии Наук под руководством члена академии профессора В. Н. Сукачева. Экспедиция ставит своей задачей изучение флоры, сбор высохших лишайников, мхов, изучение всего растительного покрова в сопоставлении с общим типом ландшафта склонов Хамар-Дабана.

Кроме этих экспедиций, на средства Бурято-Монголии Академия Наук произведет археологические исследования в Агинском, В.-Удинском и Троицкосавском аймаках.

Работами будет руководить сотрудник Госакадемии по истории материальной культуры Г. П. Сосновский, который займется сбором материалов для установления классификации древних памятников Бурятии.

Кроме того, будет произведено этнолого-лингвинистическое обследование, изучение наречий и собирание материалов по народной словесности и шаманству.

ПИСЬМО ФИНЛЯНДСКИХ УЧЕНЫХ.

Через общество культурной связи с заграницей ВСОРГО получил большую партию книг (47 томов) из государственного Гельсингфоргского университета в Финляндии. В обмен ВСОРГО выслал из Иркутска свои издания. Научные работники Гельсингфоргского университета отмечают в своем письме, что среди ученых Финляндии наблюдается большой интерес к изучению Сибири. Поэтому университет просит выслать все издаваемые ВСОРГО издания.

ИЗЫСКАНИЯ НА САХАЛИНЕ.

На острове Сахалине производится большая работа по исследованию нефтеносных и угленосных месторождений. Работает геологическая экспедиция в составе 76 человек, под руководством геологов Худякова и Полевого, организованная центральным геологическим комитетом.

Экспедиция займется изучением нефтяных участков в районах Чайво и Оха.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ—НА КУЛЬТУРНЫЕ РЕЛЬСЫ.

4 сибирских специалиста сельского хозяйства отправлены в Америку для изучения ее сельско-хозяйственного производства. Поездка в Америку вызвана тем обстоятельством, что они предназначаются для руководства новыми крупными зерновыми совхозами, которые организуются в Сибири. Организация новых крупных совхозов в Сибири начнется с будущего года. Основные, наиболее крупные совхозы, организуются в Омском, Славгородском, Барабинском округах. Командированные в Америку специалисты—будущие руководители новых совхозов—вернутся через 5-6 месяцев.

СЕМЬ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРО-КОМБИНАТОВ.

В Сибири в этом году начнется постройка семи сельских электро-комбинатов.

Комбинаты строятся в разных пунктах Сибири для того, чтобы доказать, крестьянам выгоды крупного электростроительства.

Первые 7 комбинатов создаются в Учпристани, Бийского округа, Поспелихе, Рубцовского округа, Крутологово, Новосибирского округа, Жигалово, Иркутского округа, Баграде, Хакасского

окр., Болотном, Томского окр., и Сорокино, Барнаульского округа.

Каждый комбинат будет состоять из электрической станции, мастерских, мельницы, маслозавода и др. индустриальных предприятий. В организуемые электро-товарищества входят крестьяне и все государственные и кооперативные организации района.

Электро-комбинат в с. Шелаболихе, Барнаульского округа, уже пущен в действие. Работают электрическая станция и мельница с нагрузкой в 1500 пудов зерна в сутки.

ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД.

Начатый постройкой при ст. Белово, Кольчугинской ветки, Кузбасский завод будет первым крупным цинковым заводом в СССР. По своему оборудованию и по применению последних достижений техники этот завод явится первым в мире.

На работы по постройке до 1 октября ассигнован 1 миллион рублей. Весь завод будет стоить около 16 миллионов руб., при чем одно лишь оборудование его обойдется в 7 милл. руб. Приобретено уже шесть километров рельс для прокладки ветки от завода до ст. Белово, строятся вспомогательные здания.

Первые годы цинковый завод будет работать на цинковых концентратах Риддера, а затем—на Салаирских цинковых рудах.

РЕГУЛЯРНОЕ ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ ИРКУТСК—ЯКУТСК.

До нынешнего года почта по р. Лене, на участке Качуг—Усть-Кут, доставлялась самым «первобытным путем»—на лодках, поднимавшихся против течения при помощи конной тяги.

Путь между Качугом и Усть-Кутом (517 километров) лодки совершали шесть-семь суток, а обратный путь на два-три дня больше.

Теперь положение меняется: в июне из Качуга в первый рейс до Усть-Кута вышел теплоход «Ленинец», проделавший весь путь туда и обратно (1034 километра) в пять суток. Вниз по течению он потратил 31 час, на обратный путь—81 час, восемь часов потрачено на остановки. На буксире «Ленинец» вел баржу с почтой и пассажирами.

В дальнейшем теплоход будет регулярно прибывать в Усть-Кут раз в неделю, ко времени отправки в Якутск почтово-пассажирских пароходов. Таким образом, удалось установить сквозные почтово-пассажирские рейсы Иркутск—Усть-Кут—Якутск, что повлечет за собою снижение эксплоатационных расходов за доставку почты.

Пассажирский билет на «Ленинце» от Качуга до Усть-Кута стоит 15 рублей, на частных же теплоходах 20-25 рублей. Заплатив эту сумму, пассажир почтового теплохода пользуется спальным местом.

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОБЕГ.

31 мая состоялся первый в Сибири авто-мотопробег, организованный Омским авто-клубом. В пробеге участвовало пять авто-машин и 10 мотоциклов. Цель пробега—пропаганда в деревне задач Автодора и информирование деревни о текущих политических событиях.

Машины шли в пяти направлениях, по 350 верст, делая остановки на каждом крупном пункте, в районных селах. Во время пробега организованы тройки Автодора.

ОХРАНА МАТМЛАДА У ОЙРОТОВ И ТУНГУСОВ.

Нынче впервые организована широкая работа по охране материнства и младенчества у сибирских туземцев.

В Ойротии работу охматмлад начал с организации уборных (новость в гигиене жилища, а отсюда и самого ребенка), постепенно переходя к передвижной консультации, затем постоянной, к яслям и т. д. В Туруханском крае начата организация передвижной консультации. Характер этой консультации чисто-исследовательский. В задачи ее входит ознакомление с отдельными туземными группами, представляющими Туруханский край, изучение их быта, правового положения женщины, нащупывание методов по организации дела охматмлада, обследование проводимой работы. Методы работы самой передвижки: прием детей, главным образом, раннего возраста, советы матери о воспитании ребенка, обучение матерей уходу за ребенком, прием матерей вообще, проведение бесед с выставкой, чтение литературы и т. д. Неизбежна, конечно, некоторая медицинская помощь населению. Состав передвижки: врач, акушерка, фельдшерица и рабочий.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БУРЯТИИ.

Школьная сеть Бурятии по пятилетнему плану увеличивается на 224 комплекта школ 1 ступени. Вместо 761 комплекта, пятилеткой предусмотрено 875.

Пятилетка предусматривает и реорганизацию 9 семилеток, из коих 4 будут реорганизованы в ШКМ и 4—с 9 классами в школы второй ступени. Кроме того, будет открыто 2 новых ШКМ, и

увеличивается количество школ повышенного типа с 4 до 8.

В области профессионального образования проектируется расширение Бурпедтехникума и русского подтехникума на 50 процентов и предусматривается развертывание сельско - хозяйственного техникума на 240 человек с агрономическим и землеустроительным уклоном и 3-х годичного медицинского техникума на 100 человек с акушерским отделением.

Общий стипендиальный фонд увеличивается на 38 проц.

ПЯТИЛЕТИЕ БУРЯТИИ.

Центральная комиссия по проведению празднования пятилетия Бурятии разработала порядок празднования по случаю этой знаменательной годовщины.

На праздновании будет проведена борьба с призами, бега и проч. национальные соревнования. Решено вызвать из каждого аймака, кроме Северо-Байкальского и Баунтовского, по одному стрелку из лука. В В.-Удинске организуется промышленная выставка с использованием части экспонатов Октябрьской выставки. На стеклозавод, механлит и другие производственные предприятия будут совершены экскурсии крестьян, приглашаемых из аймаков. Госпланом будет выпущен юбилейный номер журнала—«Жизнь Бурятии». Созданные аймачные комиссии будут производить празднование, примерно, в том же порядке, при чем намечено провести экскурсии крестьян западных аймаков к восточникам и восточников—к западникам. К моменту празднования в каждом аймаке должны быть проведены пленумы аймисполкомов с выездом в улусы и села. Центральная комиссия рекомендует по аймакам организовать конкурсы на лучшие песни, игры на «хурах» и «элебе» (национальных инструментах), выезды хоровых и музыкальных кружков на места, выставки достижений по отдельным отраслям работ аймаков.

ОРГАНИЗОВАН ФОНД ПОМОЩИ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ.

При президиуме Сибкрайсовнархоза создается специальный краевой фонд содействия изобретательству в промышленности. Фонд предназначается: для покрытия расходов по составлению расчетов, чертежей и других документов, необходимых для получения патентов для оплаты устройства моделей и производства опытов для оказания денежной помощи изобретателям и на расходы, связанные с командировками специалистов на обследование и испытание изобретений.

ЯБЛОНЯ И ГРУША НА ТОМСКОМ СЕВЕРЕ.

Украинские крестьяне, переселившиеся несколько лет тому назад на реку Кенгу (Парабельский район), сообщают, что им удалось достигнуть благоприятных результатов по акклиматизации яблонь в тайге Томского севера.

Нынешней весной, на Кенге зацвели первые фруктовые сады, в которых привились яблоня, груша и вишня.

Кроме того, прошлой осенью дали прекрасный урожай арбузов первые бахчи на Кенге. По своим размерам и вкусу эти арбузы ничуть не уступят семипалатинским.

ХУДОЖНИКИ В ИРКУТСКЕ.

В Иркутске продемонстрирована отчетная выставка учащихся художественной школы и студии при ней. Выставка вызвала огромный интерес со стороны всех слоев трудового населения города (подобная же выставка, устроенная в апреле нынешнего года в Черемхово, привлекла усиленное внимание шахтеров). Тяга в школу из среды рабочих и крестьян увеличивается из года в год. Состав учащихся уже сейчас пролетаризирован на 47 проц.

На выставке представлены работы 106 учащихся школы.

ПЕРВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА В ЯКУТИИ.

По инициативе Якутской секции ВСОРГО, в Якутии нынче летом впервые устраивается выставка картин иркутских художников, посвященных, главным образом, быту народов Якутии и крайнего севера. На выставке будет до двухсот полотен.

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА СЕВЕРА.

Итоги большой работы участников приполярной экспедиции нашли себе отражение в специальной выставке в Красноярске.

Свыше 400 экспонатов разбиты на следующие отделы: этнографический, советизация края, охота, рыбная ловля, торговля.

По картам, диаграммам, снимкам, моделям, картинам, рисункам и документам можно ознакомиться с племенным составом населения Туруханского края, с его бытом, с состоянием школьного дела, медпомощи, административным устройством, оленеводством, промыслами и торговлей.

Материал выставки прекрасно дополняют картины и зарисовки художника Лекаренко, посвященные преимущественно пейзажу севера и быту туземцев.

СИБИРСКИЕ КАНДИДАТЫ В АКАДЕМИЮ НАУК.

Общество по изучению производительных сил Сибири выдвинуло две кандидатуры во всесоюзную Академию Наук: проф. М. А. Усова и проф. П. Н. Крылова.

Проф. М. А. Усов является также кандидатом и от Томского университета. Таким образом, его кандидатура поддерживается двумя научными учреждениями Западной Сибири.

Избрание проф. П. Н. Крылова в кандидаты общества по изучению производительных сил Сибири мотивируется тем, что проф. Крылов проделал колоссальную научную работу.

Проф. Крылов имеет 63 печатных труда. Он является автором многотомного определителя «Флоры Западной Сибири», лучшим знатоком которой профессор, по справедливости, считается.

РОСТ ШКОЛ В СИБИРИ.

Сибкрайстатотдел закончил обработку материалов школьной переписи, проведенной в декабре 1927 года. Оказалось, что количество всех школ по Сибирскому краю определяется солидной цифрой в 8.255, учащихся в них числится около 620 тысяч, преподавателей 17.915.

За последний год в Сибирском крае наблюдается тенденция к росту всех показателей по народному образованию: число школ по сравнению с прошлым годом увеличилось на 13 проц., число учащихся—на 12 проц., число преподавателей—на 19 проц. Больше всего возросло количество школ крестьянской молодежи. Здесь увеличение на 30 проц. Количество учащихся в школах крестьянской молодежи увеличилось на 67 проц.

В данное время по Сибирскому краю числится 74 школы крестьянской молодежи.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА СЦЕНАРИЕВ.

Акционерным обществом «Кино-Сибирь» совместно с Сибсоюзом сельскохозяйственной кооперации три месяца тому назад был об'явлен конкурс на лучший сценарий по вопросу о коллективизации. Предполагалось присудить две премии.

В июне состоялось заключительное заседание жюри, в составе представителей «Кино-Сибири», Сибкрайкома ВКП (б), Сибсельскосоюза, Сибсоюза писателей, Сибполитпросвета и Сиблито.

Жюри пришло к выводу, что ни один из полученных сценариев не удовлетворяет полностью выставленным требованиям. Поэтому первая премия остается неприсужденной.

Вторую премию (250 руб.) получил автор сценария «Половодье». Несмотря на ряд недочетов, которые подлежат исправлению, этот сценарий довольно ярко и в общем верно рисует коллективизацию сибирской деревни.

Автором премированного сценария оказался М. А. Морозов, сотрудник Сибфинотдела.

ПЕРВАЯ В СИБИРИ ПЛАНЕРНАЯ СТАНЦИЯ.

СибОСОавиахим постановил построить в Красноярске первую в Сибири планерную станцию.

Открытие станции преследует две цели: подготовить через кружки планеристов будущий кадр хороших летчиков и выявить такой тип самолета и мотора, которые при наименьшей затрате средств давали бы наилучшие результаты.

Постройка станции должна быть закончена ранее осени этого года. К этому времени в Красноярске и других округах Сибири, путем привлечения активистов из молодежи, будет приступлено к постройке планеров с тем, что бы осенью специальная техническая комиссия смогла произвести им испытание.

Лучшие планеры будут допущены к краевым состязаниям в Красноярске, наивысшие достижения в планеризме будут премироваться призами. Все активисты-планеристы будут взяты управлением воздушных сил на учет и при комплектовании воздухоплавательных школ им будет предоставлено преимущество к поступлению в школы.

«ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА».

Экспедиция кино-фабрики «Межрабпом-Русь» закончила с'емочные работы для фильмы «Потомок Чингис-хана».

Для этой интересной и грандиозной картины была заснята Баргойская степь (кадры революционного выступления): проезд английских офицеров, реквизиция у бурята скота, восстание бурят, национальные игры—«Сур-харбан», четыре боевых атаки. В Гусино-Озерском дацане был заснят ламский праздник «Цам», проведенный ламами в полном их составе по просьбе работников экспедиции. В Ганзурино был заснят «партизанский стан»—одна из частей фильмы.

В Ганзурино снимались настоящие партизаны, принимавшие участие в восстании против атамана Семенова и интервентов. Семейские бородачи, повидимому, произвели сильное впечатление на кино-работников.

В «партизанском стане» выступала одна семейская девушка из с. Тарбагатая—Чубунина, которая оказалась, по отзывам работников экспедиции, чуд-

ной актрисой, правдиво и искренне сумевшей передать свою роль партизанки.

Окончательная отделка фильмы «Потомок Чингис-хана» будет произведена в конце июля этого года. В прокат «Потомок Чингис-хана» пойдет в начале нового кино-сезона—с октября. Один экземпляр фильмы будет выслан в первую очередь в Бурятию.

Очень интересными подробностями о постановке этой первой бурято-монгольской фильмы поделился с читателями «Бурято-Монгольской Правды» популярный советский кино-режиссер и художник В. Пудовкин. Он пишет:

— «Когда я готовился в Москве к экспедиции, целый ряд лиц, по их уверениям, хорошо знающих здешние условия, наперебой расписывали мне всякие страхи. По их словам, выходило, что снять здесь картину так же трудно, как в Центральной Африке. Теперь, окончив работу, я твердо заявляю, что никогда за всю свою кинематографическую жизнь я не снимал в такой спокойной и благоприятной обстановке.

Начну с предметов неодушевленных. Огромный процент солнечных дней. Исключительный по разнообразию и богатству пейзаж. Огромные степные пространства, которые мы снимали в Баргое; найденные нами в Ганзурине скалистые горы—мощные и четкие, тайга за Березовской с ее огромными голыми деревьями и дикой чащей бурелома,—все это материал замечательный. С большой робостью ждал я момента, когда впервые придется столкнуться со с'емкой людей из местного населения, т.-е. бурятами. Опасения, конечно, оказались напрасными Первые же сцены показали, с какими податливыми, искренними и выразительными людьми мы столкнулись. Еще лишний раз я убедился в том, что нет необходимости связывать себя в работе только с актерами-специалистами.

С бурятами дело обстояло исключительно хорошо. Можно сказать, что в среднем они давали даже больше, чем я требвал. Иногда какая-нибудь сцена, которую я мыслил очень простой, получала в интерпретации увлекшегося ролью бурята такое великолепное развитие, что я с благодарностью принимал ее, как неожиданный подарок.

В начале июня мы снимали специально для нас организованный праздник «цам». Этот цам поразил нас своим своеобразным, невиданным великолепием. Причудливые маски и костюмы, странные тембры музыкальных инструментов, гудящих, стонущих и завывающих; удивительный ритм, отбиваемый тарелками, как-будто случайный и вместе с тем отчетливый и точный—все это, сплетаясь вместе, создает незабываеме впечатление.

В с'емке финала картины должно было принять участие максимально большое количество бурятских всадников. Вот тут-то мы по-настоящему почувствовали, как относятся к нам и нашей работе в Бурят-Монголии. Мало того, что по инициативе т. Оширова и при всемерном содействии правительства было созвано в Баргое более 2 с половиной тысяч всадников, наша с'емка была превращена в небывалый культурный праздник.

С вечера начала работать специально доставленная кино-передвижка. Прилетел аэроплан с членами Совнаркома. Многие из дальних жителей не только впервые увидали летающую машину, но даже и поднимались на ней. Перед с'емкой провели митинг.

Последний этап работы прошел в Ганзурино на Селенге. Там пришлось нам столкнуться с семейскими крестьянами, из среды которых выбирали мы партизан. Сильные, бородатые люди с ослепительными зубами, ясной улыбкой и с необычайно добродушным характером. Неделя с'емки, несмотря на довольно тяжелые условия (приходилось целыми днями лазить по горам), прошла под шутки и хохот».

ИНТЕРЕС ЯПОНИИ К СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

В газете «Забайкальский Рабочий» помещено следующее интересное письмо Н. Фельдмана из Токио (приводим письмо в выдержках).

Пожалуй, ни об одной стране сейчас в Японии столько не пишется, как об СССР, ни с какого языка столько не переводится, как с русского.

При этом речь идет именно об СССР, а не о русском вообще. Даже в детской игре—путешествия по городам земного шара—Ленинград символизирован не белым медведем и не развесистой клюквой а портретом Ленина. И имя Ленина, смело можно сказать, известно в Японии всем. И не только имя. Сочинения Ленина, брошюры, а иногда и труды побольше, можно встретить во многих книжных магазинах, при том на самом видном месте. В Токио недавно вышла подробная биография Ленина,—впрочем, сейчас же конфискованная,—с автографом письма Ленина на обложке; автор скрылся под псевдонимом «Улия Нофу» (разделенная надвое японская транскрипция слова «Ульянов»). Одни эти факты дают право предположить существование подпольной литературы Ленина и о Ленине.

Интерес к пролетарской революции проявляется и в распространении книг Маркса. Саженные об'явления в самых распространенных газетах и журналах о новом переводе «Капитала» или о новом издании полного собрания сочинений Маркса—обычная вещь. Какое-то издательство рекламирует даже специальные полочки для Маркса. Переводится и русская литература по марксизму—Плеханов, Бухарин, Деборин и др. Множество и японских трудов по этому вопросу.

Наконец, существуют специальные журналы, посвященные СССР. «Японо-Советское Искусство» (издается японо-советским литературно-художественным обществом) и «Экономическое Обозрение». Влияние советской литературы наиболее заметно сказывается на пролетарской литературе Японии—в этом отношении с советской литературой может соперничать только французская, и то больше поэзия. Русская литература издавна хорошо была известна Японии, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов не только чуть не полностью переведены, но и показали значительное влияние на самую японскую литературу. Сейчас советская литература так же усиленно переводится на японский язык.

В журнале «Японо-Советское Искусство» летом была помещена анкета, проведенная среди видных японских литературных деятелей по вопросу об отношении к советской литературе. Анкета довольно любопытная. Кстати—в ней один из очень редких в Японии примеров «развесистой клюквы»: заглавная виньетка к анкете изображает самовар—обыкновенный самовар с краном и ручками,—а на самоваре написано «СССР». Впрочем, не нам, не умеющим издать ни одной книжки об Японии без веера или Фудзиямы,—не нам над этим издеваться! К тому же содержание анкеты вполне искупает этот грех. Остается только поражаться: в ней названы Федин, Леонов, Бабель, Гладков, Сейфуллина, Замятин, Пильняк, Эренбург, Маяковский, Асеев, Есенин и много, много других. Все эти писатели представлены на японском языке переводом, если не целых произведений, то хотя бы отрывков. На первом месте стоит Пильняк (что, конечно, нужно приписать интересу, вызванному его приездом в Японию). Переведен полностью даже «Голый год».

Луначарский является одним из очень популярных в Японии имен (один из отвечающих на анкету называет даже его, как единственного любимого советского писателя). Он известен и как критик, и как драматург. «Освобожденный Дон-Кихот» шел в прошлом году в Токио в театре Дзэ-нэй-дза (Авангард). Заслуживает упоминания и другой театр, где часто ставят русские пьесы Цукидзе—Когэкидзйо, один из самых передовых и демократических по своей аудитории театров Токио.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ В НОВОСИБИРСКЕ.

Новосибирск является административным центром крупнейшей в Союзе территории—Сибири—и одним из крупнейших городов Сибирского края (около 150.000 жителей), еще не имеет зданий, в которых могла бы проводиться культурная работа, не имеет приличного музея, библиотеки, помещений для собраний.

Городской театр, именуемый Рабочим Дворцом, рабочих масс не обслуживает благодаря своей небольшой вмещаемости, он не может установить цен, доступных рабочим, так как это увеличит дефицитность театра. Рабочие и даже служащие, покупать билет по ценам, установленным гостеатром, не имеют возможности и чрезвычайно редко его посещают.

Отсюда необходимость постройки Дворца Культуры, который бы сочетал: театр, музей, библиотеки, картинную галлерию и другие культурные учреждения.

По предварительным подсчетам, постройка такого дворца определяется приблизительно в 2 с четвертью—2 с половиной миллиона рублей.

Ассигновать из местных бюджетов такую сумму не представляется возможным по тем соображениям, что есть целый ряд насущнейших нужд (школы, больницы и друг.), на которые местные средства нужно направлять в первую очередь. Тем не менее, намечено в течение ряда лет предусмотреть в городском и окружном бюджетах на постройку Дворца Культуры около 100 тысяч рублей ежегодно.

Помимо этого, возбуждено ходатайство перед Наркомпросом о принятии участия в этой постройке. Значительную часть средств предположено исходатайствовать в Цекомбанке и использовать средства от продажи здания гостеатра (около 300.000 руб.).

Для того, чтобы проводить эту работу, при горсовете организован комитет содействия постройке Дворца Культуры.

Начат сбор пожертвований.

БИБЛИОГРАФИЯ ЯКУТИИ.

В настоящее время в Ленинграде заканчивается большая работа научного сотрудника Нар. Ком. Просв. ЯАССР—Н. Н. Грибановского, которому якутским прави-

тельством было поручено составить библиографический указатель всех книг и изданий, относящихся к ЯАССР.

Обзор доведен до 1 января 1928 г. Всего выявлено до 17.500 названий, на которые имеются библиографические карточки, проверенные по подлинникам. Большинство карточек снабжено аннотациями, ко многим приложены рецензии. Картотека разбита на 12 отделов, отделы—на подотделы, и последние—на группы. Всех подразделений будет около ста. В подотделах и группах материал расположен в хронологическом порядке.

Осенью этого года труд поступает в печать. Издание предположено выпустить в трех томах. Первые два—об'емом по 500 страниц каждый; в третьем будут даны предисловие, указатели и легенды. В обработке материалов принимали живейшее участие комиссии по изучению Якутии при Академии Наук СССР и ряд ленинградских ученых из других учреждений.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС НА ПЬЕСЫ ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКОГО ЧИТАТЕЛЯ.

Сибполитпросветом был об'явлен конкурс на пьесы для деревенского театра. В основу конкурса бралась тема—«Новый быт Сибири». Срок представления пьесы с 1 апреля устанавливался по 1 июля.

По условиям конкурса пьесы должны быть анонимны, т.-е. без подписи автора (подпись должна быть в запечатанном конверте) 2/3 пьес не только подписаны авторами, но снабжены всевозможными справками о подлинности произведения автора, о его социальном положении и т. д.; но конкурсная комиссия, поскольку эти пьесы поступили из деревни, приняла их к рассмотрению.

Из 64 просмотренных пьес конкурсная комиссия нашла возможным одобрить только 3 и 5-6 таких, которые после тщательной переделки и переработки могут быть использованы для печати, но не для премирования.

Конкурсная комиссия, считая, что пьесы для деревни нужны, что Сибполитпросвет должен дать деревне свою сибирскую пьесу, нашел возможным и необходимым конкурс продлить до 1 октября с тем, что все прежде поступившие пьесы останутся в силе и будут рассматриваться наравне со вновь поступающими.

Одновременно конкурсная комиссия обращается к Сиб. Союзу Писателей и Сибирскому отделению Вапп'а с убедительной просьбой принять участие в конкурсе.

Сибирский писатель должен дать пьесу сибирской деревне, сибирский писатель должен осветить новый быт деревни массовому зрителю.

«На конкурс,—говорится в условиях нового конкурса,—может быть представлена пьеса (драма, комедия, картина—по выбору автора и в зависимости от характера выбранной темы), достаточно приспособленная к условиям деревенской сцены (не более 3 актов, небольшое количество действующих лиц, несложные декорации и пр.).

В представленном на конкурс литературном произведении должна найти отражение современная действительность, новый советский быт в его борьбе со старым и в растущем социалистическом строительстве.

Сюжет произведения должен быть взят преимущественно из сибирской действительности.

Произведение должно быть выполнено художественно без грубой агитки, без излишних длиннот, напыщенности и «глубокомыслия», написано простым и понятным языком.

За лучшие произведения установлены следующие премии:

Первая—одна в 250 руб.
Вторая—две по 150 руб. каждая.
Третья—две по 75 руб. каждая.

Премированные пьесы будут напечатаны. Независимо от премий, авторы напечатанных произведений получат обычный гонорар.

Срок сдачи пьес на конкурс установлен 1 октября 1928 г.».

Конкурсная комиссия вновь обращает внимание авторов на то, что пьесы ни в коем случае не должны подписываться. На пьесе ставится какой-либо лозунг. Этот же лозунг и название пьесы пишется на отдельном конверте. В конверт вкладывается листок с названием пьесы, лозунгом и фамилией. Конверт плотно закрывается.

Адресовать пьесы следует в г. Новосибирск—Краевой отдел народного образования, Сибполитпросвет для конкурса.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ.

Правление Сибирского Союза Писателей в июне и июле т. г. выпустило ряд книжек сибирских писателей. Сюда вошли—Н. Анов «Ядовитое жало», рассказ; А. Давурин—«За кругом»—рассказ; Г. Доронин—«Земля подшефная» — поэма; С. Марков—«Голубая ящерица»—рассказ; П. Петров—«Партизаны»—поэма и сборник стихов «Вьюжные дни»—II-е издание с дополнениями. Книжки имеют минимальную цену и довольно хорошую по сибирским условиям внешность.

В 1928 году предполагается выпустить всего до 15 названий. Готовятся к печати Г. Павлов—«Параграфы, пропущенные в книге»—рассказ, И. Абабков—«Жизнь отрока Епиксима»—повесть и М. Никитина «Кадры» — очерки жизни сибирского ВУЗ'а, А. Коптелова—«Алтайские очерки» и др.

Распространение обеспечено твердой договоренностью с книготоргующими организациями об определенном заборе всех изданий. Возможный от продажи изданий фонд пойдет на расширение деятельности издательства.

В ГЕРМАНИЮ НА КНИЖНУЮ ВЫСТАВКУ.

В Германии в г. Кельне открыта международная книжная выставка, на которую из Сибири командируются редактор журнала «Настоящее» А. Л. Курс и председатель правления Сибкрайиздата М. М. Басов.

СПИСОК ПИСАТЕЛЕЙ.

VIII сессия Совета Государственной Центральной Книжной Палаты в Москве высказалась за целесообразность издания списков живых и умерших писателей СССР.

ПИСАТЕЛИ ЛЕТОМ.

Каждое лето для писателя является заготовкой материала для зимних камеральных работ. Писатель едет в деревню в глушь, в горы, на стройку изучать тот материал, который нужен ему для его работы. Сибирские писатели не упустили этого лета, разбредясь в разные стороны. В. Зазубрин работает в южном Алтае, В. Итин едет тоже на Алтай. К. Урманов об'ехал Минусинский округ и Хакасию сейчас бродит по коммунам и колхозам, И. Ерошин—был на юге Сибири—в Хакасии, П. Стрижков пробирается на Алдан, М. Кравков бродит по Абакану, Е. Пермитин делает зарисовки в военных лагерях, Г. Павлов работает в коммуне «Майское Утро», Л. Мартынов вернулся с Балхаша и собирается ехать с переселенцами на Д. Восток, С. Марков едет с экспедицией, И. Абабков работает над романом, Н. Феоктистов заканчивает книгу «Записки сибирского журналиста».

СИБИРСКИЕ ИЗДАНИЯ.

За последние месяцы в Сибкрайиздате вышел ряд книг по сибирике: Тут М. Кравков «Естественные богатства Сибири», проф. В. Ревердатто и В. Хахлов «Природа Сибири», «Культурное строительство в Сибири», «Финансы и народное хозяйство Сибкрая».

Из методической и учебной литературы вышли «Сибирский вариант программы ГУС'а для сельских школ 1-й ступени и то же для городской школы, «Как поступить сибирякам в ВУЗ'ы», Венгрева Н. и Осмоловского—букварь «Мы в школе» и 1-я книжка после букваря «Мы в школе».

СИБИРСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

В данное время в редакции имеется уже около 6000 рукописей. Сданы для печати карты для 1-го тома—административная и геологическая, на днях отправляется в Москву ряд картин сиб. художников для изготовления трехцветных автотипий. Сдаются в печать также карты округов для 1-го тома. Том этот включает слова до буквы К.

Текст усиленно редактируется, причем в процесе окончательной редакции встает много осложнений, требующих дополнительных справок, исправлений, собирания нового материала и т. д. Сказывается также летнее время, т. к. многие авторы находятся в экспедициях, отпусках и т. д. Все же редакция надеется сдать материал в набор с таким расчетом, чтобы 1-й том разослать подписчикам к октябрьским дням.

Г. П.

Основы нового закона об авторском праве

ЦИК и СНК опубликовали новый закон об авторском праве.

В отличие от старого закона, 1925 года, новый закон четко определяет права и положение автора, расплывчато набросанные в законе 1925 года.

Наметка старого закона давала возможность эксплоатации авторского права со стороны издательств, ограничивала авторские права таким сроком, что престарелый писатель лишался права на свои произведения, и право на беспрепятственное издание их переходило к издательствам, и многое другое.

Сам автор находился в каком-то промежуточном состоянии. Финаппарат, приравнивая его к «ремесленнику без двигателя» (буквальная номенклатура финорганов по обложению автора налогом), в жилищном отношении его приравнивал к лицам свободных профессий, платящих особо повышенные ставки за жилплощадь, в отношении взыскания гонорара с издательств он приравнивался ко всем гражданам, пред'являющим гражданский иск, автор не подлежит соцстрахованию, даже в профсоюз долго не включали автора, как «не имеющего постоянного занятия» и т. д.

Новый закон в этом отношении ставит автора совершенно в новое положение.

Декрет о введении в действие основ авторского права от 16 мая 1928 г. («Известия» № 113 от 17 мая 1928 г.) говорит:

«Дополнить гражданские процессуальные кодексы правилами, приравнивающими порядок обращения и взыскания вознаграждения, причитающегося авторам за полное или частичное отчуждение своего исключительного права, к порядку заработной платы».

Мы знаем строгость закона о взыскании заработной платы, и приведенная предпосылка к основам авторского права должна стать весьма убедительным аргументом для тех издательств, которые слишком «вольно» обращаются с авторским гонораром.

Но мало одного гонорара, закон должен охранять само авторское право. Разве мы не видим, как издательства без зазрения совести перепечатывают целые книги без разрешения автора (Красноярск) и без оплаты гонорара. Разве мы не знаем, что авторы, особенно кинофильм, не узнают своего детища после рождения его в свет. Редакторский и режиссерский карандаш делает то, что автор сконфуженно пишет после в газете: «собственно говоря, как-будто это и моя вещь, но ей богу, я этого не писал».

Закон для таких «операторов» предпосылает краткую статью закона. «Предусмотреть в уголовных кодексах меры социальной защиты против нарушений авторского права!».

И, наконец, последнее чрезвычайно существенное постановление ЦИК'а и Совнаркома—дополнить гражданские процессуальные кодексы правилами, воспрещающими обращение судебных взысканий на авторское право и допускающими обращение таких взысканий лишь на доходы, извлекаемые при осуществлении названного права.

Таким образом, никакое произведение автора не может быть насильственно из'ято у автора, автора никто не может обязать реализовать его труд, наложить на него арест и т. д. Когда же автор реализует его, тогда только судебные инстанции могут взыскать с автора ту или другую сумму, подлежащую оплате за долг, установленный судом.

С такими предпосылками ЦИК с СНК публикуют новые основы авторского права.

Кто же такой автор? На кого распространяется новый закон?

Авторское право распространяется на всякое произведение литературы, науки и искусства, каковы бы ни были способ и форма его воспроизведения, а равно его достоинство и назначение, как-то: устные произведения (речи, лекции доклады и т. п.); письменные произведения (книги, статьи, сборники и др.); произведения драматические и музыкально-драматические: переводы; произведения хореографические и пантомимы, в отношении постановки которых имеются указания, изложенные на письме или иным способом; кинематографические сценарии; музыкальные произведения с текстом или без текста, рисунки, произведения живописи, скульптуры, архитектуры и графических искусств, иллюстрации; географические карты; планы, эскизы и пластические произведения относящиеся к наукам, технике или к постановке на сцене драматического или музыкально-драматического произведения; киноленты; фотографические произведения или произведения, полученные способами, аналогичными с фотографией, и т. п.

На все эти произведения, появившиеся в виде рукописи или эскиза или в той об'ективной форме на территории СССР, а также находящиеся в СССР, авторское право признается за автором и его правоприемниками независимо от их гражданства.. Но, если произведение появилось за границей или находится там, авторское право признается за ним только в том случае, если с этой страной заключена литературная конвенция. Поэтому, наши произведения совершенно невозбранно появляются за границей и наоборот -ряд произведений эмигрантов печатается здесь в СССР. Взять хотя бы А. Аверченко, Бунина, Куприна и других.

Автор имеет исключительное право под своим именем или под условным именем (псевдонимом), или без обозначения имени (анонимно) выпустить в свет свое произведение и в течение установленного в законе срока всеми дозволенными законом способами воспроизводить и распространять его, а равно извлекать всеми законными способами имущественные выгоды из названного исключительного права.

Интересен вопрос о коллективных трудах, о коллективных произведениях науки, литературы и искусства.

В данном случае, если только произведения каждого автора не являются совершенно самостоятельной частью, могущей быть из'ятой без ущерба всему произведению и между авторами не было соглашения, авторы считаются, как единое целое, неделимое, не могущее разрываться на части без согласия остальных соавторов.

Составители сборников из произведений, утерявших авторское право, или из всякого рода документов, писем и т. д., могут считаться авторами только в том случае, если эти материалы будут соответственно переработаны.

Составители сборникоз обязаны точно указывать, какими материалами они пользуются и какому автору эти материалы принадлежат.

Автору неизданного драматического, музыкального и др. постановочного произведения принадлежит исключительное право на публичное исполнение его произведения.

В отношении неизданных, но хотя бы однажды публично исполненных произведений только Народному Комиссариату республики предоставляется право разрешать их к постановке и без согласия автора, но с обязательной уплатой авторского гонорара в порядке, установленном законодательством данной республики.

Поскольку § 7 основ авторского права говорит о том, что только автор имеет право извлекать имущественные выгоды из своего авторского права ни одно постановочное произведение, хотя бы оно и было опубликовано печатным способом, не может ставиться без платы авторского гонорара. Автор не может воспретить к постановке напечатанное произведение, но и ставящий не имеет права пользоваться этим произведением без оплаты гонорара.

Исключением из этого положения является публичное исполнение чужих произведений в учреждениях культурно-просветительного характера при условии невзимания платы с посетителей.

Очень большим вопросом является пользование чужими произведениями для переводов на другой язык, для создания новых произведений, составление учебных книг и т. д. Здесь закон устанавливает границы пользования чужих произведений, которые не считаются нарушением авторского права. Закон эти границы устанавливает твердо.

Не считается нарушением авторского права: а) перевод чужого произведения на другой язык, б) пользование чужим произведением для создания нового произведения, существенно от него отличающегося, с тем однако, что переделка повествовательных произведений в драматические и кино-сценарии и наоборот, а равно драматических произведений в кино-сценарии и наоборот допускается лишь с согласия автора или его правоприемников, в) помещение небольших отдельных отрывков и даже полная перепечатка незначительных по размеру литературных и иных произведений, а также незначительных по количеству снимков, рентгенограмм и т. п. в научных, политико-просветительных, учебных сборниках и других научных произведениях с обязательным указанием автора и источника заимствования, г) помещение о выпущенных в свет произведениях, устных и письменных, в области литературы, науки и искусства отчетов, передающих существо произведения в самостоятельной форме или с воспроизведением оригинала в меру надобности, д) помещение в отчетах повременных изданий речей, произнесенных в публичных заседаниях, е) перепечатка повременными изданиями появившихся в газетах сообщений, а равно статей, не имеющих беллетристического характера, не ранее, чем на другой день, при чем в отношении перепечатываемых статей обязательно указание источника заимствования и имени автора, ж) перепечатка повременными изданиями репродукций с произведений изобразительных искусств, рисунков, иллюстраций, фотографий, чертежей и т. п. с соблюдением тех же условий и порядка, которые установлены для перепечатки статей (п. «е» настоящей статьи), з) использование композитором для своего музыкального произведения текста, заимствованного из чужого литературного произведения, при отсутствии на это запрещения, об'явленного автором последнего на каждом экземпляре своего произведения, и) публичное исполнение чужих произведений, указанных в ст. 8, в учреждениях культурно-просветительного характера при условии невзимания платы с посетителей, к) изображение произведений живописи средствами ваяния и, наоборот, произведений ваяния средствами живописи, л) воспроизведение художественных произведений, находящихся на улицах и площадях, за исключенем случаев копирования скульптурных произведений механически-контактным способом, м) помещение всякого рода произведений на публичной выставке, за исключением тех произведений, публичное выставление которых запрещено автором, н) производство построек и сооружений по опубликованным автором архитектурным, инженерным и иным техническим планам, чертежам и рисункам, если автор при самом опубликовании не оговорил, что он такое право сохраняет исключительно за собой, о) снятие копий с чужого произведения исключительно для личного потребления и без помещения на копии художественного или фотографического произведения подписей или монограммы автора подлинника, при чем снятие таких копий с произведений скульптуры средствами механически контактного копирования не допускается, п) использование художественных и фотографических произведений в изделиях фабрично-заводской, кустарной и ремесленной промышленности при условии уплаты автору гонорара в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством союзных республик.

Союзные республики сами определяют предельные размеры отрывков и произведений, переделка которых допускается согласно приведенного положения.

Это—чрезвычайно важный момент в новом законе.

Мы знаем, что многие издательства, пользуясь только указанием—на небольшой отрывок, печатали чужие произведения в 1-2, 3 и даже 8 листов (Красноярск) без оплаты авторского гонорара.

Каков же срок авторского права?

На хореографические произведения, пантомимы, кинематографические сценарии и кино-ленты—10 лет, на фотоснимки и аналогичные им воспроизведения—5 лет, для собрания снимков—10 лет. И это при том условии, если на фотоснимках обозначены фирма или фамилия фотографа, его адрес и дата зас'емки.

Для остальных авторов срок их права пожизненен.

Для наследников этих же авторов—срок права устанавливается в 15 лет, для наследников авторов хореографических и других перечисленных выше произведений -только на срок неиспользованного умершим автором права.

При этом денежная оценка авторского права, переходящего к наследникам, не включается в общую оценку наследственного имущества, при исчислении налога с имущества.

За редакциями журналов остается право на напечатанное произведение в течение 10 лет. Никакой другой журнал не имеет права перепечатать этих произведений без разрешения редакции журнала. Но автор, если у него нет особого вос-

претительного договора, в праве печатать свои произведения в отдельных изданиях.

Это положение должно прекратить «крыть» некоторых авторов, умеющих одно и то же произведение тиснуть в центре и в ряде провинциальных изданий одновременно.

Автор отвечает здесь за свою «прыть» иском со стороны редакции журнала.

Закон определенно предупреждает авторов о необходимости заключения договора с издательствами на выпуск отдельных произведений. Если договор не заключен, закон не считается со свидетельскими показаниями. Ему важно письменное доказательство.

Для помещения произведений в журналах договора не требуется.

Законодательством союзных республик устанавливаются: а) нормы, регулирующие издательский договор на литературные произведения, в частности: обязательное содержание договора, предельный срок его действия, минимальный размер гонорара при определенном тираже, а также предельный срок, в течение которого должно быть выпущено все обусловленное договором издание (единовременно или частями); б) обязательное содержание издательского договора на музыкальные произведения, а также на произведения изобразительных искусств, фотографии и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; в) нормы, регулирующие договор об уступке прав на публичное исполнение произведений, в частности обязательное содержание договора, предельный срок действия договора об уступке прав на публичное исполнение драматического, музыкального и музыкально-драматического произведения, предельное число допускаемых по одному договору публичных исполнений и предельный срок, в течение которого должна быть осуществлена постановка.

Издатель и зрелищное предприятие не в праве по своему усмотрению вносить при жизни автора без его согласия какие-либо дополнения, сокращения и вообще изменения ни в самое произведение, ни в заглавие его, ни в обозначение на нем имени автора. Издатель также не в праве при жизни автора без его согласия снабжать его произведения иллюстрациями.

Убытки, причиненные нарушением авторского права, подлежат возмещению, согласно законодательству союзных республик.

Так говорит закон об авторском праве.

Это еще не все. Союзные республики должны установить нормы использования чужих произведений без нарушения авторских прав, урегулировать издательский договор и, наконец, установить нормы оплаты авторского гонорара.

Должен быть установлен обязательный минимум гонорара. Наши издательства пользуются отсутствием таких норм и новичкам платят нищенские гонорары.

Это должно быть прекращено раз навсегда.

Вопрос о нормах гонорара разрабатывается в ряде центральных учреждений, и надо ожидать, что в ближайшие дни он будет опубликован.

Сейчас же мы должны констатировать, что новый закон об авторском праве полностью защищает права автора.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

I.

Н. Анов.—«Ядовитое Жало», П. Стрижков и Н. Добросердов—«Золотая долина», С. Марков—«Голубая ящерица».

(Дешевая библиотека союза сибирских писателей. 1928 г.).

Три тонких книжки в «стилизованных» одинаковых обложках, похожих на обои среднего качества (работа худ. А. Заковряшина). Толстые дорогие журналы доступны лишь небольшой части потребителей литературы. ССП выпустил под своей маркой несколько рассказав, ранее напечатанных в «Сибирских Огнях».

Эти четыре книжки—первый шаг к внедрению местной литературы в широкие круги читателей. И потому не требуют ли эти вещи (рассказы) тщательной ревизии, хотя бы и на страницах того же журнала, где они были в свое время напечатаны?—Конечно, требуют!

Начнем с рассказа Н. Анова «Ядовитое Жало». У писателя Анова есть манера не показывать своего лица, своего отношения к вещам и накладывать оттенки анекдотизма и часто—трагического анекдотизма. Более точная формулировка будет такова: в произведениях Анова (повесть о «Сайраме», «Награда», «Глухомань», «Ядовитое Жало») сюжет не является анекдотом, а анекдотичны лишь взаимоотношения действующих лиц и анекдотичен их язык. Анов часто самый печальный трагический факт преподносит (в смысле построения фразы) так, что начинаешь смеяться.

«Ядовитое Жало»—рассказ о 16-ти летнем беспризорнике, ставшем «рабкором» и по стечению анекдотических обстоятельств обратившимся снова в беспризорника.

В редакцию газеты (неизвестного города) беспризорник принес заметку о жизни своих товарищей. Заметка была напечатана (псевдоним беспризорника—«Ядовитое Жало»). И с тех пор Ядовитое Жало становится «рабкором». Над ним шефствует фельетонист Маринич. Он освобождает Ядовитое Жало от незаслуженного ареста. И, по настоянию Маринича, редакционный коллектив отправляет Ядовитое Жало в дом отдыха на Кавказ.

«Его не хотели принимать в дом отдыха», но все-таки приняли. Относились к нему недоверчиво. Ядовитое Жало сжился с домом отдыха, «начал ухаживать» за галошницей Стасей. Но ему мешает «кучерявый фармацевт Брискин» В конце-концов, Ядовитое Жало «намылил мурло» Брискину. И мстительный фармацевт инсценирует кражу, подкинув чужие часы Ядовитому Жалу. Обыск. Часы находят, и ядовитое Жало выписывают из дома отдыха.

Ядовитое Жало приехал в тот город, где он начал работать в газете. Пошел в редакцию. Но его шеф—Маринич—перевелся в какой-то город. Ядовитое Жало походил-походил и вернулся в свои «кирпичики» к беспризорной жизни.

Конечно, счастливый конец обязателен только в кино-фильмах, да и то в американских. Но неужели в доме отдыха не нашлось ни одного человека, который заступился бы за Ядовитое Жало? И потом, что это за администрация советской санатории, безапелляционно выгоняющая бывшего беспризорника, когда он якобы «срубил рыжие бимбары» (т.-е. украл золотые часы)?—Безусловно, такой случай мог произойти. Но ведь Ядовитое Жало, рабкор, «борющийся за справедливость», не так просто позволил бы себя оклеветать. Потому-то и не веришь пассивности рабкора-беспризорника и попутно не веришь автору.

Есть некоторые неприятные срывы:

«— Эх, учиться бы тебе надо,—вздохнул Маринич,—в комсомольцы что ли пойти»...

Так же и со сценой расправы Ядовитого Жала с фармацевтом («Харкнул ему в рот и ответил»...).

Рассказ читается легко, но удивительное дело—не чувствуешь, где живут и находятся герои рассказа. Ядовитое Жало—беспризорник, но не чувствуешь обстановки беспризорничества; Ядовитое Жало—рабкор, но нет редакции; Ядовитое Жало в доме отдыха на Кавказе,—нет ни Кавказа, ни дома отдыха. Рабкоровское собрание совершенно стушевано парой обывательских анекдотов, преподнесенных в виде выступлений рабкоров. От этого рассказ получается каким-то внепространственным—краски окружающей обстановки в нем отсутствуют.

Литературный же опыт доказывает нам, что искание недетских черт у детей (язык автобиографии Ядовитого Жала), введение анекдота—всегда очень шатки и неубедительны в общем рисунке рассказов такого типа.

Рассказы П. Стрижкова и Н. Добросердова («Золотая долина», «Фарт, «На оттырку»)—психологическая экзотика, золотая лихорадка, которая в свое время протрясла некоторых сибирских писателей.

Притом эти три рассказа с трудом можно назвать **рассказами.** Они более похожи на выхваченные заметки происшествий, облеченные в беллетристическую форму.

Экзотика—болезнь писателей сибиряков (то же самое и у сиб. художников). Стрижков и Добросердов настолько увлеклись экзотикой, что время действия в первых двух рассказах невозможно определить. А в третьем «узнаешь» нашу эпоху лишь тогда, когда в драку приискателей вмешивается милиционер!

Вот выдержка из одного рассказа:

...Самоха неожиданно захохотал:

— «Гы-гы-гы! А ведь ты... мясо!

Кешка отшатнулся.

— Самоха!.. Дошли ведь.

— Мясо ты!—кричал Самоха и с неожиданной силой бросился на Кешку.

...Кешка был с'еден.

Такую литературу сейчас с успехом заменяет (к сожалению!) нам кино.

Сейчас гораздо интереснее узнать о жизни советских рабочих на концессиях «Лена-Гольдфильдс» и о нарождающемся новом быте на приисках, на которых—по Стрижкову и Добросердрову—нет ничего, кроме драк, пьянства, убийств и т. д.

Теперь даже пионер не будет читать Майнрида с захватывающим интересом. Для него стали важнее вопросы текущего дня.

Рассказ С. Маркова—«Голубая ящерица» значительно крепче других, хотя тоже зараженная экзотикой (удивительная потребность наших писателей бегать за темами за несколько тысяч верст).

Коммунист Чигирисов (неизвестно откуда и зачем?) едет по киргизским степям. В этих киргизских степях он когда-то попал в плен к белым. По капризу начальника белогвардейского отряда полковника Ройя, коммунист остался живым. Вскоре он бежал из плена.

Чигирисова треплет малярия. Он останавливается в юрте зажиточного киргиза. Киргиз бьет палкой работника. Чигирисов прекращает побоище и в работнике узнает... полковника Ройя.

— Восемь лет... Он меня бьет палкой каждый день. Он меня экс... экспло-атирует—жалуется, плачет Рой.

— Экспло-а-тирует... Однако, вы выучились только сейчас таким словам.

Но ирония коммуниста излишня—полковник Рой наказан по заслугам. Он погиб.

Рассказ написан живо и коллоритно; но рассказ излишне загружен тяжеловесной образностью и сравнениями—«узловатые бронзовые подножья мертвых кустов», «камни—куски мыла, которыми цыгане моют лошадей», «ветки—повисшие руки скелета», «он (Рой—Б. М.) верил, что Восток погасит багровые фитили революции», «желтые глаза», «усы—перья огня», «гудел малярийный прибой» и т. д.

Все это несколько замедляет темп чтения и отвлекает от, так наз., развертываний сюжета. Но Марков—поэт, ему простительно развешивание живописных тряпочек, образов и сравнений по остову своего рассказа.

Несколько замечаний о внешнем оформлении этих книжек. Обложка, одинаковая по рисунку, разная по цвету, стилизованная—«стилизованный» полулось или же северный полуолень в «стилизованных» елках. Приемлемая обложка—колоритная, стиль «сибирики», но... в рассказах место действия: у Анова—неизвестный город и подозрительный Кавказ, у Маркова—южные степи. А азбучный закон обложки—композиционно (и географически) отвечать содержанию книги. Но получилось наоборот. И только к «Золотой долине» такая обложка кое-как может подойти.

Б. Миркович.

Феоктист Березовский.—«Бабьи тропы». М. ЗИФ. 1928 г. стр. 396, тир. 5000, ц. 3 р. 45 к.

В № 5-6 «Сиб. Огней» за 1923 г. был помещен рассказ Ф. Березовского «Бабий заговор». Года два тому назад Ф. Березовский стал печатать «Бабий заговор» в женском журнале. И вот пе-

ред нами лежит этот «Бабий заговор», «увеличенный до романа «Бабьи тропы» с 52 стр. до 396. Печатание романа по заказу женского журнала обязывает многому, и Ф. Березовский постарался выполнить задание по-совести.

«Бабий заговор»—хороший, крепкий рассказ, пахнущий прошлым, бытом девственной Сибири, таким он остался, плохо увязанный с остальными главами романа по сюжету, а главное по силе пера, стилю, концентрации материала, быта и т. д.

«Бабий заговор»—это крупица благородного металла, которая прячется в породе и которую нужно выделить из смеси.

Роман—конгломерат различных настроений, течений, влияний и т. д.: то сам Березовский—в главе «Бабий заговор», то Калинниковские «Мощи», местами мелькает нечто в роде «Цемента», есть «удалость» Караваевой, а кое-где улыбается Л. Сейфуллина.

Настасья—главная героиня «Бабьего заговора» отравила своего мужа и в следующей—новой главе решила итти по скитам замаливать свои грехи. Была она у «Иннокентия», была в алтайских скитах, в Васьюганье и т. д. Везде разврат, блуд, преступления. Настасья бежит (в 3 главе) в глухой урман.

Прошло 40 лет урманной жизни. Вокруг семьи Ширяевых (старики 70 и 80 лет) создается деревня Белокудрина. Вожаком Настасья. Она руководит, так сказать, политической жизнью деревни. Она настраивает баб, что бога нет и царя не надо, от них все зло.

Да простит нам Ф. Березовский, а только не верим мы ему, что у Настасьи были такие взгляды, и что она могла вести такую «агиткампанию». Неоткуда им взяться, и Ф. Березовский этого нам не доказал.

Дальше, как в хрестоматии по истории революционного движения в Сибири: Февральская революция, «царя отменили», приезд комиссаров врем. правва, вся власть советам, (чехо-словацкий переворот, порки, растрелы, партизанское движение, падение Колчака, советская власть, с'езд советов и.. бабы—вожди революционного движения.

Бабы взбунтовались (бабка Настасья умерла, но ее учение осталось). Бабы требуют своих прав, выбирают себя на вол. с'езд советов, сжигают в церкви белогвардейцев, проходят в уездный исполком, заставляют с'езд выбрать вожаков в центральное правительство: Ленина, Троцкого, Зиновьева и Калинина. И, наконец, забирают власть над мужиками.

Вот и весь роман. Четыре главы—четыре тропы: 1) отравление мужа, 2) по святым местам, 3) бабка Настасья создает почву для новой жизни и 4) бабий переворот или бабья власть.

Идеализация баб Ф. Березовским пахнет «специальным» заказом женского журнала. Не веришь в революционность бабки Настасьи, не веришь в неожиданное перерождение баб, в их «мгновенно» появившуюся сознательность и во многое другое.

Кроме этого, чудится у Березовского какое-то «предвидение»; взять хотя бы выборы Троцкого в правительство. «Плюгавенький» мужиченко протестует против включения Троцкого в состав правительства: «Знаю, ране он был против Ленина, кабы и теперь не пошел против и не изменил ему». По роману определенно явствует, что мужики и о Ленине-то плохо знают, а о бывшем меньшевизме Троцкого, конечно, и понятия не имели.

Герои Ф. Березовского, за очень редким исключением (кроме главы «Бабий заговор»), бледны и худосочны.

Даже бабка Настасья не чувствуется, хотя она—главный герой романа. Она изрекает поучения, она предсказывает светлое будущее, но не потому, что это логически вытекает из романа, а потому, что это так нужно автору.

Более яркая фигура «настоятеля» Евлампия и интеллигента «брата» Бориса.

Интересен должен быть Фома—председатель первого совета, но проходит он настолько бледным, что не представляешь себе обстановки первой власти. Видишь только человека с винтовкой, бомбой, который открывает и закрывает заседания, и, наконец, погибает.

Сеня Семиколенный—по заданию энтузиаст, а мы слышим от него чуть ли не на каждой странице только восторженно-трафаретную фразу—«Якуня-Ваня».

Не чувствуется и быт. Монастырь «Иннокентия» газетно-протоколен—отдает разоблачениями духовенства, в Алтайских скитах нет Алтая, нет алтайского аромата, кержацкого духа, мощно переданного в свое время А. Новоселовым, не видишь и деревни Белокудриной, и жизни, борьбы и т. д.

Есть в романе и такие места, которые вызывают сомнения. В начале осени 1918 г. Колчак посылает мобилизовать молодых парней, а известно, что Колчак появился только 18 ноября, и, по словам Березовского, до Белокудрина все доходило только через несколько месяцев. Берет Березовский в Васьюганьи село Саланр, как нечто значительное, боль-

шое. Мы же знаем, что Салаир находится в Кузнецком округе и т. д.

Сцены—«царя отменили» и «выборы правительства»—напоминают Сейфуллинские вещи, особенно выборы (см. «Перегной»—стр. 189).

Цена для того читателя, которому рекомендует роман ГУС,—совершенно недоступна.

Михайлович.

Борис Пильняк.—«Китайская повесть». ГИЗ. 1928 г., тир. 7.000, стр. 96.

Пильняк побывал в Китае в дни большого революционного напряжения. «Вокруг моего города дымят заводы. Город и пригороды грозятся забастовками... И здесь на набережных и на заводских дворах... неминуемо нарождаются... забастовки, союзы, партии—резолюции». (стр. 53).

Естественно было ожидать, что такой большой писатель, каким считается Пильняк, одарит нас живыми художественными образами китайской революции, покажет нам ее быт, ее творцов, героев и антиподов,—словом все то, что оставалось и не могло не оставаться в стороне от нашей публицистической и политической литературы, но что обязательно должно было стать предметом внимания художника.

Пильняк поехал не только ради увеселительной прогулки. «Мы—пишет он—живем здесь потому, что нас послала русская революция, потому, что мы, русские, стоим против всего мира» (стр. 68). А быть посланником русской революции—это к чему-нибудь да обязывает.

В Китае «идет русский осьмнадцатый год» не раз восклицает автор. Но ежели из повести исключить сведения о множестве армий (вообще), об империализме (вообще) об эксплоатации («по схеме»), т.-е. если исключить то, что печатается в любой газете,—останется о живых конкретных элементах 18 года очень мало...

Писатель сталкивался с армиями различных «направлений». В результате для советского читателя сохраняются следующие образы:

«Китайский генерал Хуан-сян-лин из уважения к себе испражняется в своем собственном вагоне, стоя орлом перед унитазом» (стр. 11).

С той де нарочитой и ненужной грубостью повествуется, как в Пекине «солдаты—несколько человек под ряд—сидят на дворцовой стене над городом и испражняются в город».

Автор, конечно, может быть правдив в «передаче», но уснащение повести такими «литературными испражнениями» очень мало говорит читателю о быте китайских армий. Об этом можно было и не знать бедному советскому читателю.

Впрочем, есть одно замечательное место, вкользь брошенное автором по поводу митинга американского миссионера армии Фын-юй-сяна.

«Митинг начался протестанскими песнопениями—за «христианского генерала» Фына... Затем показывали туманные картины—Фын и его солдаты: на молебне, в пекарне, в слесарной и токарной мастерской... Затем началась лекция о том, какой замечательный человек, христианин и вождь... Фын-юй-сян, который каждое утро молится, сам трудится ручным трудом,—не ездит на рикшах сам, и запретил своим солдатам, читает вместе с солдатами библию... Американский миссионер изображал Фына... как таборита, постника и верижника...» (стр. 46).

А в это время Фын-юй-сян разводил перед нами в Москве турусы на колесах, клялся в преданности революции и даже записался членом союза каменщиков. Американцы, конечно, не верили Фыну и его революционности и старательно создавали ему популярность. Хитрый народ американцы!.. Фын, как и следовало ожидать, не обманул их надежд и вскоре стал душителем китайской революции. Это место—прекрасная иллюстрация к механизму классового надувательства.

Пильняк занимался организацией «Китруса». На протяжении месяца с лишним он столковался с демократической китайской интеллигенцией, переживавшей тогда май своей революционности. Однако, ни настроение этих кругов, ни даже типов их автор не дает. «Обед с выпивкой» и сцены кинографирования даны художественно очень хорошо, но китайцы там получаются какими-то суетливыми, взбалмошными, чудаками. Таковы ли они на деле и в деле?

Хорошо удались автору зарисовки притонов. Читая эти правдивые строки, чувствуешь невольное омерзение от этих букетов буржуазно-капиталистической цивилизации. Первое место в этих вертепах сейчас в Китае, как и во всем мире, занимают русские эмигранты обоего пола.

«...За нашим столиком сидела дочь адмирала Штарка, местная танцовщица и проститутка» (стр. 40).

«...вот тот скрипач музыкант—муж этой проститутки... мужья не покидают жен-проституток и живут на их средства...

У этого музыканта и этой проститутки—двое детей. Жена поедет с мужчиной, который купил ее. Тогда муж-музыкант, бывший офицер, поспешно пере-

оденется лакеем и будет прислуживать им у себя в доме!»... (стр. 41).

А вот картина чисто китайская.

«В китайском публичном доме... проституткам от девяти до четырнадцати лет... в доме совершеннейшая чистота, но двери для прохлады открыты, и видно, что делается в каждом стойлице... (стр. 41).

«Кабаки тянутся от Мэджестик (лучш. часть кв.), где сушки стоят сотни долларов, до китайских опиокурилен, где женщина и трубка опия стоят одинаково—семь с половиною копеек».—От этой картины у автора поднимается искреннее возмущение и вырывается крик—«Ах, как деранет по всему этому кантонская революция, несмотря на то, что на каждом углу здесь стоят по три полисмена—индуса!» (стр. 26).

Пильняк много наблюдал эту сторону жизни в Китае, и она у него вышла, пожалуй, наиболее полной.

Но зато, как худо и как не похоже получился образ «рабочего революционера»—Лю-хва. Искусственная, надуманная фигура. Надуманая не потому, что в жизни нет таких героев, отдающих жизнь за два пуда меди—членских взносов, а потому, что снято оно с тихого человека. Ли-хфа влюблен (надо же оживить образ!) в аристократку, фокстротствующую американку, при чем эта любовь «выводит его в нереальность». Хороши китайские революционеры, если судить о них по Пильняку!

Пильняк видел трубы заводов и рабочие кварталы из окон удобнейшего особняка в международном квартале. А этот единственный описанный им герой (герой повести—?!) стал известен автору... из дневника.

Почему Пильняк так мало видел и так мало писал о китайской революции?—На этот вопрос в повести есть очень красноречивый ответ:

«На порогах притонов так же, как и в храмах, и на улицах,—я познаю, что я не знаю, не понимаю китайцев и Китая... все, что я вижу, я вижу для того, чтобы—не знать» (стр. 8).

Заметьте,—в этих строках есть: притоны, храмы, улицы, но нет рабочих кварталов, а помимо них, ни политик, ни беллетрист не может понять ни «сочетания феодальщины и конфуцианской вежливости» с жестокостью гражданской войны и революции сегодняшнего Китая.

Книга Пильняка содержит много художественно ценного материала. Отдельные места написаны просто, талантливо, но картины сегодняшнего Китая, изюминки эпохи, в которой писалась книга,—нет.

К. Кацаран.

II.

«Деятели революционного движения в России». Биобиблиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма. Составлен А. А. Шиловым и М. Г. Карнауховой, т. I, ч. I. До 50-х г.г. XIX века; ц. 2 р. 50 к. М. 1927; ч. II. Шестидесятые годы. Ц. 6 р. 25 к. Изд. Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев.

Словарь—одна из надежнейших форм учета. Не случайно наше время упорно работает над созданием такого рода справочников в разных областях и сферах. Появляются словари краеведческие, словари уроженцев того или иного края, словари деятелей в какой-либо отрасли знания и т. д., теперь к ним присоединяется и насущно необходимый словарь деятелей революционного движения.

Совершено очевидна исключительная трудность такого предприятия. История русского революционного движения находится еще только в стадии разработки; еще далеко не все архивные материалы приведены в известность, еще совершенно не учтены деятели движения на местах и т. д., и т. д., поэтому-то, основной и первой задачей и явилось составление предварительного списка участников революционного движения в России. «Конечно»,—пишут составители в предисловии к 1 выпуску: «крупные деятели движения, вожди его наперечет, и биографии их легко могут быть составлены и без предварительного списка. Но вряд ли возможно без большой кропотливой работы узнать, кто входил, как рядовой деятель в состав декабристов, землевольцев, народовольцев, социал-демократов и т. д. Ведь только теперь, напр., нам становятся известными участники декабрьских событий 1825 года из солдатских и матросских низов, и выявление их требует огромной работы по сырым архивным материалам. То же приходится сказать и про рядовых деятелей революционных кружков 80-90-х гг., таковых же деятелей социал-демократического движения, соц.-революционеров, участников революции 1905 года и пр. А рядовые деятели не менее важны, чем крупные» (стр. XIX—XX).

План словаря рассчитан на 10 лет и на 10 томов. Пока вышло две части первого тома—от Радищева до конца 60-х го-

дов. Деление по эпохам создает некоторые трудности, особенно для лиц, чья деятельность захватила несколько этапов революционного движения. Эта трудность предусмотрена составителями и отчасти устранена введением ссылочных заметок, т. о. в соответственную эпоху вводятся лишь лица, связанные с ней преимущественно.

Первый выпуск уже вызвал серию рецензий, в общем почти единодушно приветствовавших издание и вместе с тем отметивших ряд значительных, но конечно, совершено неизбежных пропусков. Особенно надлежит отметить богатые фактическим материалом рецензии М. Нечкиной («Печ. и Рев.» 1927, VI) и Ахуна (историк-марксист, IV). Наличие этих рецензий позволяет оставить в стороне целый ряд вопросов и дополнений. Но на некоторых из них мы бы все же хотели задержать внимание читателей и составителей.

Прежде всего — о характере тех сведений, которые сообщаются. Составители, главным образом, фиксируют внимание на моментах революционной (или оппозиционной деятельности), последующая же биография остается в тени: иногда она освещается, иногда (и последнее чаще) остается неизвестной. Вследствие этого, создается неверная перспектива. Нет возможности отличить подлинно революционных деятелей от случайных участников движения. Правда, о целом ряде деятелей таких исчерпывающих сведений и не найти, но вот, напр., Аристов, Ник. Яковл. «с 1865 г. состоял под надзором полиции, как политически неблагонадежный». Далее перечислены его должности: проф. в Казани, Варшаве, Харькове Нежине и пр. Но что значит: «состоял с 1865»—всю жизнь?—Это, конечно, возможно, но в таком случае, это характеризует только подозрительность и плохую осведомленность русской полиции, но отнюдь не русское революционное движение, для характеристики и истории которой создается настоящий словарь. Политические же убеждения автора биографии Шапова достаточно хорошо известны.

Другой пример—Аверкиев, писатель-драматург. В 60-х гг. он был во что-то замешан, состоял под политическим надзором и т. д., но он дожил до 905 года; чрезвычайно важно, в каких политических лагерях провел он 70-е, 80-е, 90-е годы. Данные для этого, несомненно, имеются. Число таких примеров можно значительно умножить.

Затем, вообще, нам думается, составители чрезмерно расширяют круг деятелей, подлежащих включению в словарь. Напр., внесена группа тобольских чиновников, оказавших покровительство и гостеприимство во время проезда через Тобольск на каторгу М. И. Михайлова: предс. Тоб. губ. правления, Соколов, тов. предс. губ. суда, Андронников; наконец, гражд. губернатор Виноградский и даже полицмейстер Кувчинский. Правда, они все были привлечены к суду, некоторые были устранены от должности и присуждены к тем или иным административным взысканиям, но стали ли они от этого деятелями революционного движения?

То же можно сказать и относительно лейтенанта Афанасьева, привлеченного к делу о побеге Бакунина. Но прежде нужно установить, что он принимал сознательное участие в этом деле, а не оказался вовлеченным в него подобно другим, случайно. Если же ставать на такой путь, то число имен в словаре невероятно увеличится; стоит только вспомнить число лиц, пострадавших за участие к декабристам.

С другой стороны, возбуждают некоторое сомнение и принципы невключения: напр., польские повстанцы, как правило, не включаются, и это, конечно, правильно. Но как отнестись к группе поляков-повстанцев, поднявших восстание в 1866 г. на Кругобайкальской дороге? Не стало ли это уже фактом русского революционного движения и не следовало ли бы по этой причине внести в словарь имена Вронского, Ильяшевича, Арцимовича, Рейнера, Катковского, Целинского, Шарамовича и др.?

О положительных сторонах словаря, о его громадном значении, о тщательности выполнения и т. п. нет надобности говорить: все это и очевидно, и достаточно вскрыто предыдущими рецензиями. Остановимся только на том значении, какое имеет данный словарь для сибирского краеведения. Оно совершенно исключительно; с одной стороны, словарь чрезвычайно обогащает сведения о деятелях революции—сибиряках, с другой—ставит ряд новых задач в изучении политической ссылки. Словарь обнаруживает целый ряд имен, связанных с Сибирью, и о которых почти не имеется никаких биографических материалов в нашей литературе. Напр., Н. М. Владимиров, обвинявшийся (1862-1864 г.) в связях с лондонскими пропагандистами; в 1866 жил в Оеке—или, напр., И. Г. Жуков, проведший десять лет (1864-1874) в Александровске—они являются совершенно неизвестными именами для истории сиб. ссылки, а таких имен очень много. Это ставит совершенно определенную задачу в области обследования местных архивов в данном направлении, чтобы изучить их сиб. период этих дея-

телей и их роль и значение в местной жизни. Из имен сибиряков, принимавших участие в общероссийском революционном движении также почти впервые вскрываются имена: С. В. Баснина, В. М. Березовского, А. С. Бибикова, А. Е. Золотина, студента Ив. Лукина, Н. В. Сорокина, и мн. др. Ценным подарком для сибирского краеведения являются также портреты Ушарова и Н. С. Щукина.

Библиографические материалы, как всегда в работах А. А. Шилова, чрезвычайно обстоятельны и, в большинстве случаев, исчерпывающи. Отметим несколько дополнений в «сибирской части»: в литературе о Л. Блюммере пропущена одна из основных работ о нем—проф. Е. Боброва («Русс. Стар.». 1905, VII); в литературе о Ядринцове отсутствуют чрезвычайно интересные и ценные воспоминания Швецова («Утренники», 1922); для характеристики Н. С. Щукина чрезвычайно важны—«Литературные воспоминания»—Ядринцева; для Н. Ушарова—«Письма Ядринцева к Потанину»; о Щапове—Вегман—«Эпизод из жизни Щапова («Сиб. Огни», 1926, 1-II), та же статья важна и для литературы о Щукине П. Н. Козьмин—«Очерки исторического прошлого Сибири». СПБ, 1910. В «Сиб. Огнях» за последние годы напечатан ряд статей о пребывании Достоевского в Сибири; для характеристики сибирского периода петрашевцев очень интересны «Воспоминания»—Быковой («Записки старой смолянки»), а также литература о сибирской печати в 60-х г.г. (Ядринцев, Козьмин и др.). Остались неизвестными составителям также: сборник «Декабристы в Минусинском крае» (Минус., 1925), статьи и материалы о ссылке в Сибири в изд. Семипалат. отдела Русс. Геогр. о-в и некоторых др.

Что касается внешности издания, то она производит самое выгодное впечатление: прекрасно выполненные портреты, четкий шрифт, хорошая, дорогая бумага и только обложка представляется нам чрезмерно загруженной надписями.

С нетерпением ждем следующих томов.

Марк Азадовский.

Здобнов, Н. В. «Материалы для сибирского словаря писателей» (на правах рукописи). М. 1928 г. изд. Общества изучения Сибири и Д. В. 61 стр. Бесплатно.

Н. В. Здобнов взял на себя большую и ответственную работу. Сибирь до сих пор не имела ни одного биографического словаря. Изучение сибирской литературы без такого «синодика» делалось просто невозможным. По скудным материалам автор попытался все же сделать сводку имен сибирских писателей, введя сюда коренных и заезжих «сибиряков», творчество которых, главным образом, протекало в Сибири и о Сибири; писателей, побывавших в Сибири и отразивших ее в своих произведениях; писателей, живших и печатавшихся в Сибири, но чуждых сибирским мотивам; авторов, не живших в Сибири, но писавших о ней.

Работа Здобнова охватывает период с момента зарождения сибирской литературы до 1 октября 1926 года, выявляя беллетристов, поэтов, драматургов, художественных фельетонистов, историков литературы и критики.

В работе есть большие упущения, выпал значительный ряд имен, многие указания слишком лаконичны, но в целом, как материал, книга весьма ценна и нужна. Это, так сказать, первый обстрел, который вызовет значительный ряд неудовольствий, жалоб, с другой стороны, принесет большое количество поправок, дополнений, сведений с мест, каковые дадут автору возможность усилить свою работу и выпустить дополнительный список.

Для историка литературы Сибири, для краеведа, изучающего Сибирь, эта брошюра необходима.

Поскольку брошюра не подлежит широкому распространению, отсылаем желающих познакомиться с нею в журнал «Северная Азия» за 1927 г., где она печаталась отдельными кусками.

В конце книги помещено обращение автора ко всем сибирякам и лицам, интересующимся Сибирью, с просьбой прислать сведения для дальнейших сборников «материалов». Приложена анкета.

Г. П.

III.

«Бурятоведческий сборник». Вып. III—IV. Бурято-Монгольская секция ВСОРГО. Иркутск, 1927, 110 стр., ц. 1 р. 50 к.—

Очерки по изучению Якутского края». Вып. 1. Якутская секция ВСОРГО. Иркутск,-1927, 95 стр.+51, ц. 1 р. 50 коп.

Тот и другой сборники—явление нового порядка. Они представляют собою результат работы двух туземных секций ВСОРГО, из которых Б.-Монгольская возникла в начале, а Якутская—в конце 1925 г. Обе секции поставили целью выявлять и готовить новые кадры краеведов-исследователей Бур.-Монголии и Якутии. Секции, кроме того, ведут исследовательскую работу по изучению экономики, советского строительства, рево-

люционного движения, истории, библиографии, этнографии и языкознания своих республик; они пользуются, наконец, и методами экспедиционных обследований, поручая последние уезжающим на каникулы студентам—членам секций.

Возникшая почти на год раньше Б.-М. секция за три года издала уже 3 книжки (4 вып.); Якутская секция за время своего существования дала пока 1 вып. сборника. Заметное участие, особенно в Бурятоведческом сборнике, принимают молодые краеведы. От выпуска к выпуску их участие увеличивается. Если в I и II в.в. мы встречаем много статей иркутской профессуры и видных научных работников, то в рецензируемом III—IV вып. их статей уже значительно меньше: молодые краеведы крепнут, растут и становятся деятельными сотрудниками сборника, публикуя свои первые работы. «Сборник,—пишет в предисловии к III—IV в. проф. Н. Н. Козьмин,—орган бурятской молодежи, учащейся в Иркутске и охваченной страстным стремлением к активному участию в великом деле изучения родного народа в целях правильного, сответствующего реальным, по завету В. И. Ленина, нуждам претворения в жизнь планов нового строительства и выработки сильных знанием и умением взяться за практическое дело работников». Из статей, помещеных в этом выпуске, обращают на себя внимание: с большим под'емом написанная одним из молодых ответственных деятелей Б.М. АССР, А. И. Ашировым статья: «Десять лет Октября и бурят-монголы»; ст. А. И. Боржоновой—«К вопросу о влиянии русского языка на бурятский»; ст. А. Г. Франк-Каменецкого—«Горько-соленые озера Бурятии, как база химической промышленности»; Н. Н. Козьмина—«Историческое изучение и родословные»; Н. Ф. Требуховского—«Сур-Харбан балаганских бурят в прошлом и настоящем». «Сур-Харбан» (дословно праздник стрелка), является ныне праздником в честь утверждения конституции Б.-М. АССР; А. И. Казанцева—«Материалы к изучению бурятских черепов». За недостатком места мы не называем здесь мелких заметок по истории, фольклору и этнографии, из которых каждая имеет свое значение в вопросах познания Бурятии. В конце вып. помещен отчет о деятельности Б.-М. секции ВСОРГО за 1926-27 г. Выпуск иллюстрирован («Сур-Харбан», строительство дацанов, орнамент сев. бурят).

Якутский сборник («Очерки по изучению Якутского края») открывается небольшой, но содержательной вводной статьей В. Кротова—«Основные задачи Якутской секции ВСОРГО». Из др. статей сборника необходимо отметить интересную заметку Г. Виноградова «Шулюканы» (к вопросу о культурном взаимодействии русских и якутов); ст. ст. И. Д. Новгородова и П. П. Хороших, посвященные памяти известного якутского поэта и исследователя А. Е. Кулаковского, сконч. в Москве в 1926 г.; небольшую заметку И. Дьячковского о научно-исследовательской работе политических ссыльных в Якутии за период с 1867 по 1907 г.; В. Д. Бусина и Зонова «Краткие сведения о работах по исследованию р. Вилюя в 1926 г.»; А. Потапов дает интересную программу изучения тайги в целях сельско-хоз. использования ее. В хронике помещен отчет Якутской секции ВСОРГО с 1 ноября 1925 г. по 1 мая 1927 г. В приложении, занимающем 51 стр., М. М. Тимофеев-Терешкин дает содержательные, с интересным цифровым материалом «Очерки пушного дела в Якутии».

Пожелаем прекрасной инициативе бурят-монгольской и якутской молодежи, во-время и тепло поддержанной ВСОРГО и правительствами обеих республик, дальнейшего развития, укрепления и усовершенствования. **А. Шнейдер.**

«Хозяйство Монголии» № 1-2, 3-4, 1928 г.—политико-экономический журнал, издаваемый Монголо-Советским Деловым клубом Улан-Батор-Хото (Урга). Стр. 134, стр. 125.

После годичного перерыва вновь стал выходить журнал, посвященный вопросам народного хозяйства Монголии.

В двух вновь вышедших номерах помещен ряд ценных статей, посвященных рассмотрению актуальных вопросов монгольской экономики.

Е. Г. Ботвинник—автор, хорошо знакомый сибирякам—в статье «Итоги и перспективы монголо-советской торговли» иллюстрирует рядом цифр рост наших торговых связей с Монголией, о котором трудно было мечтать в довоенное время.

Нижеприведенная таблица погодного роста заготовленного СССР монгольского сырья и рост советского ввоза в Монголию дают ясное представление о росте нашей торговли с Монголией.

В милл. руб. по ценам франко-граница.

Годы	Загот. СССР сырья	Ввезено товаров	Общий оборот
1923/24 . .	1,5	2,5	4,0
1924/25 . .	3.8	2,2	6,0
1925/26 . .	10,2	4,5	14,7
1926/27 . .	11,2	4,8	16,0
Итого за 4 г.	26,7	14,0	40,7

Преобладающее влияние китайского и иностранного капитала, в течение многих лет державшего монгольский рынок в своих руках, в настоящее время быстро идет на убыль.

Удельный вес СССР во внешнеторговых оборотах Монголии возрос с 1924 г. по 1926 г. по импорту с 11 проц. до 22 проц., по экспорту с 13 проц. до 40 проц., что дает рост в общем товарообороте с 12 проц. до 32 проц.

Из вышеприведенных цифр выясняется резко-пассивный характер нашего торгового баланса с Монголией.

Автор считает необходимым во избежание пассивного сальдо значительно расширить ввоз в Монголию товаров советского производства, тем более, что ряд советских товаров как по цене, так и по качеству вполне конкурентноспособен (советская далемба, нефтепродукты, металлы, сахар и пр.).

Соглашаясь вполне с автором о необходимости усиления нашего ввоза в Монголию, мы, однако, полагаем, что бояться пассивного сальдо в нашей внешней торговле с Монголией особенно не следует. Одно диктуется всей совокупностью историческо - экономических обстоятельств, сопутствующих советско-монгольской торговле. Если мы возьмем данные таможенной статистики за ряд прошлых лет, то убедимся, что ввоз из Монголии всегда был гораздо выше вывоза в Монголию.

В. Г. Рощин в статье «Монгольский рынок шерстей за 1926-27 год» дает ряд ценных сведений о важнейшей статье монгольского экспорта. Для каждого экономиста-практика, интересующегося монгольским хозяйством, статья послужит хорошим справочником при экономических расчетах и выкладках. В статье приводится рост продуцирующего стада, норма выходов шерсти, процент оседания в хозяйстве, описание сортов шерсти, процесс той же шерсти, процент отмыва, организация и сезоны заготовок, заготовители и динамика их заготовок, экспорт шерсти из Монголии и распределение его по странам, динамика цен на шерсть монгольского и мирового рынка, калькуляция мытой и грязной шерсти и т. д.

Основные выводы, к которым приходит автор сводятся:

а) к констатации роста базы шерстяного рынка—овцеводства и верблюдоводства, а в связи с этим и роста товарного выхода шерстей;

б) значительное увеличение удельного веса советских заготовителей об'ясняется особым методом заготовок, направленных на непосредственную увязку с монголом-овцеводом;

в) движение заготовительных цен на монгольском рынке не соответствует ценам мирового рынка. Только рыночные цены Советского Союза обеспечивали производителю выгодность реализации шерсти.

При скудости и разнородности показаний различных источников об экономике монгольского шерстяного рынка, статья особенно выигрывает в своей ценности. Серьезным недостатком статьи следует признать отсутствие ссылок на материалы, послужившие основой для утверждений автора. Поэтому иногда утверждения автора звучат догматически, и для вдумчивого читателя остается неизвестной степень вероятности утверждений автора.

А. Калинников—имя, хорошо известное каждому интересующемуся современной Монголией. В статье «Экономический очерк внутренней Монголии» А. Калинников дает экономическую характеристику этой узкой длинной территории, заключенной между Великой Китайской стеной и Монгольской народной республикой. В своей статье, основанной на последних литературных источниках, автор касается территории, административного устройства, демографии, земледелия, скотоводства, лесного хозяйства, горной промышленности (Ужалайкорск. уголь, золото, серебро, свинец, соль, сода и пр.), обрабатывающей промышленности, торговли, китайской колонизации, японских интересов и пр. Основной вывод статьи: китайское земледелие во внутренней Монголии вытесняет экстенсивное монгольское скотоводство, международный капитал усиливает свое влияние. Воспрепятствовать этому можно только совместным противодействием монгольских аратов и китайских крестьян, об'единенных общими интересами освобождения.

Вязов, Е. И., и Шостакович, А. В., в статье № 3-4 «Рынок Монголии за последнее четырехлетие» делают любопытную попытку на основании наблюдения цен (по материалам Финансово-Экономического Бюро Монголбанка), путем восстановления динамики разнообразных индексов, охарактеризовать кон'юнктуру рынка. Статья дает достаточно материала для экономических размышлений о современной Монголии. Цены и их движение, соответственным образом обработанные (эквивалентные соотношения), концентрируют в себе всю квинтэссенцию рыночных отношений, и опытный экономист из изучения их может почерпнуть глубокие знания о скрытых взаимотношениях на рынке и об общем его положении. Поэтому опубликование и обработка материалов Ф. Э. Б. Монголбанка—ценный вклад в изучение современной Монголии.

Основной факт в движении цен монгольского рынка за последние 4 года—не прекращающийся рост индекса как цен экспортных, так и импортных товаров. За 3½ года рыночные цены Монголии возросли почти в 1½ раза (на 44,7 проц.).

Средний месячный индекс, если принять индекс июня 1924 г. за 100, возрос за последние годы следующим образом:

Средний месячный индекс.

	1924 г.	1927 г.
Импортные товары . . .	100,1	163,2
Экспортные „ .	97,6	126,2
Общий индекс . .	98,8	144,7

Естественное об'яснение при общем росте цен заключается в падении покупательной силы местной валюты.

Авторы категорически отрицают такую возможность и об'ясняют рост цен своеобразной кон'юнктурой экспорта и импорта. Рынок импортных товаров был резко дефицитен, и «недостаток товаров в последнее время подходит почти к полному отсутствию ряда товаров на рынке».

Этим об'ясняют авторы рост цен на импортные товары. На экспортные товары цены возрастали в результате целого ряда длительно-благоприятных причин, в частности в результате исключительно выгодной кон'юнктуры монгольского сырья на рынках СССР.

Из анализа динамики и состояния цен основных предметов первой необходимости авторы делают следующий основной вывод: товары китайского происхождения имеют определенную тенденцию роста и характеризуются неустойчивостью цен; советские товары планомерно понижаются в цене, и советский экспорт оказывает сдерживающее влияние на цены китайских товаров.

Ближайшие перспективы рыночной кон'юнктуры Монгольской Народной Республики в основном авторы рисуют в следующем виде:

1. Цены на некоторые виды сырья перешагнули пределы рентабельности на внешнем рынке, поэтому ожидать роста цен на скотоводческое сырье в ближайшем году не приходится.

2. Ближайший год должен явиться достаточно интенсивным в расширении экспорта в СССР, столь благоприятного для Монгольской республики.

3. В ближайшем будущем нельзя ожидать оздоровления импортного рынка.

4. Благоприятное действие и развитие советского импорта будет зависеть в значительной степени от условий товарооборота, в первую очередь транспорта.

5. Направление советского импорта должно итти в сторону ввоза предметов широкого потребления, так как усиливающийся ввоз из Маньчжурии европейско-потребительных товаров прочно завоевал рынок.

Авторы при рассуждении оперируют с 3 видами индексов, но, к сожалению, подробных пояснений о выборе наборов и их удельных весах, не проводят. Это—недостаток. Характер снижения цен на советские товары в условиях голода на импортные товары—не выяснен.

Ковлер, Ю. М., в статье «Пути рационализации гужевых перевозок по Монголии» касается главного тормаза, препятствующего развитию монгольской торговли и народного хозяйства,—неудовлетворительность транспорта. Фрахт по перевозкам основных продуктов потребления колеблется от 15 до 80 проц. к цене франко-граница. Товар долго находится в пути, получается высокий процент порчи товара, и страна на транспорте несет большие убытки. Предпосылка правильная, но автор предлагает слишком паллиативный выход, не соответствующий грандиозности лежащих в этой области задач. Он предлагает не более, не менее, как новую конструкцию... монгольской телеги. Мы полагаем, что это—мелкий паллиатив. По нашему мнению, разумнее использование судоходной части Селенги, Орхона, Эдин-Гола, Толы и экономическая подготовка необходимых для этого условий, должно явиться одной из первых ступеней в деле улучшения монгольских путей сообщения и транспорта и снижения накладных расходов. Новая конструкция колеса в традиционной монгольской телеге—крайне недостаточное средство для решения большой народно-

Из других статей журнала следует отметить: **Дейчман**—«Итоги и очередные задачи денежной реформы Монголии»; **Вампилун**—«Итоги переписи населения за 1924-26 г.»; **Ан. Калинников**—«У истоков Монгольской Революции»; **Симуков А. А.**—«Очерки природы и быта Кентэя»; **Конторович, Г. И.**—«К вопросу о туберкулезе в Монголии» и др.

Очень отрадный факт—увеличение в журнале числа статей, написанных монгольскими работниками, мы имеем в виду статьи **Геликсинге, Балдан-Дорсу, Дугарджан, Улаторчи** и др.

Совместное сотрудничество дает уверенность, что журнал станет крепким звеном, культурной спайкой в растущей советско-монгольской дружбе и станет той ареной, на которой вырастет и проявится экономическая мысль молодой Монголии.

П. И. Комаров.

Sawicki Ludwik. Materialy do znajomosci prehistorjj Rosji (z XXIV tablicami i 6 rysunkami w tekscie). Posnan. 1928. 4°. 49, [1] стр.+25 табл.

Савицкий Людвиг.—«Материалы по доистории России». С 24 таблицами и 6 рис. в тексте. Познань. 1928.

Не разбирая работы в целом, остановимся только на той ее части, которая касается Сибири. Нашему краю посвящены две главы: сибирский палеолит (стр. 34-44), общая характеристика сибирского палеолита (стр. 44-49), 4 таблицы рисунков (XX и XXI—сборы Савенкова, Ауэрбаха и Сосновского с Афонтовой горы, XXII и XXIII—Пэтри—с Верхоленской горы, XXIV—Хороших с острова Ольхона) и сравнительная таблица верхней четвертичной эпохи Северного Китая, Сибири и Северной Европы.

Задачей сибирской части работы автор поставил суммирование результатов исследований палеолитических стоянок Сибири и изложение общих соображений, вытекающих из этого суммирования. Автор серьезно проработал весь имеющийся литературный материал по Сибирскому палеолиту и, кроме того, ознакомился с Сибирскими археологическими коллекциями, хранящимися в научных учреждениях Москвы и Ленинграда.

Основные выводы автора по поводу сибирского палеолита следующие:

Сибирский палеолит представляет особую фацию азиатского палеолита, поскольку инвентарь Сибирских палеолитических стоянок—своеобразный комплекс, не имеющий в целом никаких аналогий на территории Европы. Основываясь, главным образом, на идентичности культурных остатков различных палеолитических стоянок Сибири, автор относит их к одной эпохе, разделяя на 2 фазы: ранние с Афонтовой горы во главе и поздние, представленые Верхоленской горой. Культурные остатки Афонтовой горы автор считает залегающими во вторичном залегании, в связи с чем все обнаруженные на стоянке на различной глубине культурные горизонты относит к одному времени.

Подчеркивая характерную особенность инвентаря Сибирских палеолитических стоянок—наличие двух элементов: старо-палеолетического и эпипалеотического (Азиль-Тарденуас) автор сомневается в возможности существования общего для Сибири и Европы центра для первого элемента и высказывает предположение о существовании в глубокой древности и на другой территории неизвестного нам культурного центра, развитие которого происходило независимо от Европы. С этим центром и связан древний элемент Китайской и Сибирской палеолитической индустрии. Элемент эпипалеолитический, безусловно, не местного происхождения а проник в Сибирь из Европы. Аналогию с костяной индустрией автор находит в инвентаре Мадленских стоянок и Северо-Европейского эпипалеолита.

Автор подчеркивает связь Сиб. палеолита с Сиб. неолитом, отмечая факт находок на стоянках неолитической эпохи мелких каменных орудий палеолитического типа.

В заключение автор приходит к выводу, что сибирские стоянки в целом в европейском смысле не являются палеолитическими, а должны быть помещены в шкале поздней четвертичной эпохи Северной Европы—в Анцилиевую эпоху, при чем Афонтова гора—в раннюю стадию этой эпохи, а Верхоленская гора—в позднюю. Археологически палеолитические стоянки Сибири одновременны Азильско-Тарденуаским стоянкам Зап. Европы. В связи с этими выводами автор считает термин «Сибирский палеолит» неточным и предлагает заменить его «Сибирским эпипалеолитом».

Переходя теперь к разбору очень интересного труда Савицкого, следует прежде всего сказать, что автором сделано одно досадное упущение: приступлено к работе преждевременно. Полевые исследования палеолитических стоянок на Енисее только заканчиваются в текущем году отчеты о раскопках главнейших стоянок еще не опубликованы. В распоряжении автора не могло быть поэтому, достаточного материала, хотя он и исчерпывающе использовал новейшую археологическую литературу и ознакомился с сибирскими археологическими коллекциями музеев Москвы и Ленинграда. Эти коллекции, *между прочим, не заслуживают особого* внимания сравнительно с материальными по Сибирскому палеолиту наших сибирских музеев: коллекции по каменному периоду Сибири, хранящиеся в центре, невелики и в большинстве представляют под'емный материал.

Таким образом, автор не располагал достаточным фактическим материалом и естественно, что его самостоятельные выводы мало убедительны.

У автора—два самостоятельных вывода: 1) о геологической одновременности всех сибирских палеолитических стоянок, 2) *о синхроничности Сибирского палеолита*: геологически—Анцилиевой эпохе, археологически—Азиль-Тарденуас'у Европы.

Новые неопубликованные данные добыты при дополнительных (после 1923 года) раскопках, производившихся, на Енисее на стоянках: Афонтова II, Афонто-

ва III, Переселенческий пункт, Военный городок, Бирюса, а также данные рекогносцировочных исследований целого ряда стоянок Минусинского края не согласуются с первым выводом автора. Культурные остатки палеолитического типа обнаружены в долине Енисея в различных горных породах на различном уровне, на различных по высоте речных террасах и имеют разную фауну, при чем не исключена возможность выделения палеолитических стоянок геологически более древних, чем Афонтова гора, но с «идентичным» культурным инвентарем.

Благодаря работам В. И. Громова, мы можем уже сейчас говорить, по крайней мере, о двух геологически различных «палеолитических» стоянках. Различия их достаточно резкие: не касаясь подробностей, укажем только, что одни стоянки имеют более древнюю фауну (мамонта и песца), другие этой фауны не имеют.

Решающим моментом для отнесения автором всех палеолитических стоянок Сибири к одному геологическому времени послужила идентичность их культурных остатков. Заключение об идентичности также является слишком поспешным. Сравнительно изучения индустрии Сибирских палеолитических стоянок у нас еще нет, но характерно, что первые попытки сопоставления инвентаря ангарских и енисейских стоянок уже установили серьезные отличия, как в каменной, так и костяной индустрии этих групп стоянок.

Что касается устанавливаемой относительной хронологии Сиб. палеолита, то необходимо подчеркнуть ту же необоснованность выводов автора. Если мы считаем правильным те возражения, которые делаются по поводу классификации каменого века Сибири Б. Э. Пэтри, основанной на результатах исследования нескольких стоянок Прибайкалья, то тем более для нас не может быть убедительной таблица классификации Савицкого, охватывающая и Европу, и Сибирь, и даже Китай и базирующаяся на таком небольшом фактическом материале. Сам автор указывает, что из всех палеолитических стоянок Сибири тщательно исследована только Афонтова гора, но геологическая часть исследования и этой стоянки требует дополнения.

Что касается остальных стоянок, и Верхоленской горы в частности, то условия залегания их культурных остатков по словам автора еще недостаточно выяснены и не могут приниматься во внимание. А между тем, на основании опубликованных не полностью результатов исследований одной сибирской палеолитической стоянки, не привлекая даже специально геологическую литературу Сибири и Китая, обогатившуюся, кстати сказать, новыми данными по четвертичной эпохе (работы Эдельштейна, Молчанова и др.) автор делает столь ответственный, столь смелый вывод, как датировку Сибирского палеолита геологически—Анцилиевой эпохой Северной Европы. Из этой датировки следует, что мамонты и часть четвертичной фауны вообще просуществовали в Сибири до самого конца после ледниковой эпохи, до начала современной геологической эпохи...

С своей стороны мы полагаем, что время для датировки Сибирского палеолита геологическими и археологическими схемами, принятыми в Европе, еще не наступило. Палеолитические стоянки Сибири необходимо вначале изучить самостоятельно и если сейчас и проводить параллели, то с Китаем, а не с Европой. После того, как будет накоплен фактический материал, конечно, наступит время и для сопоставления палеолита Сибири и Европы, но в настоящее время это сопоставление преждевременно.

Н. Ауэрбах.

Шостакович, В. Б.—«Периодические колебания атмосферных осадков в России и Средн. Сибири и солнечные пятна». Meteorologische zeitschrift № 9, 1927 г., стр. 347-356).

Исследование атмосферных осадков захватывает период с 1881 года по 1925 г. Пространство, затронутое исследованием, ограничивается следующими координатами: с севера 65°, с востока 120°, с юга 50° и с запада 90°. Количество станций на указанном пространстве колеблется от 4 (за период с 1881—1885) до 22 (с 1895 года). Пробелы в наблюдениях автором пополнены путем интерполяции; из общего числа 753 наблюдений за период в 45 лет интерполированы 16 проц. Для своих выводов автор пользуется не средними величинами по отдельным станциям, а общим средним выводом из всех 22 станций.

Группируя годовое количество осадков по пятилетиям, автор получает следующий ряд:

	мм.		мм.
1881—1885	335.8	1905—1910	341,0
1886—1890	274,6	1911—1915	325,0
1891—1895	285.2	1916—1900	316,6
1896—1900	288,8	1921—1925	295,6
1901—1905	302,4	Общее среднее количество для области—308,3 мм.	

При вычислении отклонений от среднего количества получается следующая таблица:

Годы:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1880	—	—	—	35	9	—25	—44	—38	—33	—33
1890	—30	—10	—15	—23	—19	— 7	—19	—18	—19	—14
1900	—14	— 5	— 6	— 6	10	14	26	29	33	14
1910	15	8	17	27	24	24	18	21	9	9
1920	—2	— 7	—17	—15	—	—	—	—	—	—

Устанавливается 35-ти летний период колебаний: с 1885-1903—19 лет с осадка-

ми ниже нормы и с 1904 по 1919 г.—с осадками выше нормы.

Для того, чтобы иметь более продолжительный период для сравнения количества атмосферных осадков, автор установил сотношение между суммой осадков и наступлением ледостава на реках*). Чем больше выпадает атм. осадков, тем выше уровень воды в реках; чем выше уровень воды в реке, тем позже наступает ледостав. Разность замерзания рек в отдельные годы достигает:

для Ангары у Иркутска—71 день,
» Енисея у Красноярска—37 дней,
» » » Казачинского—34 дня.
» Иртыша у Омска—36 дней,
» » » Тобольска—42 дня,
» Лены у Якутска—30 дней.

При сопоставлении срока замерзания Ангары для влажных и сухих периодов получается в среднем разность до 20 дней (от 1 до 21 января); для отдельных пятилетних периодов она доходит до 31 дня. Имея данные для замерзания Ангары с 1721 года и установив соотношение между сроком замерзания и количеством выпавших осадков, автор сопоставляет суммы осадков за 200 лет и приходит к выводу, что периоды колебаний осадков продолжаются в среднем по 33,5 года (от 31 до 36 лет).

Для подтверждения указанной периодичности приведены исторические данные с 1024 года о неурожаях, голодных годах, лесных пожарах, низком уровне воды, наводнениях, нападении саранчи, засухе и др.; они сопоставлены в хронологическом порядке с сухими и влажными периодами определенной выше продолжительности. При этом использованы материалы не только русских летописей, но и исторические данные Франции и Германии. Данные сибирских станций сопоставлены с данными 16 станций Европ. части СССР за тот же период, при чем кривая дала аналогичную картину с очень незначительными отклонениями в наступлении крайних значений.

*) Работа о вскрытии и замерзании рек напечатана в «Annalen der Hydrgraphie und marit Metecrologie», 1926, стр. 194.

При обобщении данных получаемые результаты дают возможность говорить, кроме 33-х летнего периода, еще о более коротком периоде колебаний, равном 11 годам. Во второй части своей работы автор устанавливает аналогию между периодами колебаний осадков и появлением наибольшего и наименьшего числа солнечных пятен. Сопоставление числа солнечных пятен, сумм атм. осадков, уровня воды в Байкале, срока замерзания Ангары и сумм теплоты замерзания дает картину полного совпадения в пределах 11-ти летних периодов, максимума пятен с влажными годами, а минимума—с сухими. Указанная аналогия подтверждается сопоставлением данных по отдельным станциям не только в Сибири (Иркутск), но и в Европейской части Союза (Ленинград), а также за пределами СССР.

Результаты своего исследования автор резюмирует следующим образом:

1. Существует тесная связь между колебаниями в выпадении атм. осадков и солнечной деятельностью (солн. пятнами).

2. Атмосферные осадки (на всем земном шаре) имеют те же периодические колебания, как и солнечные пятна.

3. Эти периодические колебания имеют продолжительность в 33.33, 11.13, 8.34 и 4.77 года.

4. Максимумы и минимумы осадков в общем совпадают с макс. и миним. солнечных пятен.

5. Исключение составляют тропич. пространства океанов, где это соотношение является обратным.

Практическое значение исследования выражается в том, что, основываясь на его выводах, можно сделать предположения на будущее время. Ныне мы находимся в засушливом периоде, который заканчивается 1936 годом. В этом периоде два резко выраженных минимума: один в 1922 году уже пережит, второй ожидается в 1933 году. Сумма атмосферных осадков в средней Сибири, по данным 12 станций, в течение влажного периода достигает пределов 568 и 353 мм. в течение сухого периода—436 мм. и 310 мм.

Н. Леонтьевский.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.

Напечатано:	стр.	строка	Следует.
REDUIESCAT	54	5 снизу	REQUIESCAT
Старику	95	3 сверху	Старому
Семпалатного	„	10 »	Семипалатного
современной	103	1 снизу	своевременной

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: А. Ансон. В. Итин. А. Оленич-Гнененко.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Г. Павлов.—Параграфы, пропущенные в книгах 3

Иван Абабков.—Жизнь отрока Епископа (повесть) 20

Владим. Заводчиков.—Лошадь и человек (поэма) 51

Вячеслав Шишков.—Истоки (роман) 59

СТИХИ: Павла Васильева, Сергея Маркова, П. Петрова, Ильи Мухачева, И. Молчанова . . . . . 94—102

Вивиан Итин.—Сценарий 103

Мих. Никитин.—Кадры 111

А. Коптелов.—Горными тропами 125

Н. Галкин.—Сказки полярной ночи 150

Слоним.—Красные строители и «белый грибок» 154

Н. Трунев.—Революция и язык 165

М. Алексеев.—Сибирская ссылка и английский поэт 182

М. Азадовский.—Три записки Н. Г. Чернышевского 194

Мих. Никитин.—Дикий перец (Антон Сорокин) 202

М. Басов.—Антон Сорокин 211

ЛИТЕРАТУРНАЯ САМОКРИТИКА.

Г. Круссер.—О новом проекте идеологического разоружения. 221

Резолюция Сибкрайкома ВКП(б) о «Сибирских Огнях». 225

Обращение Правления Сиб. Союза Писателей. 227

Обращение к читателям. 229

ХРОНИКА 230

Г. П.— Закон об авторском праве. 239

БИБЛИОГРАФИЯ: Б. Миркович, Михайлович, К. Кацаран, М. Азадовский, А. Шнейдер, П. Комаров, Н. Ауэрбах, Н. Леонтьевский 243